

ЛЮДМИЛА ДОЛГАЧЕВА

**ЖИЗНЬ
РАСПЯТАЯ
НА КРЕСТЕ**

Флеляннику
Евгению Фредоровичу
Филетову, его семье,
моей сестре ЕВДЕКСИ,
и Николаевне Филетовой,
в знак глубокого уважения
и памяти мамин родовой
коридор.
от тети Домачевой
Людишовой
Николаевны
14 сентября 1998г.
Автор: А. Ф. Ф.

Каштановские изданы
документы лесу ошуба.
Вот сейчас исправляют.
но так издаются
здесь мамин
издана

(рукописный текст)

Племяннику,Евгению Федоровичу Пименову, его семье, и моей сестре Евдокии Николаевне Пименовой в знак глубокого уважения и памяти нашим родовым корням.

От тети Долгачевой Людмилы Николаевны.

14 сентября 1998 г.

Капиталистические издатели допустили массу ошибок.

Пришлось исправлять.

Вот сейчас издают но главное – здесь написана правда.

Редактор Л. Захарова
Корректор Л. Антошкина

Отпечатано в 1996 г.

ЛЮДМИЛА ДОЛГАЧЕВА

**ЖИЗНЬ,
РАСПЯТАЯ
НА КРЕСТЕ**

ТРАГЕДИЯ

поколений 20 - 50 годов

Волгоград - 1997



Валентина
Леонова



Светлой памяти брата –
МИНАЕВА ИВАНА
НИКОЛАЕВИЧА
и родственникам моим, погибшим
в жестоких войнах и замученных
в годы бесчеловеческих репрессий –
посвящается.

ЖИЗНЬ, РАСПЯТАЯ НА КРЕСТЕ

Трагедия поколений 20 - 50 годов

Книга вторая

Волгоград 1996 год

ПРЕДИСЛОВИЕ

ИЛИ ПИРОЖОК С КАЛИНОЙ

Между двух хуторов, расположенных на южной окраине поймы реки Бузулук, лежало огромное озеро Ярыжки. Здешние казаки называли его — Большие Ярыжки.

Хутор Козлиновский раскинулся на восточном берегу озера, а хутор Тубочный — на противоположном.

Отдельные дома и подворья так близко придвинулись к склону берегов, что до воды было — рукой подать.

Тубочный считался одним из богатейших хуторов станицы Ярыженской, Хоперского округа, Донской области.

Одна из главных его улиц, с добротными подворьями Афонкиных, Антошкиных, Захаровых, Илюхиных, Агеевых, Артемовых и других, замыкалась хозяйством Мазиных, с хорошим, покрытым железом домом и большим садом.

Хутора на реке Бузулук, который являлся притоком Хопра, мало чем отличались по числу населения здешних станиц. Разве только — отсутствием церквей.

Население хуторов в основном жило привольно, зажиточно.

Казаки не терпели помещиков, князей и панов. Не было и богатеев. В основном — семьи среднего достатка.

Все вопросы, касающиеся общественного значения решались на кругу стариками.

Названия подворьям давали не по фамилиям, а по имени деда или прадеда.

Если говорили у «Антошкиных», то стало быть дед или прадед имел имя Антон, хотя фамилия их была — Минаевы.

Там за ольхами, за небольшими песчаными дюнами, Староаннинским лесом занималась утренняя заря. В воздухе, наполненном молочной влагой, были слышны негромкие переключки камышовых птиц. С каждой минутой на востоке все больше алел небосвод. От хутора на луг к протоку Ерику, лениво

переваливаясь, тянулись стайками гусиные ватаги. На окраине хутора, к лугу, к пересохшей балке — Тубочке, мыча, шагали по одной- две коровы.

В садах, раскинувшихся по Тубочке, и вдоль озера не утихали соловьиные трели. Воздух благоухал ароматом цветущих садов и весенних трав.

Во дворе и доме Антошкиных уже шла неторопливая, размеренная работа.

Мать семейства, Пелагея Ивановна, невысокая, синеглазая молодая женщина, с нежными, правильными чертами лица, легкая, подвижная с раннего утра хлопотала у русской печи.

В доме пахло печеным хлебом и пареной калиной.

На палатках разбросавшись, раскинувшись спали старшие дети. У кровати качалась люлька. Всего в доме насчитывалось полдюжины ребятишек. Да трое еще умерли в малом возрасте. Семья многодетная, но работающая.

Старший сын Федя уже помогает отцу по хозяйству. Дочь Дуня убирает в доме и нянчит малышей, средние, Ваня и Аня бегают, в люльке лежит грудная Настенька. И еще трехлетняя Люся.

Хозяин семейства, Антонович, взял торбу, и ища что-то другое, спросил:

- Мать, где мои сапоги?

- Какие?

- Эн ги

Пройдя в горницу, он заметил: что малышка дочка Люся встала на кровати и протирает глазенки.

Он строго ее спросил:

- А ты куда?

Люся, хмыкнув, не совсем внятно проговорила:

- К Захарым...

Отец, разгневанный отсутствием нужной ему вещи, еще строже прикрикнул на Люсю:

- Я тебе дам «к Захарым»! — и добавил: — Ложись, спи, бесенок ты этакий!

Люся уже в своем раннем возрасте усвоила: перечить отцу — значит

навредить себе. И она уткнулась в подушку, продолжая тереть кулачками свою мордашку, ожидая, когда отец уйдет.

Так и случилось. Отец вышел, захватив с собой ружье. Взял у крыльца весло и пошел к задним воротам, что выходили на озеро. Спустился к лодке, сел в нее и поехал по Ярыжкам, чтобы снять сеть, которую он поставил с вечера.

Люсе того и надо было: она соскочила с кровати, сняла с себя платье, подбежала к сундуку и со всей своей детской силой старалась поднять тяжелую крышку сундука. Но где там...

Из третьей комнаты заглянула в горницу сестренка Нюра, она слышала через открытую дверь приказ отца и потребовала, чтобы Люся легла в постель.

Но Люся отмахивалась от нее пухлыми ручонками и опять пыталась приподнять крышку сундука. Ничего не получалось. Она просительно умоляла сестру:

- Атой!...-т.е. «открой».

В это время на пороге горницы появилась, статная, чернявая девушка, лет восемнадцати, и произнесла:

- Ай, ай, как вам не а-я-яй! держать такую крошку голенькой у этого чуда — сундука.

Люся сразу сообразила: вот кого надо просить помочь открыть сундук. Она затопала

ножонками и потребовала:

- Ая, атой!

Двоюродная сестра Рая подошла к Люсе, взяла ее на руки, приговаривая:

-И моя ты красота ненаглядная, как же это они не понимают, что детю небось всю ночь не спалось — ждала, когда ей дадут новое платье!

Люся, махая головенкой, соглашалась:

-Ака, ака.

Она все ждала, когда же Рая возьмет своими крепкими руками цепку сундука, и крышка откроется. Там наверху лежит ее новое красное платье в горошек с нежной оборочкой на груди. Ведь она вчера допоздна не ложилась

спать, хоть глазенки слипались. Но она все терпела ради новой обновки, которую шили ей Дуня и Рая.

Легким движением руки Рая приподняла кованную крышку сундука, и в глазах девочки блеснули искорки радости.

Она в мгновение ока выскользнула из рук Раи и выхватила ручонками платице, и побежала в третью комнату его надевать.

Платице было модное, укороченное. Обычно деревенские дети носили длинные платья.

- Но Люся еще вчера подводила девок несколько раз к сундуку, показывая пальчиком на одну из картинок, которыми была оклеена крышка сундука.

На этой картинке была изображена девочка с мамой. На девочке красивое, короткое с кружевами вокруг шеи и оборочками на подоле развевающееся красное платье.

Люся тыкала пальчиком в девочку и говорила:

- Это такой надо.

Старшая сестра Дуся и кузина Рая только всплескивали руками и удивленно сообщали маме Поле:

- Гля, мам, что творит дите? Это прямо страсть!

Мать, тихая, спокойная и добрая женщина, сидела у лампы и вязала чулок. Улыбаясь, она проговорила:

- Девки, да уважьте дитю, нашейте ей оборочки, сколько ей хочется.

Рая и Дуся, наживив все детали платья, стали его примерять. Как только одели платье на Люсю, она вырвалась и побежала в горницу к зеркалу. Увидев длину, она вернулась к девушкам и на своем детском языке, подворачивая платье стала втолковывать им, что платье надо укоротить.

Взяла за руку Дусю и подведя к сундуку, опять указывая пальцем на заветную картинку, сказала:

- Вот! -Затем провела пальчиком от шеи до нижней части платья на девочке.

Мать, наблюдавшая эту сцену, сразу поняла, что хочет ребенок.

-Девки, — сказала она, — что вы не понимаете: она хочет такое же коротенькое платье.

Две швеи порядком истомились:

- Хватит! — сказали они.

Люся закапризничала, давая понять, что с такой длиной платья она не согласна. Пришлось девушкам уступить ее желаниям. Платье укоротили.

Притом отец, дремавший во второй комнате, услышав визг ребенка, строго спросил:

- Вы что квелите дитя?

И приказал:

- Взялись за дело, так доводите до конца.

И подойдя к двери, добавил:

- А если бы я вам сшил гетры, а ушки оставил от штиблет? Тогда как?

Рая и Дуся стихли. Только одна из них укорила Люсю:

- У — у, коза!

И погрозила ей пальцем. В ответ Люся показала язычок.

Наконец платье было сшито таким, каким его требовала хозяйка.

Люся вышла из третьей комнаты в новом платье, но оказалось одетым задом на перед. Увидев это, Рая охнула и, смеясь позвала Дусю. Обе закатились от смеха. Поймали Люсю, которая терять время не желала и вырывалась из их рук. Она визжала, Рая удерживала ее между колен и снимала платье. Дуся, махнув рукой ушла, взяла поддонник и направилась в скотный двор доить корову.

Но вот Люся в новом красивом платьице, черноголовая, с радостными, блестящими от счастья, распахнутыми, темно-серыми глазенками вбежала в первую комнату, где мама уже напекла полную чашку пирожков с пареной калиной. Они дымились сладкой струйкой, стоя на скамейке.

Люся схватила в обе ручки по пирожку и выскользнула во двор. Бегом направилась к воротам.

Стоящая, во дворе Нюра увидела это и пригрозила:

- А я вот пойду сейчас к отцу и скажу ему, что ты хочешь идти так рано

к Захаровым!

А Люся не обращала внимания и старалась открыть калитку. Калитка не открывалась.

Боясь, что придет отец, она подошла к собаке Дозору. Откусив носик пирожка, сплюнула его Дозору.

Дуся, подоив корову, и, поставив ведро с молоком в коридоре на лавку, направилась к воротам, чтобы выгнать корову на пастбище. Увидев Люсю, кормящую собаку пирожком, Дуся предупредила:

- Не корми собаку добрым хлебом.

На что Люся резко возразила:

- Неть. — Она считала, что и собака хочет сладкого пирожка.

Как только Дуся отошла от ворот, Люся бесшумно выскользнула в них и в припрыжку побежала вверх по улице.

Некоторые женщины, провожавшие скот на пастбище, шутя ловили ее, но она ловко их обегала и увертывалась от распахнутых рук. Они смеялись и спрашивали:

- Это куда, спозаранница?

- К Захарым! — отвечала побегунья и летела дальше.

Нюра побежала к отцу и сообщила о случившемся.

Антоныч еще не отплыл. Он вычерпывал воду из лодки. Рядом в своей лодке сидел сосед Иван Степанович Захаров - Долгачев. Антонович, повернув к нему голову, сокрушенно произнес:

-- Гля, кум, и чем вы там ее прикормили? Прямо беда! Не успеет глаза протереть — собирается бежать к Захаровым! Не иначе сноха ваша будет.

Оба засмеялись.

- Вчерась, — продолжал Антоныч, — принес ей с Ярыжек лилию, а она в крик: «А Хеди?». Стало быть — твоему Феде тоже лилию давай. Вот и сейчас, наверное, у вас.

В это время в жестяные ворота двора Захаровых раздавался стук, кулачком, а потом и каблучком сандалий.

Мать Маша, услышав этот стук, ахнула:

- Никак дочка Люся. Ну и молодец! Вот уж будет добрая хозяйка.

И, открыв ворота, с удивлением воскликнула:

- Да никак в новом платье! — нагнулась и поцеловала Люсю.

- Ох, ты наша, красавица! — малышка расцвела, вырвалась и побежала сразу к двери третьей комнаты. Но она оказалась закрытой.

На выручку подошла бабушка Наташа. Впустив Люсю в комнату и увидев, что мордашка красавицы уделана соком калины, схватила ее за рученьку и, повернув к себе, утерла подолом передника лицо. Люся отчаянно вырывалась, и, стараясь задобрить бабушку, совала ей кусок пирожка и приговаривала:

-Ня. Ня-я...

Второй пирожок, целый, она зажала в левой ручке так, что из него сочился коричнево - бурый сок.

Освободившись от ухаживаний бабули, Люся тотчас подбежала к кровати, взглянула на спящих мальчиков, которые так разбросались, что трудно их было сосчитать, то ли их было трое, то ли четверо.

Однако Люся быстро разобралась, кто из них был тот, который ей был нужен, с темными волосами. Она схватила его за рубашонку, несколько раз дернула. Отчего мальчик проснулся и строго спросил:

- Ты чего?

Он снова попытался положить голову на подушку. Но Люся совала ему в рот пирожок и говорила настойчиво:

- Ня-ня-я!..

А потом, стараясь обратить его внимание, тыкала пальчиком в новое свое платье и восклицала:

- Во! Во!

Мальчик снисходительно улыбнулся, глянув на платье: «Действительно красивое! И девочка прелесть - хороша! Головка черная, личико беленькое, как зонтовый платок, глазки большие, распахнутые, и красное платьице с оборочками так идет к ней. Загляденье, а не девочка! Но так спать хочется! А чем это так

вкусно пахнет? А пирожок!» Он втянул носом воздух. Тот час зашмыгали носами и остальные мальчишки-братишки. Люся продолжала тыкать пирожком в губы мальчика, отчего тот стал облизываться.

От раздавленного пирожка по комнате разливался аромат свежепаренной калины. И младший мальчишка стал хныкать, готовый зареветь, чтобы потребовать этого вкусенького, чем так пахло.

Люся сообразив, отщипнула кусочек и младшему. Сунула в рот малышу. Обрадовано, он чмокнул раз-другой губами и замолк.

В это время проснулся самый старший мальчик, увидев Люсю, сказал:

- Что ты тут бегаешь спозаранку? — Он еще что-то хотел сказать, но естественная потребность выбежать во двор пересилила желание вести дальнейший разговор с Люсей.

Люся чувствовала себя здесь уже полной хозяйкой и пыталась забраться на деревянную широкую кровать. Она стала облизывать выпачканные соком калины кулачки и напевать песенку о счастье, какое оно будет...

Люся не могла тогда предчувствовать, что может случиться в жизни с ней и с теми родными и близкими, которые ее окружали...

Счастье для нее и дорогих ей родных окажется недостижимым на долгие, долгие годы и десятилетия...

Хотя люди ее маленькой родины — хутора Тубочного пока жили полной крестьянской жизнью и не чувствовали приближения великой трагедии...

А беда приближалась и была почти уже на пороге. Она подбиралась к подворьям, как чума, подло, жестоко, бесчеловечно...

На хуторе Борисовском уже накануне заседали некие люди: ненавистные, завистливые, лодыри, и проходимцы всех мастей. Они называли себя организаторами коллективного хозяйства и мировой революции, строителями нового общества. На самом деле это были разорители крестьянских хозяйств и хозяев земли. Они зарились на нажитое потом и кровью добро этих хозяев: их скот, дома, одежду, вплоть до получения дармовой жратвы. Над всем и вся занеслась их жадная, кровавая рука...даже над грудными младенцами... Это несло

разруху и двум маленьким детским сердцам на долгие, долгие годы... Так начинался один из весенних дней тысяча девятьсот тридцатого года...

Федор Долгачев

ЖИЗНЬ, РАСПЯТАЯ НА КРЕСТЕ.

Глава 1

ТРАГЕДИЯ ПОКОЛЕНИЯ НАШИХ ОТЦОВ.

Полк, в котором служил мой отец Николай Антонович Минаев, чернявый, сероглазый, среднего роста казак с х. Тубочного, Хоперского округа, войска Донского, один из первых пришел на сторону революции и боролся за Советскую Власть. Но он отказался вести братоубийственную войну между белыми и красными и был распущен.

Вернулся домой отец с Красной Книжечкой, восторженными мечтами и большими надеждами на лучшую жизнь.

Долгими вечерами в большой хате-пятистенке, в дружной многочисленной семье: дед с бабкой, четыре сына с женами и детьми, поди всех человек двадцать пять — засиживались мужики: курили спорили, удивлялись, рассуждали, стараясь представить, КАКАЯ ЖЕ ОНА БУДЕТ ЭТА НОВАЯ ЖИЗНЬ.

Голова шла кругом!

Отец мой, как мог, упоенно, и взволнованно объяснял, убеждал, доказывал, что это будет хорошая жизнь, и как мог описывал, как она обернется для казаков.

Спокойный, рассудительный младший из братьев дядя Ваня, придавив своей могучей фигурой конец лавки, внимательно слушал, приглаживая белесые волосы, дымил козьей ножкой и молчал.

Дед, Антон Андреевич, высокий, плечистый старик с тонкой талией, перетянутой красным шерстяным кушаком, сидел в переднем углу под божницей, качал седой головой, чесал жилистой, коричневой рукой за ухом и приговаривал:

- Ох, дети, ох милые, лишь бы все было хорошо...

Дядя Егор, старший из братьев, высокий, стройный, черноглазый, красивый казак, ухмылялся, усмехался себе в черный ус и подтрунивал над отцом:

- Хороша, говоришь, жисть будет для казака! У всех земли будет столько, сколько надо для прокорма? А денег, говоришь, совсем будет потом не надо? Чудно! Ты вот сапоги себе сам сошьешь, а мне где их взять без денег? А

бык сдохнет, если я второго не куплю на базаре, раз денег у меня не будет, то кто мне его потом другого на двор приведет? Лодырь Арсенич что ли? А? Непонятно чей-то все это... Ну да ладно, проживем — увидим...

И надымив в хате так, что потом хоть топор вешай, ложились спать далеко за полночь.

- Будет вам, полуношники, детям покою нет, — бурчали бабы.

- И то правда, — подымаясь со скамьи, — заключал дед и, кряхтя, лез на печку.

Сыновья, рубанув последний раз рукой по воздуху в горячем споре, тут же один за другим отправлялись на полати. Хватит.

Завтра рано вставать.

- А где эта новая жисть-то? Пока не видно ее. Сюда еще не дошла. И какая будет — неизвестно. А завтра пахать с первыми петухами.

А пока эта новая жизнь до нашего хутора не дошла, то старейшины станицы Ярыженской, куда относился наш хутор Тубочный, не дремали...

Собрали круг и приговорили нашего папку Николая Антоновича за измену царю и отечеству, как они выражались, к ссылке в Сибирь со всем семейством. Вот так-то.

Но вскоре в станицу пришла Красная Армия и наш отец и мы были спасены (пока что) от ссылки в столь отдаленные края.

Когда победила Советская Власть папку нашего одним из первых выбрали секретарем сельского совета.

В этой должности и работал в первые годы Советской власти наш отец.

Но было много в то время людей, ненавидевших все и вся.

Была у нас в хуторе семья Зенкиных (Поповых). Вредные, ленивые и ненавистные были эти люди. Притом еще и большие воры. Земли наполучали много, сыновей было пятеро. А, как известно, землю давали на сыновей (таков казачий закон). Но ленились они обрабатывать эту землю и продавали ее. Потому и были бедны. А занимались злостным воровством.

Убили они быка у одной одинокой женщины на дальнем хуторе. Привезли его сюда домой. Но по дороге, когда ехали, капала кровь, и по этим уликам из выследили.

Сообщили в район, приехали оперуполномоченные, собрали актив, и решили понаблюдать за домом Зенкиных.

Отец с двумя другими членами актива под вечер стали вести наблюдение. Воры почуяли беду и решили скрыть улики.

Один из сыновей Зенухи Андрей запряг лошадь свою в сани, положил туда шкуру от быка и другие остатки от него: потроха, ноги, голову — как говорят, рога и копыта (мясо они спрятали в другом дворе у родственников).

И вот, раскрыв ворота, Андрей с топором в руках, на санях, во весь опор погнал лошадь прямо со двора, крича при этом:

- Еду в лес за дровами!

За какими дровами можно ехать, глядя на ночь?

И понесся в лес без оглядки.

Разумеется, отец с двумя мужиками не могли его пешие без оружия задержать, не имея на месте транспорта. Пока пошли на наш двор, который был напротив, запрягли лошадь и кинулись за Андреем, его и след простыл в ночной мгле.

Так вора́м удалось в этот раз ускользнуть от караульных.

Но мясо было найдено у родственников, и воры пошли под суд.

Их было много, братьев Зенкиных. И те, которые остались, решили во чтобы то ни стало, отомстить нашему отцу и другим, поймавшим их за руку.

Нашу семью нельзя было отнести даже к середнякам, не то что к зажиточным, так как была большой: шесть детей и родители, а хозяйство — всего одна лошадь, корова с телкой да две пары волов.

Отец к 1926 году построил небольшой домик и отделился от дедушки.

Деда и двух старших братьев. Михаила и Егора, уже не было в живых: умерли в тифу в трудные годы. Осталась бабушка Фекла Филипповна в старом

доме с семьей младшего сына Ивана. Старшие дочери бабушки — Степанида и Мария жили отдельно. Отделились и старшие снохи Ефросинья и Анна. Они жили с сыновьями и зятьями дочерей.

Итак, отец поселился с семьей в маленький новый домик, построенный им самим с помощью родственников. Помогал дядя Паша Соловьев, муж тети Паши, маминой сестры. Зато в благодарность папа сшил им несколько пар обуви и обучал целых две зимы дядю Пашу сапожному ремеслу. Дядя Паша очень хотел уметь шить сапоги и починять обувь детворе.

В доме было как же, как в старом, две жилых комнаты: небольшая прихожая — хата с чуланом, миниатюрная горница — светлица и третья — малюсенькая, для ягняточек, которая зимой служила отцу сапожной мастерской.

В прихожей — русская печь, стол в углу со скамейками по двум сторонам и кроватью у двери. Над головой в полкомнаты — полати, где спали мы — детвора.

В горнице, прямо в простенке между окон — чучела двух куропаток, носиками друг к другу, на шее привязаны голубые бантики. У правой стены — кровать под пологом. Там спят мать и отец. Стол под чучелами, в левом углу у двери стеклянная горка с посудой, на ней чучело селезня, рядом у окна — швейная машинка. Посредине потолка над всем этим парит чучело коршуна.

Вот и вся мебель.

Да, забыла еще, на окнах в горнице длиной в один метр и шириной в восемьдесят сантиметров — скромные тюлевые занавесочки.

Это по тем временам — роскошь, красота.

Как секретарю Совета, как-то папке в районе удосужились выделить некие четыре метра этой небывалой в наших казачьих местах материи. И вот у нас в горнице такие гардины, которых ни у кого в хуторе нет.

И Зенкины от зависти, наверно, скоро лопнут.

А в чате, как у всех, нету никаких занавесок.

Недаром молодежь, прохаживаясь вечером вдоль улицы на гулянье, видела, как в витрине магазина, все население хутора в окнах домов и могла с

тончайшими подробностями, в виде анекдота, передать все, чем занималось это народонаселение.

Иногда такие передачи в устах умелых рассказчиков были занимательны. Девки хохотали до слез.

Дом наш как и вся улица, стоял на берегу озера Ильмень (или его еще называли Большие Ярыжки). Красивое было озеро. Чистое. Дно и берега из белого песочка.

С одной стороны высокого берега — х. Тубочный с другой стороны, на пологом берегу — Хутор Козлиновский, к которому по южному берегу шла аллея высоких верб. А с северной стороны озеро огибают левады с вековыми ольхами, с зарослями красной калины.

Красотища! — Глаз не отведешь.

От хутора Тубочного к левадам тянутся вишневые сады. По весне девки и парни с песнями и прибасками под голосистую гармонь и балалайку отправлялись веселой гурьбой в пасхальные дни за голубушками (подснежниками) и тюльпанами в зеленные левады. Аукались там, перекликались, затевали игры до самых алых зорь.

Наш отец, Николай Антонович, был заядлым рыбаком и охотником. Красивых куропаточек, селезня и коршуна, которые красовались в горнице, он добыл сам и сделал из них чучела.

У него было отличное двуствольное ружье и лодка.

Наш батька в утреннюю рань не любил засиживаться на завалинках в беседе с леноватыми курильщиками и стариками. Семья была большая, и они с мамой вертелись, как белка в колесе.

Мама говорила, что бывало она встанет, подоит корову, прогонит ее в стадо, затопит печь — глядь, а отец идет с озера и уже несет в ведерке рыбу, а у пояса у него висит утка.

Добычной был мужик и не лежебока, как великан - Арсенич, который был ростом с сажень, а лень переросла его. В жару, когда казаки лили семь потов на

полях, он, взяв подушку, почесывая голый живот, отправлялся в погреб спать.

А нашему батьке некогда было спать, чтобы ему с мамой прокормить шестеро детей.

Кроме того, что они с мамой пахали и сеяли, вели хозяйство, отец еще охотился, занимался рыбной ловлей и сапожничал.

Он был отличный сапожник.

Сапожному делу обучался в армии. До того был просто казачий хлеботор. Но вернулся из армии сапожного дела мастер. И когда зимой, управившись с летней страдой, многие из казаков, отпахав и отсевшись весной, убрав урожай летом и осенью, долгими зимними вечерами играли в карты, да ходили за скотом — наш отец шил, шил и шил.

Он не только шил сам, но и обучал, как я уже сказала, этому ремеслу дядю Пашу Соловьева и одного паренька — сына товарища Шляхтина Кузьму.

И вот это его добро послужило злу.

В колхоз мы вошли одни из первых. Еще бы! — отец так мечтал о новой жизни! Дуся, старшая сестра, и брат Федя — уже подростки, гоже стали работать в колхозе наравне с родителями и числились в ударниках.

Но когда началось раскулачивание, припомнили Зенкины нам, что их за преступление отец помог отдать под суд, будучи секретарем Совета. Они написали заявление в район, что у нас, дескать, некогда были работники — это дядя Паша Соловьев и Кузьма Шляхтин (настоящая фамилия его была Кузнецов).

В то время особенно - то не разбирались досконально что и как. А решали так. Ага, раз были работники, то, дескать, это подворье подлежит раскулачиванию. Хотя наше хозяйство с одной лошадей, одной коровой и парой быков на восемь душ никак не подходило к зажиточным.

Да и какие это работники, когда папа обучал их сапожному ремеслу бесплатно и сшил каждой семье еще по несколько пар обуви, тоже бесплатно. Это были ученики, а не работники.

Но никто из районного начальства не хотел брать во внимание, что этот, так

называемый работник, дядя Паша Соловьев, зимой у нас починял обувь и шил своей семье, а не нам. Учился у папы. А наша семья, как родственника, и поила, и кормила его две зимы бесплатно.

Но, как говорится, стену лбом не прошибешь и порою не докажешь, что это не черное, а белое.

А это было на руку ненавистным ворам Зенкиным и лодырю Арсеничу, который каждое утро приходил к нам есть блины. Сам, как я уже говорила, саженого роста, а лодырь, каких не знала земля. Прятался в погребе, когда люди пахали, и спал там целыми днями от жары.

Таким образом, скрывался от людского глаза. Все думали он в поле, а он — в погребе.

И никто его не тревожил, никто за день не видел его. Очень уж ухитрился этот тунеядец скрывать свою богатырскую лень. Утром ходил по соседям блины есть, вечером опять пристраивался к какой-нибудь семье на польскую кашу, которую нередко варили усталые пахари у озера.

Хорошо у Ильменя, соловьи в калине посвистывают, утки в камышах плещутся, озеро блестит под луной, как серебро.

Благодать!

Вот и Федору Арсеничу Сытилину — благодать!

Завидев то тут, то там заманчивые заветные огоньки по берегу озера, отсвечивающие в воде, как фантастические мигающие дорожки, находил он верный путь по их отблескам к заветному, горячему, дымящемуся котелку со вкусной ухой или польской кашей пшенной с салом... И он являлся тут, как тут...

Не откажешь же «бедному» человеку в чашке супа...

Так и коротал свои дни и кормился Арсенич.

Не даром у него к этому его жизненной формуле была составлена своя любимая поговорка: «День будет и пища будет». Частенько говаривал он, когда ненароком кто-либо случайно попрекал его бездельем.

Совиные глаза быстро выискивали огоньки вокруг озера, в ночной темноте,

а длинный и широкий нос с раздутыми ноздрями безошибочно улавливали запах наваристой каши или уха, длинные ноги, как у жирафа, несли его опрометью к добыче, а пасть крокодила насыщала его звериную утробу, в которую он мог опрокинуть не только котелок, но и целое ведро приготовленного людьми варева.

Когда он жрал блины в нашем доме, то часто останавливал свой взгляд коршуна на сапогах отца или его вице, которую отец надевал в праздник.

- Вот бы мне такую одежду! — думал про себя лодырь.

И когда прошел слухок, что нас, как и всех других, так называемых кулаков, выселять будут, то у Арсенича заиграли веселые искорки в глазах: «Ага, есть ему чем поживиться!» Авось, его лодыря, переселят в наш дом, и ему перепадет кое-какая живность и имущество.

И, действительно, его после раскулачивания переселили в новый большой дом, только не в наш, а в дом Назаричевых, который был еще лучше нашего. Наш маленький дом, а тот большой, хороший. Да только не в коня корм. Быстро его Арсенич привел в обшарпанный вид. Все сараи пожег на дрова, дом не ремонтировался и не белился, на следующую зиму Арсеничу топить было нечем. И каждую новую зиму он переходил в другой кулацкий дом, пока и те не привел в убогий вид.

Особенно разевали рот на наш дом и наше имущество — на двустволку отца и мамины юбки — Зенкины. Но не достались им, лодырям, ни двустволка отца, ни мамины юбки для их дур жен.

Двустволку забрал уполномоченный, а мамины юбки — старшая сестра Дуся, которая незадолго до раскулачивания вышла замуж.

Женщины хутора написали коллективное письмо-заявление новому председателю совета и колхоза, что де если Антонович в чем виноват, то поступайте с им как хотите, а Пелагею Ивановну с детьми не трогайте, ни в чем она не виновата эта труженица, и дети у нее хорошие. Старшие двое уже работают в колхозе и числятся в ударниках.

Понесла наша мама Пелагея Ивановна этот листок бумаги, весь исписанный

и подписанный чуть не всем хутором к председателю колхоза (который сам боялся чего-то), а он взял его и не прочитав порвал на мелкие кусочки и бросил в угол. И сказал: «Никакого заявления я не признаю. Мало что бабы захотят».

Зарыдала наша мама и ушла домой ни с чем. Вот и все.

На том все и осталось.

Отца увезли с шестнадцатилетним братишкой Федей в район оперуполномоченные. Мужчин семей, подлежащих раскулачиванию, забирали, арестовывали вперед. А семьи были еще в хуторе.

Но вот почему арестовали шестнадцатилетнего братишку Федю, я до сих пор не могу простить такого издевательства и террора, который устраивали над ним, ни в чем не повинными подростками и детьми. Никак в голове не укладывается, как провозглашая такую светлую и свободную жизнь, тут же творили звериное варварство. Дети- то в чем виноваты?

В чем провинился мой шестнадцатилетний братишка? В том, что работал в колхозе лучше иных взрослых?

Подобные явления я приписываю просто звериной ненависти некоторых ненавистных людей, таких как Зенкины, и сталинскому террору. Больше объяснения этому никакого нет.

И вот в одну из темных весенних ночей в апреле 1931 года подъехала к нашему дому телега, запряженная одной лошадей, и два мужика бесшумно выставив окно в горнице, дабы не поднять на ноги соседей, а то еще опять заступятся за Полю с малыми детьми, проникли в дом, разбудили хозяйку — нашу маму, подняли с постели спавших малолетних детей, велели их одеть и посадить в телегу. А грудную Настеньку приказали взять из колыбели и нести на руках.

Мы подняли рев, испугавшись непрошенных гостей, почему нас выводят во двор в непроглядную темь, где так страшно, и сажают на телегу. Ведь нас, детей, могут съесть волки?

Но у больших дядей не дрогнуло железобетонное сердце, они безжалостно

бросали детей в телегу один на одного, как котят, и ни одна слезинка не выдавилась у них из глаз, при содеянии такового.

Не могу не назвать тех злодеев, которые выселяли нас малолетних детей и нашу ни в чем не повитую маму. Это сделать вызвались Андрей Зенухин-Попов и Сорокин Василий — настоящая его фамилия Севостьянов.

А телега-то! Только и поместились на ней: мама с грудным младенцем, мы — малыши: Аня, Ваня и я. Да еще возница. Больше никакого багажа. Из всей поклажи прихватили люльку, которую положила на подводу старшая сестра Дуся, рыдавшая в голос.

Слава богу хоть ее не тронули, не увезли вместе с нами в ужасный неведомый путь. Спасло ее замужество.

Так мы расстались с любимой Родиной и со своим домиком...

Когда увезли нас, в нашем доме сделали контору для бригады, ухаживающей за скотом.

А затем через многие годы его продали. И купил его муж моей старшей сестры Федор Артемович Пименов — передовой тракторист колхоза, со своим братом Петром Артемовичем. И в нем стала жить наша старшая сестра Дуся.

Вот так иногда сама судьба совершает правосудие в пользу незаслуженно оскорбленных.

ГЛАВА 2.

ВОСПРИЯТИЕ МИРА.

Май месяц 1931 года.

Мы плывем на большущей, большу-у-щей барже по широкой, быстрой, холодной реке, название которой Вымь. Она впадает в Вычеглу, а Вычегла в Северную Двину. Страна, по которой мы двигаемся именуется КОМИ АССР.

Баржу везет красивый белый пароход. Он идет вверх по реке. По берегам непроходимая вековая тайга. Какие-то непонятные для моего возраста деревья: остроконечные, с мохнатыми сизо-зелеными лапами внизу и еще другие: —

стройные, очень высокие с золотистыми стволами и колючей кроной наверху.

Мне всего три года и восемь месяцев. И я гляжу на окружающий мир меня с великим удивлением. И только впервые его ощущаю и запоминаю. До этого я не знала, что есть Я, и есть этот непонятный, огромный, такой фантастический мир.

А тут вдруг ощутила — есть Я и есть что-то громадное, неизмеримое в моем детском понятии, окружающее меня!

Кроме того, у меня оказалось есть еще и мама и папа, сестренки Аня и Настенька, и братишки Федя и Ваня.

Они там внизу — в трюме баржи сидят на узлах, как и многие другие люди. А мы — я и Аня Амочаева, мои сверстники и постарше ребятня, бегаем по палубе баржи.

На середине баржи огромная гора лаптей: большие, как на ноги моего дедушки Вани, и малюсенькие, как на мою и Анину ножки. Новеньких - преновеньких, белых из блестящего - преблестящего лыка. Мы подбегаем к этой куче, хватаем малюсенькие лапотки и наперебой примеряем их на свои крохотные ножонки, привязываем их как попало; и хохочем до самозабвения. Бегаем в них по палубе.

Но внезапно погода изменяется — задул холодный северный ветер, поднялись страшные волны, и мы все, как по команде, нырнули в трюм баржи, где приутихли, прижались к своим родителям и замолкли, заснули.

Проснулась я рано по утрам. Что-то меня разбудило. И я с удивлением взглянула вокруг. Взрослые, встревоженные, серьезные все что-то суетились, одевались, подымали детей и тоже их одевали.

Затем все потянулись на палубу, тут все стало ясно. Хотя мне ребенку ничего не было понятно. Только потом я осмыслила все происходящее, спустя много времени. А было вот что. Впереди белого парохода показались бурлящие, непроходимые пороги. Вода, как в чертовом огромном котле кипела, шипела и бесилась. Наш красавец, белый пароход, спасовал перед ними. Он потихоньку повернул налево и стал причаливать к пустынному правому берегу реки. И

потянул туда баржу. Вот и причалили к необитаемому берегу. Кругом молчаливая, угрюмая, непроходимой стеной обступила нас тайга.

Приказано сгружаться... Короткий майский северный день. А люди, обеспокоенные, загомонили — что-то надо предпринимать срочно... Надвигалась холодная ночь, а вокруг ни единого жилища, ни единого колышка.

А красавец белый пароход с баржей, с обслуживающими его людьми и высоким начальством с кобурой на боку, с равнодушно-ледяными сердцами, спокойно выбросили людей с малыми детьми на оледеневший к вечеру берег, спокойно развернулись вдоль матушки-реки и преспокойно укатали вниз, по течению, не оглянувшись...

Я очень часто вспоминаю этот момент из нашей жизни и думаю; какое же надо иметь жестокое сердце, чтобы выбросить грудных детей на необитаемый берег и... не оглянуться на них...

Воистину страшнее человека зверя нет. Родился он на благодатной земле, он ее и приведет к гибели вот такими действиями, как поступили с нами, ни в чем не повинными малыми детьми и нашими родителями.

Мужчины и подростки взяли топоры и пилы и двинулись в девственный, величественный, могучий, незнакомый лес.

Застучали топоры, послышался гулкий звук падающих деревьев, треск сучьев и шорох осыпающейся хвои.

Женщины, дети, старики, старушки таскали мохнатые лапы пихты и елок. Мужчины волокли стволы деревьев, ставили основу шалашей. Всей семьей накрывали их.

К вечеру на берегу реки, сразу выросло странное поселение из шалашей, пахнущих хвоей, смолой и еще какими-то особенными незнакомыми доселе запахами.

И надвинулась незримая, угрожающая, северная ночь... Холодная, зловеще-светлая, как ползущая змея, с порывистым ветром, дождем, снегом...

Холодно, неуютно. Жутко в этих странных жилищах... Северный ветер

свистит и рвет полы полога, закрывающего вход в наш шалаш.

Спали - ли мы? Кажется нет... Лишь изредка дремали в каком-то тяжелом забытии...

А дождь со снегом хлестал и хлестал по шалашу и просачивался к нам ледяной, обжигающей струей.

Настенька надрывно до синевы закатывалась в крике, лежа в люльке, подвешенной наскоро к суку шалаша. Мама неутешно плакала...

Мир, кажется, проваливался куда-то вместе с нами и нашим шалашом в какую-то бездонную пропасть...

Было нестерпимо жутко...

И все-таки перед утром я забылась...

А когда проснулась, какая-то белизна, режущая глаза, ударила мне в лицо.

Оказалось, приподняли полог, а на улице белым-бело. Снег!

И нестерпимый холод.

Мы плохо одеты. Валенки нет. Сапог — тоже. У меня сандалии, у сестренки Ани и братишки Вани — тоже что-то наподобие этого. Какие-то поношенные ботики. А в них холодно. Теплого пальто тоже нет ни у кого. На мне старая, неподхваченная Дусина ешка (полупальто), подпоясанная веревочкой. Правда рукава мне до полу, а ногам в сандалиях холодно. И они уже ничего не чувствуют...

В таком духе одеты и мои старшенькие — братик Ваня и сестренка Аня: в чем посадили в ту злосчастную ночь на телегу, в том мы и приехали. Больше ничего нет.

Мы мерзнем ни на живот, а на смерть.

Мама берет на руки грудную Настеньку, приказывает нам ухватиться за ее подол, и быстренько бежит к охотничьей избушке, которая по воле рока, неизвестно как оказалась единственным пристанищем для малолетних детей и грудных младенцев с матерями на этом необитаемом, пустынном, нелюдимом берегу.

Когда мы прибежали к ней, она до отказа была набита женщинами с плачущими младенцами. И нам удалось примоститься у порога.

Избушка топилась. И тепло исходящее от покрасневшей, сложенной из камней печки, несколько коснулось и нас.

Мы чуть-чуть согрелись и заснули тяжелым, тревожным сном.

И все-таки мне, ребенку, казалось, что все беды остались позади, и теперь будет тепло и уютно. И никого, и ничего не надо будет бояться.

Но наступила новая холодная ночь и мы опять мерзли в шалаше и ужасно чего-то боялись.

И это ужасное нас все-таки не миновало.

Однажды по утрам, мы детвора, проснулись от какого-то жуткого крика и рыдания. Я в испуге вскочила и непонимающе быстро оглянулась вокруг. И вдруг мой взгляд натолкнулся на другой остекленевший холодный взгляд моей маленькой сестренки Настеньки, лежавшей неподвижно в своей люльке. Над нею рыдала и причитала бедная мама. А вокруг стояли братишки Ваня и Федя, сестренка Аня и отец. Все неутешно плакали. А я, обезумев, не могла оторвать глаз от холодного мертвого взгляда Настеньки, и жуткий ужас овладел моей беззащитной детской душой...

Похоронили Настеньку на песчаном пригорке за нашим шалашным поселением. Там уже было несколько свежих холмов...

Маленький гробик, маленькая могила. Маленький холмик. Маленький деревянный свежевоструганный крестик... И... елочка, молоденькая, рядом. Зелененькая, одинокая, грустная. Кругом вековые деревья сосны...

Позже, летом, на солнечном склоне пригорка, спускающегося к шалашному поселку и реке, зацвели миниатюрными белыми цветочками-венчиками кустики клубники, а затем появились ароматные рубиновые ягодки в крохотных белых пятнышках.

Ваня с Аней ходили туда. И полакомились тающими во рту, душистыми ягодками. А маме принесли букетик из нескольких веточек этих ягод.

Мама поднесла букетик к плачущему лицу и тихо сказала: все не рвите. Настенька тоже ходит и гуляет там светлыми ночами со своими подружками и также собирает клубничку рано на заре когда встает солнышко...

И разделив букетик на равные части, угостила ягодками всех, сказав при этом:

- Помяните Настеньку... Милая наша несчастная сестренка. Ты ушла из жизни так рано, не осознав даже того, что ты была рождена и прожила несколько мгновений в этом страшном безжалостном мире...

Меня всю жизнь мучает вопрос, на который я не могу до сих пор найти ответа. За что же так жестоко были наказаны мы, безвинные малолетние дети и грудные младенцы? КТО ДАСТ ОТВЕТ?

ГЛАВА 3

ЛЕТО.

И вот наступило лето. Прохладное дождливое, сырое. Изредка пригревало солнце, да радовала нас детей природа изобилием ягод, которые росли прямо вокруг поселка в лесу и на берегу в кустарниках. Названия им, мы малыши, пока не знали, так как на далекой родине таких ягод не было. Только наш дотошный отец все-таки разузнал некоторые их названия.

- Это, — говорил он, принося, нам детям, травянистый букетик с мелкими листочками и тоненькими стебельками, сплошь усыпанных темно-синими и фиолетовыми ягодками, величиной с южный паслен, — черника! Ее есть можно. А на другой день он приносил уже новый более большой и очень, очень красивый букет! Стебли длинные (сантиметров 30-40), хрупкие. А ягодки крупные, чуть-чуть продолговатые, и голубые, голубые! Как глаза у моей сестренки и мамы.

- Это, — говорил папа, — Голубика! Ее тоже есть можно.

А вечером я бежала вприпрыжку в развевающемся (единственном тогда) по

ветру красном платье в горошек, к берегу реки и встречала старшего брата Федю с кружкой в руках.

Они, парни, рубили лес по ту сторону реки для постройки поселка.

И как только лодка, шурша дном по мелким камушкам, причаливала к песчаному берегу, я тут же, завидев брага, мчалась ему навстречу и протягивала кружку.

Федя, смеясь, выходил из лодки, останавливался, приглаживал свой густой русый чуб, и, присев на корточки, обнимал меня и высыпал из своей шапки содержимое в мою кружку.

Тут оказывались такие лакомства, которые мне до этого небыли ведомы— то янтарная прозрачная красная смородина кистями попеременно с крупной черной, сладкой - пресладкой, то любимая моя малина.

Ах, какие красивые, пузырьковые сочные ягодки! Какие алые!

Какие вкусные! Ничего подобного я не едала до сих пор!

Парни рубили лес для большого поселка, который строился за два километра ниже по течению реки. Это в рабочий день.

А после работы до глубокой ночи строили за нашим первобытным поселком из шалашей, напоминающим поселение американских индейцев Кроу, расположившимся на самом берегу бурлящей порогами реки, мужчины, парни и подростки — строили другой поселок, из деревянных маленьких избушек, на курьих ножках.

И мы, малыши, взаправду думали, что в них будут селиться бабы-яги и змеи Горынычи. И ломали голову над тем, зачем же взрослые строят избушки для ведьм, которые будут жить в них и вылетать ночью из труб на метлах в звездное, светлое, северное небо и пугать детей. И где возьмут столько ведьм? Что их тоже привезут большие дяди с наганами на белых и черных пароходах? И наверно вместо лаптей на палубе будут лежать большой кучей метлы! Видимо так.

Мы часто задавали такие вопросы нашим, смертельно уставшим родителям, возвращавшимся со стройки.

И их угрюмые, серые, худые лица, глядевшие на детей, вдруг освещались каким-то внутренним еле заметным светом, они переглядывались, улыбались, а порою даже неожиданно смеялись и отвечали:

- Вот к осени увидите, кто будет жить в этих избушках, а пока это секрет.

Почему же избушки были на курьих ножках?

Да потому, что места здесь были болотистые, сырые. Непрерывные дожди шли через такой промежуток времени, что земля порою не успевала подсыхать.

Следовательно, надо было ставить избушки на каких-то основаниях, камнях или высоких пнях столетних деревьев.

И получались избушки, ну ни дать, ни взять, из сказки про бабу-ягу! На курьих ножках!

Куриными ножками служили когтистые, разлапистые пни и остроугольные, стопудовые камни.

Люди торопились — надо за короткое северное лето, после работы, построить деревянный поселок из маленьких избушек на две-три семьи до наступающих холодов. А людей ведь тысячи. И в каждой семье очень много детей. Все семьи были на 95 процентов многодетными, от четырех до восьми детей.

Взрослое население изнурилось от непосильной работы, от голода, от недоедания. Давали не ахти какой паек, и то, если выработаешь норму. Бледные, худые люди походили на какие-то привидения. А оборванные, прикрытые тряпьем фигуры, внушали нам, детям, неподдельный страх.

И поселок быстро рос, и был построен к осени.

Наша семья из 6-ти человек, вместе с семьей Амочаевых (тоже из шести человек) и третьей семьи из двух человек — дяди Саши и тети Полины — в начале осени переселились в один из таких «теремков».

Вот тогда мы, детвора, поняли для кого строились эти избушки!

Избушка наша на курьих ножках была совсем небольшой: метров шесть длины и четыре ширины.

Половину ее, от стены до стены, занимали нары.

Два подслеповатых оконца по бокам, перед которыми были прибиты полки, заменявшие столы, и вокруг них лавки — тоже прибитые только к полу, чтобы не двигала их детвора - да печь у двери в левом углу, маленькая, приземистая — вот и вся «мебель» сказочной избушки.

Только не было метлы у печки, а был пушистый свежий веник.

Спали все вместе. Наша семья занимала левую половину нар, семья Амочаевых — правую. Дядя Саша и тетя Полина примостились на топчане за печкой. Они были более пожилые, чем наши родители, потому им уступили и более теплое место.

Левый миниатюрный стол со скамейками — наш и тети Полины, правый семьи Амочаевых.

Коротко и ясно. Где, что и как. И никаких недоразумений. И не было никаких ссор ни между взрослыми, ни между нами, малышами.

Удивительно! Чем тяжелее жизнь, тем человечнее человек, и неделимое, вот уж воистину - молодая коммуна, никогда ни из-за чего ни ссорились и не дрались. Можете мне не верить, но прожив свое детство в таких условиях, я не помню, чтобы кто-либо из детей поднял руку на меня или я подняла на кого-то руку. Поднятая рука — это исключено из моего раннего детства.

Может быть, этому способствовало то, что делить было нечего. Не было игрушек, не было продуктов.

Игрушки можно было сделать из дерева. Но взрослым было не до этого. И мы довольствовались камушками, найденными у берега реки. Некоторые из них были довольно интересной формы и окраски. И еще игра кубиками, щепочками, чурбачками — деревянными отходами от стройки.

Да из всех детей нашей избушки только наш братик Ваня был мальчик, а остальные — все девочки. Брат Федя был уже взрослым, и, следовательно, нас обижать было некому.

А мой братик Ваня, тоненький, стройный, с темно-синими задумчивыми,

умными глазами мальчик, на редкость был очень добрым, покладистым и уважительным. В ту пору ему было восемь лет.

ГЛАВА 4.

ЗИМА.

Итак — мы переселились в избушечный поселок из шалашей, и наступила суровая зима.

Трескучие морозы жали до сорока градусов. Валил обильный, лебединый, пушистый снег, и наше сказочное поселение утонуло в высоких сугробах.

Бывали такие ночи, когда проснувшись поутру, мы были засыпаны со всей нашей избушкой чуть ли не до крыши.

Подслеповатые окошки оказывались до верху засыпанными сугробами. В избушке стояла какая-то белесая, серая мгла.

Мужчины, надавив плечом на дверь, кое-как вытаскивались на улицу и откапывали нашу избушку из-под заносов снега, как доисторическое поселение Скифов.

Взрослое население часто зимой утром проделывало подобную зарядку, затем бежало на работу.

А мы, дети, оставшись одни дома, так как никаких садов и школ пока не было, были предоставлены самим себе. Кое-как приодетые в лохмотья, играли в снежки, катались с небольших сугробов на досках, с загнутыми носами, такие доски нам мастерил старший брат Федя, вместо санок. Мы их называли каталками. Настоящие санки пока делать было некогда. Родители, парни и девушки работали от темна - до темна.

А на работе игрушки и санки по тем строгим временам никто не позволил бы делать.

Короток северный зимний день. И вечером избушки освящались коп тюльками. Так называли пузырьки с горючей жидкостью. Вместо фитиля служила веревочка, наверху вставленная в жестяной малюсенький кружочек из-под жестяной банки. Заканчивающийся растрепанный конец веревочки

зажигался и дымил копотью, которая разъедала глаза, пламя было крошечное, но очень едкое — мы кашляли, слезились от дыма глаза.

В сказочных, утопающих в снегу избушках, в дремучем, Берендеевом лесу, на берегу суровой, быстрой, широкой, холодной реки Вымь со страшными порогами, от взгляда на которые леденеет детское сердце, вдали от всяких населенных пунктов, с которыми не имели пока еще никакой связи, прожили мы два года.

Спустя много десятков лет я задумывалась над превратностями нашей жизни и пришла к такому выводу:

Как бы не был виноват взрослый человек — детей его никто не имеет права наказывать. Они святы и ни в чем неповинны.

А у нас в первые годы становления социалистического строя и особенно в период образования колхозов, надо признать, было допущено много ошибок — это мягко говоря, а если сказать по справедливости — то было допущено много варварства, террора и преступления по отношению к своему собственному народу — как при Ленине и особенно при Сталине.

Во-первых, если считают, что были так называемые кулаки — хотя среди донского казачества это не особенно выделялось, казаки имели паи земли, помещиков не было, и среди казаков не выделялись особенно богатые и слишком бедные. Разве что, как Арсенич - лентяи, да Зенкины — воры, у которых было много взрослых сыновей, а, следовательно, и паев земли, так как землю по паям распределяли на мужчин, но они ленились ее обрабатывать и продавали, а потому были бедны.

Но не о них речь. А речь о настоящих хозяевах земли. В казачестве были большие семьи: от пятнадцати до тридцати пяти человек. Если говорить по справедливости — работали, как работают сейчас арендные семьи и фермеры. Не считали часов работы. Как говорят - от зари до зари. А летом сами знаете сколько времени от темна до темна. И если сейчас арендаторы и фермеры ухаживают за сто коровами, то тогда о таком количестве животных и не помышляли. На

тридцать человек семьи имели самое много три-четыре коровы. Две- три пары быков — и считались кулаками.

Итак, повторяю, если новый строй в стране считал кого-то кулаками, то есть отдельных хозяев земли, то следовательно надо было наказывать только этого человека, берите и отправляйте его куда угодно в тюрьму или на высылку, разумеется, если он провинился по справедливому человеческому закону, хотя это довольно-таки спорный вопрос: ибо, как факт, могу утверждать, что прожила я там с этими кулаками пятнадцать лет и не видела в них никакой вины, кроме их трудолюбия и желания выжить и воспитать детей.

Никогда я не слышала о каких-то зверствах кулаков на родине, о каких-то убийствах, о которых много твердят и твердили в старых книгах.

Ну а если это и было, то в третий раз повторяю наказывайте того, кто это совершил.

А причем его семья и малолетние дети? В чем они провинились?

Ведь по тем временам в каждой семье было не менее 4-10 детей. И всех этих детей в холодное время года выбросили, как ненужных котят на снег и лед. Это что справедливо?

И разве это оправдывает ход истории развития социалистического государства? Это не ошибки наших руководителей — это великие преступления, которых не смыть никакими оправданиями.

Разве Сталину нельзя было придумать что-либо поумнее и человечнее, и не бросать детей, кто бы ни были их родители, на верную гибель, не задумываясь о их судьбе?

Разве можно было верить после этого в какую-то свободу и гуманность с его стороны и тех людей, которые были его исполнителями.

А если бы кто-либо поступил бы так же с его дочерью Светланой? Что бы он сказал и сделал в ответ?

Но какова бы не была сурова к нам, неповинным детям, судьба, вернее безумие Сталина, мы, став взрослыми, не выросли предателями, и не предали

Родину, как предала ее его любимая дочь Светлана, которая уехала в Америку, предав анафеме все его утверждения и убеждения о построении свободного общества без эксплуатации. Ему казалось, он построил это общество, а на деле оказалось совсем иное.

Мы выросли несмотря ни на что настоящими людьми и патриотами своей Родины. Наши братья русские Вани: Ваня Минаев, Ваня Лавренов, Ваня Соловьев, Ваня Попов и Вася Минаев — трое из них награждены орденами Красной Звезды, в том числе и мой родной брат Ваня Минаев, все они отдали жизнь в Великую Отечественную войну, за нас, за Родину, за счастье на земле, за мир, за доброе человеческое что есть в людях.

Они не стали предателями Родины, как Светлана Сталина, как сын лодыря Арсенича Василий, который дезертировал с фронта под чужим именем убитого и спрятался в белорусских краях на всю оставшуюся жизнь, и, тряся до конца своих дней от страха разоблачения, как последняя сволочь.

Меня могут обвинить в том, что я так обнажаю до наготы преступления Сталина, в моем вопросе дескать уже много писали о других его преступлениях, пора уже забыть и прекратить об этом говорить.

Нет, уважаемые читатели, кто был в Освенциме и Бухенвальде, никогда этого не забудет и говорить об этом не перестанет, хотя бы потому, чтобы это не повторилось никогда и нигде!

Там и мы, безвинно пострадавшие дети, этого варварства и ужасного преступления перед народом забыть не можем! И вспоминать будем, чтобы напомнить потомкам — будьте осторожны, не допускайте подобного в своих действиях никогда в жизни!

Ведь такие преступления Сталина и его окружения коснулись не единиц, а миллионов людей. Это явилось трагедией семей и многих его сподвижников: Бухарина и многих других.

Сколько было расстреляно, погибло в концлагерях неповинных, преданных Родине людей? Сколько умерло в наших поселках на Севере? Не сосчитать!

А что было сделано с колхозами и их людьми в период правления Сталина? Они разорялись, обнищали до предела. Задавили налогами, а за работу ничего не платили.

А Сталин, сидя в Кремле, ничего не видел и не желал видеть, боялся выехать за околицу Москвы. Думал за ним охотятся сотни убийц, подстерегая на любом направлении, потому и не побывал за двадцать девять лет своего руководства страной ни в одном колхозе, ни в совхозе. И думал, что колхозники живут в большом достатке, колхозные и совхозные амбары ломятся от зерна, колхозные стада неисчислимы, а поля необозримы.

Богатыми и красивыми были лишь песни, составляемые поэтами и композиторами, которые видно никогда в глаза не видели деревень и колхозов, а потому писали:

Собрались казаченки, собрались на заре,
Думу думали большую на колхозном дворе:
Как бы нам теперь ребята, в гости Сталина позвать,
Чтобы Сталину родному все богатства показать.
Показать бы похвалиться своей хваткой боевой,
Приезжай товарищ Сталин, приезжай отец родной.
Мы пошлем тебе навстречу всех стахановцев полей,
Мы дадим джигитам храбрым самых лучших лошадей.
Будешь ехать через поле полюбуйся красотой,
Как хлеба шумят на воле, умываются росой.

И еще:

И колхозах хлеба полные амбары,
Привольно жить нам стало на Дону,
Эх проливали кровь свою не даром
Мы на полях в гражданскую войну.

А на самом деле деревня разваливалась, и было совсем по другому, чем пелось в песнях. Люди задавленные налогами, непосильной работой, которая

никак не оплачивалась, умирали от голода, почти не меньше чем на севере.

Петр Проскурин говорит, что писатель имеет право писать правду, хотя она не лицеприятна некоторым.

Я хочу сказать, что не обязательно, только писателю можно говорить правду, это право имеет любой человек, тем более, если нелицеприятная правда стала трагедией миллионов людей, а не единиц.

Многие могут сказать, что, дескать, когда рубят — щепки летят. И что это было необходимостью.

Ничего подобного! Наказать детей, святых от рождения? Такого никому не надо! И никто и ничто не может этого оправдать, и никого это не оправдывает, даже тех, кто стоял у руля государства.

Шолохов в «Поднятой целине» устами Давыдова сделал попытку оправдать подобное явление, но из этого ничего не получилось.

Давыдов говорит, было время когда царское правительство арестовало его отца, посадило в тюрьму за забастовку на заводе, в которой он принимал участие. А его мать с детьми маленькими осталась без средств к существованию.

Но ведь ее не выслали с детьми ! Как наших мам с грудными младенцами. Его мать могла каким-то образом куда-то устроиться на работу, хотя бы в прислугу или еще куда. Или уехать в деревню к родственникам.

А она, видите ли, занялась проституцией! Ну и выход! Нечего сказать! И сравненьице — скажу я вам...

Наши матери ни при каких обстоятельствах проституцией не стали бы заниматься. Умерли бы с голоду с детьми, а пакостью себя бы не оскорбили. И сравнение тут Давыдова несуразное и не хорошее. Уж лучше бы он не говорил такое о своей матери. И то бы было легче и ему и нам.

Я не хочу во всем очернять деятельность Сталина, как государственного руководителя. Он много сделал для победы над фашизмом в Великую Отечественную войну, он дал нам потом детям, оставшимся в живых, возможность учиться, хоть мы и несправедливо считались детьми кулаков.

Каждый из нас, кто остался в живых от голода, войны выбрал свой путь, тот, который был в душе.

Мы принесли пользу Родине по силе своих возможностей и тем остались довольны.

Но души наши были с ранено детства незаслуженно травмированы! И это наложило отпечаток на наши судьбы. Порою незаживающие раны очень кровоточат и дают знать и по сей день.

Люди, нельзя быть в жизни такими жестокими к судьбам детей и неповинных людей. Это принесет печальные плоды и родит тяжелые мысли о смысле жизни.

ГЛАВА 5

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕРРОРА

Еще один пример.

Не так давно великая страна отмечала восьмидесятилетие главного конструктора Королева Сергея Павловича.

Какой человек! Какой гений! Глыба! Какой преданный Родине патриот! А ведь он был кратирован в 1938 году и объявлен врагом народа...

Враг народа — какое бесчеловечное слово — то!

И это не трагедия ли, не крушение? Это не издевательство ли над человеком, как над личностью? Да это бог весть что? Только не добро... а великое, превеликое ЗЛО!

Диву даешься, как переносили это такие люди, как он. Видно обладали такой силой воли, которая пересилила волю тирана.

А как прикажете переносить то крохотным беззащитным созданиям, таким, как дети!

Такие как мы, которых выбросили голых, раздетых на необитаемый таежный северный холодный берег, как щенят, от которых решили избавиться. Выживут? Вряд ли! Умрут? Бог с ними.

Видно так рассуждали наши «незабываемые» правители. И дети, старики

умирали десятками, сотнями, тысячами.

И никто бровью не повел из тех, кто преподнес нам эту судьбу. И не постарались что-то изменить в этой начавшейся трагедии. О нас просто забыли и нами не интересовались.

Миллионами умирали мы — это никого не тревожило. И никто не задумывался над такой трагедией.

А следовало бы задуматься!

Не так давно в период перестройки, слушала беседу писателя Владимира Карпова с молодыми поэтами и писателями страны.

Он пригласил их к себе на чашку чая — в домашней обстановке, т. е. непринужденной откровенно) поговорить о том, о чем мыслит и собирается писать молодое поколение литераторов.

Вроде бы настало время, когда можно писать, смотря правде в глаза. Но молодые писатели в своих выступлениях прямо сказали — что они на распутье — о чем писать и как писать правильно не знают. Не осудят ли их опять?

Один из выступавших откровенно заявил: «Писать правду? А где она. правда? Двадцатые — тридцатые годы — время образования колхозов. Сколько дров наломали! Сколько негативных сторон! Культ Сталина, говорились только хвалебные слова!»

Следующий этап после Сталина. Опять считали, что вот теперь на правильном пути. Но Хрущев тоже наворочил — не дай бог! И опять оказалось идем не той дорогой, которой следовало придерживаться, следуя ленинским заветам.

Да заветы Ленина — правильны ли они?

Следующий этап — породил пьянство, взяточничество, кумовство, коррупцию, а говорили, что у нас идет все отлично. А опять оказалось- кривизна и показуха.

Так где же правда? И где тот единственный путь, ведущий к правде?

Пока не знаем. ПОКА не знаем. Сейчас перестройка и ускорение. А не

окажется ли это на словах, а не на деле. И точно! Все оказалось ложью и пустым враньем. Горбачев Михаил оказался просто краснобаем не способным совершенно руководить страной и народным хозяйством. Порядок и дисциплина в государстве развалилась и страна стала неуправляемой, как корабль без руля и капитана.

А теперь пришли новые власти, и опять, не спросившись народа, направили нашу жизнь по пути капитализма. И что сделали первым долгом? Все наши трудовые рубли, нажитые целой жизнью, превратили в копейки и хоронить людей стало не на что. И выходит: и царь, и большевик, и демократы, и капиталисты, все не о чем людей не спрашивают и первым долгом грабят свой народ.

Мое заключение, как человека, прожившего жизнь, у нас в стране, никогда не было еще настоящего хозяина земли своей.

Города стали слишком многочисленны, Народ валит в них валом. А Деревня? Земля наша крестьянская?

Деревни пустеют. Земли наши крестьянские сиротеют и скудеют.

И пока по-настоящему за это никто не берется и этот вопрос в государственном масштабе серьезно не решается.

Делалось, немного при брежневском социализме, но этого оказалось мало. Это была капля в море. А теперь при капитализме вообще крестьянина забросили. Что будет дальше - хорошего пока ничего не предвидится. А надо — раз довели деревню до ручки — будьте добры решить этот вопрос на государственном уровне, быстро по - деловому.

А именно бросить на постройку жилья со всеми удобствами в деревне огромные государственные средства и в короткий срок восстановить деревни до такой кондиции, чтобы население городов само отхлынуло в деревню. Просто говоря; создать там такие условия, чтобы молодые гуда с удовольствием поехали. А это будет тогда, когда там будут как в городе: такое же жилье и такое же социальное и продовольственное обеспечение.

Иначе этого вопроса не решить еще сто лет. Даже что было создано при социализме — развалилось. Не работают детские сады во многих селах, школы, медпункты, магазины.

А теперь и колхозные постройки пришли в упадок. Все растащили, разграбили: колхозные мастерские, скотофермы, клубы. А разве фермер будет строить новую школу или магазин, или медпункт? Да он не в состоянии дом себе построить, ибо один в поле не воин.

В двадцатых годах на моей главной улице Туб очной, где я родилась, было 30 дворов, в каждом дворе было не менее 10 человек, а то и больше. Следовательно, всего было не менее 300 человек только на одной улице.

Теперь спустя 60 лет, на моей улице Тубочной осталось... только четыре двора с численностью населения 15 человек. И так на каждой улице всего хутора Борисовского, куда относится моя улица Тубочная.

Теперь уж эту улицу не назовешь хутором Тубочным, да и улицей тоже нельзя назвать. Вот до чего мы дожили...

Вот и жди, сколько же десятилетий пройдет, чтобы моя улица заветная Туб очная, и вообще хутор Борисы, стали опять многолюдными?

Хоть говорили — то коммунизм, то перестройка и ускорение, то вот дождались господ капитализма! А воз и ныне там. Если так и дальше дело пойдет — то деревне вообще труба!

Мне запомнился случай в период перестройки по телевизионной передаче, когда Горбачев любил так сказать идти в народ и беседовать с ним прямо среди улицы (вообще-то не он любил слушать людей, а обожал когда его слушали). Так вот ему был задан вопрос старой женщиной: почему людям старшего поколения, на долю которого выпало много бед и несчастий, которые перенесли и коллективизацию, и голод, и войну, и тяжелые послевоенные годы, восстанавливали разрушенное войной хозяйство страны — ими пенсия досталась самая маленькая, так как в те времена зарплата была не как и сейчас при капитализме, меньше чем теперь.

Горбачев ответил, что в стране много нужд и денег выделить не могут.

Вот ведь какой лицемер! Себе местечко курортное оттяпал у государства и построил за несколько миллиардов рублей! Это он нашел для себя! а вот людям престарелым — ни рубля не нашел.

Ну что нам ждать от подобных руководителей!

Уважаемые наши властелины! Позвольте с вами не согласиться. Деньги можно найти для таких заслуженных, дорогих, но бедных людей, если хорошенько подумать и поискать, так как это сделать крайне необходимо, раз люди так нуждаются.

А деньги есть, только разумно их надо тратить. Зачем коммунисты, в том числе и Горбачев, кормили всю Африку, и половину Азии? И все коммунистические партии мира? А?

Они спрашивали народ, чтобы их кормить? Зачем теперь новоиспеченные капиталисты грабят наш народ и выкармливают капиталистическое отродье? Почему оставили стариков без копейки? Превратив их вклады в нуль. Зачем тратить миллиарды на космос, на непрерывные полеты, я бы сказала бесконечные полеты, которые ничего не дают и не дадут, такие полеты что-то не позволяют себе даже такие богатые страны, как Америка или Япония. Зачем столько миллиардов тратилось на ненужную миллиорацию, которая только портит землю и превращает ее в конечном счете в соленое болото, или совсем орошению землю. А сколько шло миллиардов рублей на копание ненужных каналов? А реки и озера заболачиваются, и никого это не беспокоит.

Да если эти деньги направить на улучшение материальных условий тех людей, о которых шла речь, то их озолотить можно, а не только помочь. А миллиардные космические корабли, которые падают в океан, на не нужны! Много у нас делается ненужного и бездумного. И никого из правительства это не беспокоит. Если бы это беспокоило, то деревни и наш народ не дошел бы до такого состояния и до такой жизни.

Я возвращаюсь. В заключительном слове Владимир Карпов сказал в своей беседе молодым писателям и поэтам следующее: надо писать правду. Но правду такую, чтобы показать не только негативные стороны, но и позитивные.

Совершенно верно. Вот и я пишу до конца негативные стороны, от которых до сих пор болит сердце за свой черноземный край, за свою Родину, за свою, судьбу.

Выскажусь, как говорится, до конца, о чем болит душа, кровоточит и щемит сердце. А потом укажу в этой книге и позитивные стороны. В частности, Карпов, как пример приводит следующее. Он говорит, что некоторые считают, что колхозный строй в нашей стране стал утверждаться рано в 30-х годах. Следовало бы его перевести на более поздние сроки. В частности, я тоже так считаю. Он, Карпов, с этим не согласен. С его точки зрения, колхозный строй не успел бы укрепиться, и мы бы могли не победить в Великую Отечественную войну. Наверное Карпов не рос в деревне. Если бы он рос в те годы в деревне, его бы точка зрения была другой. Дело в том, что люди родившиеся и проживающие в те далекие времена в деревне (я имею в виду умных людей) рассуждают так: Ранняя организация колхозов ничего положительного не дала, кроме разорения деревни. Механизации еще никакой не было: то есть ни тракторов, ни сеялок, ни комбайнов, ни косилок и т. д. Обществ или, то есть собрали на общий двор лошадей и быков, а как за ними ухаживать, как содержать вместе такое количество скота — все было неизвестным, да и помещения подходящего такого не было. Появились эпидемии среди скота, начался падеж быков, лошадей, коров. А все приписывалось вредительству. Это одно. До сих пор колхозы и совхозы не могут организовать хозяйство так, чтобы избежать падежа скота весной. А прошло семьдесят лет. А у единоличника это наблюдалось редко. Так как за одной-двумя коровами, парой быков и одной лошадейю он мог ухаживать и знал сколько кормов заготовить, чтобы избежать падежа. Второе — раскулачивание. Тоже перегиб. Сколько настоящих хозяев земли вырвали с корнем и выгнали из деревни. Ведь были семьи по тридцать человек, и всех их раскулачили. Потому,

что в таких семьях, разумеется, не могло быть по одной корове и лошади, а было по несколько. А как иначе? Разве можно было прокормить такую семью одной коровой и вспахать землю одной лошадью? Это же абсурд. Но такого не понимали, уважаемые товарищи Сталин и лодыри бедняки. Они мерили все на одну мерку: раз не одна корова., а несколько, и пара волов тоже не одна, то значит семья зажиточная и подлежит раскулачиванию. А сколько ртов на этих коровах — не бралось во внимание. Вот когда надо было развивать семейные подряды и фермерство! Вот когда было видно, кто хозяин земли, а кто туineaдец и лодырь. А их, этих хозяев земли убрали и вывезли, где Макар телят не пас. Почему-то в других социалистических странах этот пример нигде не переняли. Сегодня арендаторы и фермеры заводят от пятидесяти до ста коров и ухаживают за ними, это не считается, что данная семья — кулаки. А в нашем хуторе Тубочном была такая семья Агеечкиных, это по уличному их звали, а настоящая фамилия Макаровы. Так вот в этой семье насчитывалось тридцать человек. И было у них коров пять не больше, да три-четыре пары быков. Ну еще там куры, свиньи, гуси, да несколько овец. Ох, какими их кулаками-мироедами сочли! И все за то, что от темна до и они не знали ни сна, ни отдыха, ходили все в зипунах и чунях, чуть не в лаптях, ухаживая за скотом и пропадая в поле сутками. Никаких работников не имели, так как своих взрослых людей было достаточно.

И все-таки их, бедных, раскулачили,. все отобрали, всех малых и стариков, рабочих членов семьи выслали в Казахстан.

Но не пропали там эти люди, благо это был не жестокий, не необжитой холодный Север. Все они там также, как и дома, отлично работали в колхозе, и когда, жизнь улучшилась, приезжали после войны на Родину взглянуть. Все в костюмах, при галстуках, в шляпах и не в лаптях и зипунах, а в лакированных ботинках. Некоторые из сыновей стали агрономами, зоотехниками, учителями. Дочери доярками, медицинскими работниками. Глава семьи — старик Агей Макаров по приезду купил сыну дом, живущему в г. Новоаннинском, за 75 тысяч рублей. За такие цены в городе еще никто не

покупал. Значит там в Казахстане они не сидели сложа руки, как Арсенич, который тут жил в кулацких домах и довел их до ручки, а потом вырыл землянку, и, как суслик прятался в ней всю войну, и после войны, пока одна женщина не смиловалась над ним и не взяла его к себе в зятя. Вот так и бывает в жизни, если человек работяга, он везде будет человеком. Если же он подлец, то и жизнь его вся будет подлой. Когда моя мама и сестра Аня приехали с севера в 1948 году на Родину и поехали к Дусе в гости, то на краю хутора Тубочного их первым встретил Арсенич, немало перепугав их, вылезая, как бродячий пес, из землянки. Вид у него был умопомрачительный: короткая, обтрепанная шинель, не доходившая ему до колен. Видно проезжий солдат смиловался над бедным стариком и оставил это поношенное одеяние в подарок. Рваные штаны до щиколоток, открытые лапы ног, искусанные комарами и исцарапанные колючками были задвинуты в растоптанные, грязные чирюхи. Свалявшиеся волосы были похожи на шерсть, грязной, неухоженной овцы. Расстегнутая шинель без пуговиц и без хлястика открывала коричневый живот, невымытый полгода, на который была надета рваная рубаха неопределенного цвета доходившая ему до пупка.

Вот в таком распрекрасном виде представился взору моей мамы и Ане бывший погромщик кулаков, первый строитель и организатор колхозов, который всю жизнь жил за чужой счет и ничего доброго не сделал, и ничего не создал ни себе, ни людям, кроме погрома и разгрома крестьян.

Когда моя мама, Пелагея Ивановна, одетая прилично, хоть и с высылки приехала, удивленно остановилась и взглянула на этого строителя коммунизма, то ему ничего не оставалось делать, как горестно вздохнуть и осмелиться сказать: — Вот так я и живу, Ивановна... Мама усмехнулась и произнесла — Ну что ж, как жил, то и нажил...

Спасибо тете Маше Лобковой — взяла перед смертью этого тунеядца к себе в зятя. Откормила, одела в костюм, с тем и похоронили его ее дети.

Но вернусь к выше излагаемому. Следующим негативным звеном в

движении нашей жизни после раскулачивания и организации колхозов был голод 1932-1933 годов. Причины известны: разруха в деревне, неурожай, падеж скота, неорганизованность новых хозяев земли, бедняков. Доходило до того, что в посевную весной резали быков на мясо, чтобы варить в поле обед для новых пахарей. Какой же добрый хозяин режет быков в посевную? А новые колхозники с песнями и гармонией отправлялись на стан, разумеется, не в темень, когда еще солнышко не вставало, как ранее крестьянин-единоличник, а собравшись гурьбой этак часиков в девять только прибывали на стан, забивали быка, а потом отправлялись пахать, а специальные повара готовили сытный обед из кулацкого животного.

На много ли хватит таких обедов и жирных быков? Разумеется — сколько веревочке не виться — конец будет.

И о пришел этот конец в виде неурожая, страшного голода, повальной смерти. И стали еще больше пустеть деревни. Те, которые оставались там, так называемые бедняки, которые раскулачивали хозяев, теперь сами побежали из деревень.

Бросили хутор и воры Зенкины, удрали из него, когда пожрали продукты кулаков, не ушел только Арсенич. Он схитрил: переселился в новый кулацкий дом в одну половину, а в другой организовал так называемый² склад, над которым он якобы являлся кладовщиком. Туда приказал свозить кулацкое добро, особенно продукты: свиное сало, муку, зерно и т. п. Ну, разумеется, сала в кадках ему хватило на долго, вот и удержался в деревне не подох с голода. А когда это кончилось, то принимался за следующее: посидев вечером с председателем колхоза и председателем сельсовета за бутылкой самогона, они решали: какой двор еще объявить зажиточным и потрясти его. Накладывали на этот двор по несколько раз, так называемую в народе — кратку на вызов зерна и других продуктов. В начале хозяева этих подворий вывозили, что было, но, как говорится, всему бывает конец, когда вывозить уже было нечего, это хозяйство крестьянское по воле Арсенича и ему

подобных объявлялось кулацким и раскулачивалось, как было ими намечено. Так был раскулачен наш дядя Иван, мой крестный с хутора Козлиновского Макар Никитович Сытилин, у которого отобрали дом но потом разобрались, что он всю жизнь сам был у чужих людей в работниках и оставили в покое. Но дом и имущество не вернули, все разграбили, пожрали. Пришлось им, отцу Макару и крестной Ане Михайловне с маленьким мальчиком уйти с пустыми котомками за плечами пешком за 50 километров в совхоз «Апо» и там поселиться в бараке и начать новую жизнь.

А дядю Ивана вывезли с семьей на высылку, а потом отправили в Казахстан. На высылке умерла бабушка Фекла, а в Казахстане — девочка Шура. Таким же образом была раскулачена и семья Ивана Яковлевича Мазина, у которого, как и у нашего отца была красная книжечка и документы, что он воевал в Армии Буденного. Хозяйство его было не ахти какое, но Арсениду понравились их два кабанчика, глядя на которых у него текли слюнки. Боровков Арсенич отобрал конечно, а хозяина Ивана Яковлевича сослал в Карелию рубить лес. Так как остальных кулаков с семьями давно выслали, то семью Ивана Яковлевича пока оставили в хуторе. И вот жена Ивана Яковлевича Матрена, не спав ночи, все думала, как же так: воевал муж в армии Буденного за лучшую жизнь, а его за это в Карелию лес рубить отправили, в самые холодные места — нашел Иванушка хорошую жизнь, за которую воевал! И плача и рыдая достала тетя Мотя из сундука его шинель военную, и, обливая слезами решила почистить и проветрить, а потому стала гладить ее руками, чистить щеткой и выворачивать карманы.

И вдруг в грудном защитном кармане она обнаружила какие-то документы. Прочитала их и ахнула! Это же бумага от Буденного! И красная книжечка — вот она!

- Недолго мешкая догадливая тетя Мотя отправилась с этими бумагами на станцию к прокурору — надоумили добрые люди.

Прочитав, прокурор обомлел, и во всем разобрались. Успокоили тетю Матрену, пообещали, что муж ее будет возвращен на родину.

И, действительно, скоро дядю Ивана Яковлевича вернули домой.

Если бы сохранилась красная книжечка и у нашего отца, которую забрали старики-старейшины, приговорившие нашего батьку за измену царю и отечеству к ссылке в Сибирь, то нас бы не постигла участь раскулачивания. Но увы...

Итак вернемся к начатой теме. Раскулачивание шло сплошной волной. Иван Семенович Лавренов и Анастасия Ивановна, его жена — родители нашей мамы, имели четыре дочери и одного сына Федора. Жили в хуторе Дурновском. Дочери: Пелагия, Ульяна, Устинья и Прасковья, все вышли замуж и жили отдельными семьями. Старики остались с сыном, который тоже женился на Дарье Кочергиновой, и у них родилось двое детей — Валя и Ваня.

Перед раскулачиванием старикам было уже за шестьдесят. И дяди Феди в это время дома не было он служил в Красной Армии. В гражданскую войну он был тоже мобилизован Красной армией и воевал с белогвардейцами. Я помню, как на поселке он рассказывал нам о тех годах, боях и походах. Ну вот пока дядя Федор все еще служил в Красной армии, его стариков в 1931 году, как и нас вместе со снохой и малолетними детьми выслали. За что же выслали стариков? А за то, что они ждали сына и пока не входили в колхоз. Дедушка Иван с бабушкой Анастасией говорили: -А вот приедет Фдяшка, пусть как хочет, так и поступает. Захочет, пусть входит в колхоз. А не захочет — его дело. А наше дело спетое, мы, старики, уже отработались, и решать нам нечего, какой из нас прок?

И думаете пожалели стариков? Ничего подобного! Раскулачили! Все отобрали и выслали на Север с малыми внуками и выбросили на снег, все по той же причине, что старики не входили в колхоз. А какие из них работники в колхозе? Это никого не интересовало.

Чтобы не быть голословной, назову имена и фамилии других женщин, мужа которых тоже служили в Красной Армии, а их выслали на Север с малыми детьми: Сомова Моля, Родионова Таня, Иванова Поля и другие. Мужья некоторых после армии приехали туда, а другие жены так и не дождались их: они вернулись на Родину. Туда не поехали. А жен к ним так и не отпустили. И

провековали бабоньки на Севере ни за что, ни про что соломенными вдовами, при живых мужьях. Вернулся на поселок из наших родственников только дядя Федя Лавренов, а Сомова Моля, Радионова Таня, Иванова Поля и другие так и не дождались своих ненаглядных соколов. Состарились. И только после войны, когда их сыны вернулись с Великой. Отечественной войны, или просто из армии, которые помоложе, всем было разрешено вернуться на Родину. И вернулись бабоньки уже не молодками, а бабушками. Вот такая ирония судьбы.

По истории в школе мы изучали, что дескать вступление в колхоз было делом добровольным. Как бы не так! Вот ведь наказали стариков Лавре новых и молодых жен, что не входили в колхоз, и все отобрали, и выслали. А сыны в армии, защищают Родину, а их стариков-родителей и молодых жен в тундру и тайгу дремучую на трескучий мороз, на мерзлый необитаемый берег выбросили, не предоставив никакого жилья грудным младенцам... Так поступают только варвары, а не люди. О какой свободе и какой человечности можно говорить после этого злодеяния? О какой конституции? О каких правах человека? Кто виноват? Кто даст ответ? Сталин во всем виноват? Но ведь это творил не один Сталин. А где были другие умы? Куда смотрели остальные коммунисты? Почему не остановили эту трагедию!? Почему не смиловались над миллионами стариков, детей, неповинными жертвами? Где было ЦК ВКПб? Где была Советская власть? Куда они смотрели? Или у них были закрыты глаза, заткнуты уши и языки они проглотили? Эх палачи ненасытные!

Семья Лавреновых была очень работающей семьей. Помню мама рассказывала — какое выпало трудное ей детство. В школу она не пошла, боялась попа — он сильно бил детей за невыученный закон божий, молитву и т. д. Ну а раз так, то ее, как старшую взяли осенью в поле. И вот с восьми лет она уже погоняла быков на пашне, поила лошадей, надрывалась, доставая бадьи воды из колодца. Пасла гусей с гусятами, кормила свиней, стригла овец, чесала шерсть. А затем, повзрослев, с 12 лет пряла и ткала, шила мужские рубашки и женские сорочки. Вообще работала, как каторжная. Вставала с петухами и ложилась в

полночь. И так до самой свадьбы. Вышла она за отца на другой хутор в Тубочный, который находился в шести километрах от Дурновки.

Вначале все было хорошо. Отец не пил, не курил, относился к ней с любовью и уважением. Но пошли дети один за другим, отца забрали в армию. И вернулся он сапожных дел мастер. Но научился в армии у сапожников пить, а затем и по бабам ходить. Вот за это его мама разлюбила. А мы дети, становясь взрослыми, понимали, какие возникли у них отношения, и в душе сурово осудили отца: за его неверность, за вспыльчивость, зато, что он нередко давал нам подзатыльники, особенно старшим, зато, что кричал на нас, и обзывал обидными словами. А потом мы стали понимать характер отца и матери. И все стало на свои места. При всех достоинствах отца, как мужчины, мы уважали его за то, что он когда-то пошел за теми, кто хотел построить новую жизнь, что он отменный сапожник, охотник и рыбак. Но за то, что он требовал от нас беспрекословного подчинения, безоговорочного послушания и уважения к себе, а сам когда-то был неверен маме — мы его не любили. Потому, что мы поняли очень хорошо, какая у нас исключительная мама. Добрая, любит нас безумно, хотя внешне, это у нее не особенно проявлялось, но мы то чувствовали! У нее не было ни грамма показухи, лицемерия как у отца. Она никогда не читала нам морали о нашем поведении, никогда никого пальцем не тронула, никогда не повысила голос. Только спокойное, тихое слово слышали мы от нее. Никогда не выходила она из себя, видя какое-нибудь нарушение порядка с нашей стороны. Только глянет и промолчит. А нам и так понятно все. А отец кричит, наорет, намахает руками подзатыльников, а на другой день лезет целоваться с детьми и говорит нам ласковые слова: -Ух милые крошки... — и так далее в этом духе. Ох не любили мы его за это. А потом разобрались в других его недостатках. Получалась странная картина у отца мы видели все больше и больше нехороших черт, а у мамы, наоборот, все больше и больше лучших. Она отличалась такой стойкостью и мужеством перед великими бедами, которые нас тогда постигли. Мы были благодарны ей за ее спокойный тихий характер, за ее мудрые жизненно

необходимые решения. А отец наоборот, проявлял какую-то легковесность и необдуманность решений в трудный момент. О чем я напишу ниже. А сейчас коснусь еще одной семьи наших родственников, которые тоже были высланы.

Жила в Дурновке еще одна многочисленная семья, трудовая, многодетная. Локтионовы. Много было у них дочерей и сыновей. Мать — Василиса. Дочери: Елена, Татьяна, Анюта, Нюся, Ульяна. Сыновья: Терентий, Петр, Алексей. Раскулачили их. Все отобрали. Мать Василиса хотела младших уберечь от выселения, посылала иногда к старшей дочери Елене побыть у нее, чтобы дети хоть не голодные были, ведь дома все забрали. Но некий гад выслеживал детей, по пятам приходил к Елене и начинал издеваться над ней.

- А-а-а! Признавайся, где прячешь кулачат? Дочихаешься, что и тебя раскулачим.

А маленькая семилетняя Уля лежала ни жива, ни мертва в тряпье на полатах, и боялась пошевелинуться, повернуться. И дети были во всем виноваты, и их выслеживали чуть ли не собаками. Не уберегла мать Василиса ни старших, ни младших детей — всех выселили. Причем таким варварским методом, что половина семьи оказалась в Казахстане — муж, сыновья: Терентий, Петр. А ее с дочерьми Анютой, Улей и сыном Алексеем — отправили на Север. В страшный голод 1933 года она не выдержала и ушла с младшей дочерью Улей на Родину. Кормились в дороге подаянием, шли с далекого севера до самого Котласа пешком, прося милостыню по деревням. Однажды чуть не растерялись с малышкой: Уля пошла в один конец деревни, а мать Василиса в другой. Так и потерялись. Еле-еле нашли друг друга. Добрались до Котласа. Там тетя Василиса кое-как наскребла денег на один билет, на другой не было. Пришлось маленькой Уле, опять, как на Родине, прятаться под скамейками, под полками, чтобы доехать до Родины.

Добрались, еле живы. Малышку приютила старшая сестра Таня, которая жила на станции Филоново с мужем. Так и воспитала девочку, которая закончила десятилетку и московский институт, и стала учительницей. Вышла замуж за

Мазина Павла Георгиевича, племянника Ивана Яковлевича Мазина, который тоже стал учителем.

Мы встречаемся теперь иногда и вспоминаем ту распроклятую жизнь. Мы с ними родственники, Уля доводится мне тетей.

Тогда вслед за ними с севера ушла и вторая сестра Ули — Анюта. Остался на севере один их брат Алеша. Ох и красивый был парень, но несчастливой оказалась его судьба. В великую Отечественную войну сильно был ранен в ногу, вернулся к своей жене Дусе на север. У них родилось двое детей. Но заболела жена и умерла. Трагически погибла там и дочь. Заболел и сам серьезно Алеша. Сестра Татьяна поехала к ним на север после войны и привезла больного Алешу и сына его Леню. Недолго прожил красавец-брат Алеша. Умер. Но остался сын Леня, который вырос и живет теперь в Москве. Старшие братья Уляши в Казахстане стали директорами и управляющими совхозов. Вот такова краткая жизнь Локтионовых. Остается только добавить, что в музее в городе Новоаннинском висит портрет Ивана Яковлевича Мазина и документы о его боевых делах в конной Буденного. Исторические документы. Только не написали, как туineaдец Арсенич пожрал боровков и раскулачивал этого боевого воина. Не написали сколько людей вроде нас, Мазиных и других миллионов пострадало и погибло понапрасну от таких вот кровопийц, как Арсенич, как Еремушка, как Сорокин и других подлецов. А написали как-то однажды в газете «Голос коммунара» про то, как уважаемый старейший ветеран колхоза «Новый быт» Федор Арсенич Сытин прожил «достойную» жизнь, был первым организатором колхозов и т.д. и т. п. А надо было совсем другое написать. Не организатором, а грабителем он был, обирал хороших хозяев, громил крестьянских пахарей, выщеселял малых детей туда, где невозможно было жить человеку. Туineaдец он был всю жизнь и кровопийца. Сколько он крови выпил из грудных младенцев, из стариков. Тонами. Все в деревне и в колхозе разорил до ручки. Вот кто он был этот Арсенич. После того, как он уничтожил лучших хозяев на деревне и все пожрал с голытьбой, то стали уже громить тех, кто числился в бедняках.

Кузнецовы, у которых было одиннадцать детей и сын их Ефим учился у нашего отца починять обувь, тот самый, которого записали к нам в работники. Так вот, скотина Арсенич со своими ублюдками пошел однажды и их громить. Авось что-либо найдется закусить после самогона.

Но что можно было найти съестного в голодный 1932 год у семьи, в которой больше десятка детей? Это нам понятно, что ничего, а дебилам — невдомек. Шарили-шарили, ничего не нашли. Не успокоились идиоты. Арсенич рассвирепел и полез на чердак. И закричал оттуда победоносно -А тут кое-что есть! -И бросает оттуда подушки детей, которые хозяйка положила проветрить летом. Потом погромщик сбросил оттуда небольшой узел сушеных яблок. И никакая совесть их не мучила. И стыда не было. Забрали у одиннадцати детей узелок сушеных яблок, чтобы сварить компот своей звериной утробе. Даже не постеснялись тут же на месте погрома жевать эти сушеные яблоки. Дикие звери, да и только.

В Дурновке тоже как и везде, продолжались также погромы и раскулачивание, после того, как нас выселили. Раскулачивали старшую мамину сестру тетю Уляшу. Все за то, что муж не шел в колхоз. Его посадили в тюрьму, а тетю Улю в самый крещенский мороз с четырьмя малолетними детьми выгнали из дома прямо на улицу. Куда деться? Попросилась к одинокой соседке на квартиру — сжалилась над бедными детьми — пустила. Только всю картошку у них выгробла и поела ту, что оставила тетя Уляша на семена. Сеять весной было нечего. Сколько горя перенесла — не сосчитать. А вот подросли сыновья и потребовались защищать Родину в горестные годы. Теперь два сына носят ордена Отечественной войны первой степени. А дочери — одна всю жизнь проработала трактористкой, другая — акушеркой. Умерла тетя Уля в возрасте 90 лет. А наша мама в 88 лет. Бывало маме говорила: — Много мы кума в жизни перенесли, а бог нам веку с тобой прибавил, вот все живем. А те, которые нас выселяли — давно подошли.

Мы сейчас иногда видимся с ее детьми: Машей, Полей, Гришей и

Николаем. Поздравляем друг друга открытками в праздничные дни. Жизнь течет. Но вернемся немного назад. Страшный голод 1932-1933 годов в конце разорил колхозы. Люди умирали тысячами не только на выселках, но и здесь на Родине. Миллионы жизней унес голод. И те, которые остались в деревне — побежали из нее, кому было возможно. И фактически колхозы на ноги начали вставать только в 1935 году. А если бы не было предыдущих этапов, указанных выше: т. е. раскулачивания, ранней организации колхозов, причем насильственной организации, то и не было бы голода, и контингент деревни полностью бы сохранился в своем количестве. И к этому времени один даже Сталинградский тракторный завод настроил бы столько тракторов, что организация колхозов и совхозов была бы уже назревшей и необходимой, как революция.

Но эта организация была бы безболезненной и даже радостной для всех тружеников села и ее хозяев. Вот и выходит, что и по плохому, и по хорошему колхозный строй восторжествовал бы только в 1935 году. И войну нам бы пришлось легче пережить, если бы деревни остались такими же многолюдными, как в 1924 году. И были бы они не только многочисленными, но и крепкими: с механизацией, скотом и хорошими хозяевами земли. Возможно, не случилось бы тогда никаких эпидемий и голода. И колхозы бы стояли на ногах крепче. Или можно было пойти по другому пути: вместо колхозов организовать аренду и фермерство. Вот тогда это было бы кстати. Дело в том, что тогда каждый крестьянский двор был многочисленным — от 15 до 30 человек. Вот тебе и семейный подряд. Бери земли сколько можешь и трудись на ней со своей семьей. И работай как душа крестьянская велит. Соревнуйся с соседями. Тогда бы кормиться лодырям было нечем. И не объявлялись бы они активистами и не кормились чужим хлебом. А как говорится, что посеял, то и пожал. И такие, как Арсенич, который спал по погребам, не ходил бы в строителях коммунизма. А государство помогло бы тракторами, сеялками, плугами, комбайнами и другой механизацией. И скот бы не надо было обобществлять и лишать крестьянина того, без чего он существовать не мог. Какой же это крестьянин в ту пору без

лошади, волов, коров? На чем дрова привести, сена накопить, детей без коровы прокормить? Думало ли государство в ту пору об этом?

ГЛАВА 6.

НОВЫЙ ПОСЕЛОК.

Следующей неотложной программой работы наших родителей было опять валить лес, крупный, столетний и построить настоящий добротный деревянный поселок из больших зданий тогдашнего коммунального типа — барачков для жилья, а также — школы, детского сада, больницы, магазина, пекарни, колхозной конторы, бани, клуба, скотного двора, конюшни, свинарника, овчарника, складов и других нужных для жизни помещений.

Все это было построено в течении двух лет. Только в этом строительстве наш отец упал с крыши дома и сильно ушиб позвоночник и вообще наверно, отбил себе внутренние органы. Пролежал дома два месяца, еле-еле отошел. С тех пор у него всегда болела спина. Я помню, когда его привезли и положили на нары, а мы детвора, сидели около него притихшей гурьбой, то он глядел на нас каким-то щемящее - грустным взглядом, а из его открытых глаз текли беззвучные слезы, как два ручья. Видно он не думал поправиться. Но судьба на этот раз отнеслась к нему благосклонно, и неожиданно - нежданно наш папка встал на ноги. Когда дело пошло на поправку, он воспрянул духом, шутил с нами детворой, рассказывал смешные истории и хорошие сказки. Но случилась в это время еще одна беда. Правду говорят, что горе не приходит в одиночку. Как-то ночью умерла бабушка Катя Амочаева, мать дяди Степы. Умирала она тяжело, хрипела и стонала. И моя сестренка Аня, которая лежала около нее на нарах, сильно испугалась и заплакала. Мы все проснулись и поднялись. Взрослые зажгли коптилку и тусклое едкое пламя осветило жуткую картину: бабушка билась в предсмертных судорогах, задыхалась, а потом затихла. А на другой день ее похоронили на том кладбище, за пригорком, где лежала наша Настенька. Кладбище было уже большое. Вокруг шумели вековые сосны и утопали в снегу

зеленные ели. Бабушка умерла зимой. И еще одно горе не обошло нас стороной, пока мы жили в так называемых избушках - хатушках.

Однажды проснувшись рано поутру, мы, дети увидели, что мама горько - горько плачет. Отец сидел, облокотившись на стол, грустный и задумчивый.

- Ну дети, — сказал он нам, притихшей детворе, — у нас опять горе, умерла бабушка Анастасия (это мамина мама). Одевайтесь, позавтракаем и пойдем, попрощаемся с бабой Настей, проводим ее в последний путь. Мы молча собирались. И вот всей семьей отправились к Лавренцовым. Нас встретили во дворе дядя Федя (брат мамы) и дедушка (отец мамы) Мы прошли в избушку. В переднем углу под иконой на лавке лежала бабушка Настя. Лицо было худое, острое, строгое. Голова покрыта черным с маленькими белыми крапинками платком. На груди скрещены большие видевшие много работы, жилистые руки. Черная юбка и темно-синяя в горошек кофточка, завершавшая похоронный наряд бабушки, запомнились мне на всю жизнь. Нам, детям, почему-то было жутко и страшно смотреть на бабушку. Но я смотрела, не отрываясь, на ее лицо и думала о том, как много жестоких событий происходит в жизни, с которыми человек не в состоянии бороться. А за спиной, сидя на нарах, горько и неутешно плакал пятилетний Ваня — внук бабушки, рыдал и капризничал, что-то требовал, чего нельзя было удовлетворить по тем времена И взрослые понимали, что мальчик плачет оттого, что ему жалко бабушку, что он напуган: ее смертью. Но изменить что-либо невозможно. А детская душа хотела, чтобы бабушка встала, и опять ходила, говорила, нянчила внуков. Но бабушка не поднималась, даже тогда когда внук со слезами на глазах и рыданиями умолял ее об этом. Всем было нестерпимо больно. Похоронили бабушку Настю рядом с нашей сестренкой Настенькой, то есть внучкой, которая и была-то названа в честь ее, ее же именем. И лежат они теперь рядышком на том песчаном кладбище, где шумят высокие золотистые сосны и зеленные мохнаты елочки, где под горой греются на солнышке зайчата и наливаются рубиновым соком кустики клубники. А весной в черемухе заливаются трелями милые соловушки. И поздней осенью клонят к холмикам

ветви с пурпурными кистями рябины. Как у Есенина: «Горит костер рябины красной, Но никого не может он согреть»... О том страшном нашем детстве в суровых, северных, таежных, холодных краях прошедших

в страшном голоде и нищете, где погибли десятки, сотни тысяч людей, я потом е впоследствии написала такое стихотворение: Наше детство;

Детств наше, — вереница
немалых, горьких и трудных,
безрадостных лет, в дебрях тайги и
рек величавых, там, где до нас не
ступал человек. А за окном —
грустная осень, грязь да туманы, и
дождь без конца... В долгую зиму —
снега и бураны, лютый морозище —
до сорока. Голод и холод — вечные
спутники горя, несчастья, забот и
тревог. Только во сне, в тяжелом
забытии снился нам детям сладкий
пирог. А за окном — грустная осень,
грязь да туманы, и дождь без конца, В
долгую зиму — снега и бураны, в
лето короткое — мошкара. Хочется
думать, хочется верить: что жизнь не
ирония. Нет шалишь! Только зачем
же равным, с родителями, часто за
все отвечал и малыш? А за окном —
грустная осень, грязь да туманы, и
дождь без конца, В долгую зиму —
снега и бураны, с дедом морозом —
до сорока...

Но в летнюю пору, позже, когда пригревало иногда солнышко, смилостившееся, не особенно горячее северное солнце, мы — детвора, оттаивали душой, и мир казался нам не таким уж суровым и грозным. Мы смотрели на яркие желтые цветы мать-мачехи, на нежные скромные голубые, как небо незабудки, вдыхали тончайший аромат дрожащих в капельках росы у журчащих ручьев ландышей, вода этих ручейков обжигала как лед наши стопы ног, шагающие по гальке, и ветви черемухи склонялись к нам душистыми белоснежными кистями и осыпали наши смеющиеся лица и черные головы, как снежинками, падающими лепестками. Мы выходили на берег, поднимались по крутому зеленому склону наверх и пол цветущие кусты шиповника. Маленькие алые розочки сотнями глаз смотрели нас, детвору, кивали и шептали нам какие-то ласковые, успокаивающие слова... Я была равнодушна к этим нежным диким алым розам... Мы падали в траву и засыпали...

ГЛАВА 7.

СМЕРТЬ ДЕДУШКИ ВАНИ.

Вскоре после похорон бабушки Насти, дедушка Ваня ушел в деревни коми. Был голод, надо чем-то кормиться. Он мог шить обувь, помогать по хозяйству, убирать за скотом. Месяца два дедушка там кормился, работал, а потом сильно заболел. Время было холодное, осеннее.

Видели его наши поселковые мужчины, ехавшие на лодке вверх по реке. Лежал дедушка какой-то деревни под стогом сена. Больше о дедушке ничего не было слышно. Дядя Федя (сын дедушки) и наш отец просились у коменданта отпустить их на несколько дней съездить за дедушкой. Но комендант разрешения на такие дела не давал. Категорически запретил отправляться в такой путь, считая, что и они убегут. Наши отцы пожурили тех мужчин, что они не взяли дедушку на поселок. А мужчины сказали, что они ехали с большим грузом и уложить его, дескать было некуда. А груз, по тем жестоким временам,

разумеется, выгружать было нельзя, чтобы взять с собой человека. Вот так. Человек расценивался дешевле, чем вещь. На том и оправдались. На том и все закончилось. Если бы даже комендант разрешил привезти дедушку, его бы хоть больного все равно арестовали, так как любой уход из поселка считался побегом. Да, жизнь ты жизнь — жестокая штука, дедушка Ваня больше в поселок не вернулся. Видно умер там где-то в деревне. И кем, и де похоронен, — не знаем. Вот такова еще одна трагедия. Хороший наш дедушка Иван погиб неизвестно где.

ГЛАВА 8.

АНЯ В ДЕРЕВНЕ КОМИ.

Жуткий голод, морозы трескучие и... кругом смерть.

Люди умирали дома, на дороге, на работе. Есть совершенно нечего.

Папа наш однажды ночью тайно от всех, кроме своей семьи, ушел в деревни КОМИ. Там стал шить обувь в обмен на продукты: картошку, немного мяса, зерна какого-нибудь - ячменя, овса, ржи.

Его не могли найти никакие оперуполномоченные, ни всякие там доносчики. Ибо не знали в какой он деревне и у кого. Хозяева его никогда не выдавали. Он обычно шил в какой-нибудь подсобной комнатухе, где его никто, кроме хозяев не видел. А если являлся какой-нибудь гость, то отец прекращал работу на время и прятался куда-нибудь. А мастер он был отменный, все хозяева им несказанно были довольны. Потому о выдаче его не могло и речи быть. Где он был не знали ни мы, ни мама. Сколько нашу бедную маму не допрашивали, сколько не держали в холодном изоляторе несколько ночей, она ничего не могла сказать, так как и сама не знала, где он конкретно находился. Кроме того, но папа был отличный сапожный мастер, он еще был и интересный собеседник: рассказывал хозяевам про нашу жизнь на родине, которая ни в чем не была схожа с жизнью коми. Им было любопытно послушать, как живут другие народы. Причем отец мог часами рассказывать и ни на секунду не прерывать своей работы. Это было его очень ценное достоинство.

И так, отец ушел, чтобы спасти от голода и себя, и семью. Но чтобы не попасться на удочку, он недолго задерживался водном месте, быстро переходил ночью из одной деревни в другую. Работы по сапожному мастерству находилось очень много, так как среди коми сапожников было очень и очень мало. Заработав некоторое количество продуктов, отец недели через две-три привозил ночью в поселок картошку на сапках, иногда немного мяса или замерзшей крови убитого животного, или какой-нибудь печенки, кишкочков и других отходов. В поселке на людях он не мог показаться, сразу бы его арестовали. Поэтому он днем прятался под кроватью, побыв так сутки, двое он вновь уходил в деревни глухой ночью. Иногда он не все привозил, что зарабатывал. И вот однажды он сказал, что в Весляне или Жигановке, точно уж не помню, ему остались должны одни хозяева кусок мяса, который заморожен и висит у них в сарае. Сам он ушел уже в другую деревню. Мама подумала и решила послать за этим куском мяса Аню. Путь дальний, но что поделаешь, если детям есть нечего. А ей самой осуществить никак невозможно. Дала мама Ане носочки шерстяные для обмена на продукты, чтобы девочке было что выменять и поесть. А то не дойдет. И Аня крохотулька отправилась в студеную зимнюю пору в далекий путь. Изрядно замерзла, но дошла до нужной ей деревни и отыскала нужный дом. И хозяева отдали ей мясо. Это мясо немного уже припахивало. Но Аня обрадовалась, что получила мясо и положила его в мешочек. А носочки обменяла на вареную картошку в мундирах и брюкву. Немного поела и отправилась в обратный путь. Дошла до деревни Елдино и дальше идти уже не могла — не было сил и уже стемнело. Надо было устраиваться на ночлег. Но в какой дом не стучалась — никто ночевать не пустил. Даже ребенка. Какая жестокость! В те годы, такие голодные, коми народ был очень негостеприимный:

- А Русь морт, кулак яс, мун татысь! — и захлопывали дверь.

Жестокосердный был народ. Они представляли, вернее, им нас представили, что кулаки — это мироеды, что мы ужасно плохой и паразитический народ, и они никогда, почти никогда, никого не пускали

ночевать. Даже детей не жалели.

Наша Аня вконец обессилила. Замерзла. И ноги от усталости стали ватными. Она не знала, что делать.

Спасибо повстречался русский человек и сказал, что в конце деревни, в избушке живет русский сторож, что-то охраняет: то ли склад, то ли магазин какой, и он пускает всех ночевать.

Аня туда.

Старенький дедушка-сторож без лишних слов приютил нашу Анечку. Велел пододвинуться к печке и греться. Потом покормил ее ужином, чем бог послал, постелил какие-то тряпочки на полу и сам спал на лохмотьях. И велел девочке ложиться отдыхать.

И сам перед сном стал усердно молиться, став на колени перед темным образом в углу кланяться.

Дедушка был немного глуховат и когда кланялся, то немного попукивал. Отчего Ане стало весело, и она, согревшись и подремывая, все улыбалась про себя, удивляясь, таким превратностям судьбы и тихо заснула.

На другое утро она рано проснулась, и поблагодарив дедушку, отправилась в путь.

Вдруг сзади ее нагнала быстрая лошадь, запряжена в легкие сани.

Мужчина в тулупе под которым выглядывала военная шинель и кобура на боку, резко приказал:

- Стой, девочка! Куда идешь? Как фамилия?

Аня испугалась и еле пролепетала замерзшими губами:

- В поселок иду... Я Минаева Аня.

- Замерзла?- смилостивился военный. — Ну садись. Подвезу тебя до поселка.

Аня несказанно обрадовалась и быстренько впрыгнула в саночки. Мужчина тронул лошадь. И санки помчались дальше.

Это оказался наш комендант, ехавший из Весляны на поселок.

И Анечка скоро прибыла домой. Мама удивилась ее столь скорому возвращению и очень обрадовалась, что ребенок вернулся цел и невредим, и что так удачно совершил такое нелегкое зимнее путешествие.

- А меня дядя комендант сейчас подвез от Елдино! Вот я и рано приехала!

Всем нам было хорошо.

Из мяса мы с удовольствием хлебали похлебку, хотя она и немного припахивала.

Так маленькая Аня спасла нас от голода.

ГЛАВА 9.

ЗАБЛУДИЛИСЬ.

Помню и еще один чрезвычайно тяжелый случай, происшедший с нашей Аней.

Я еще ходила в детский садик, было лето и никаких полей и огородов еще не было. Рубили лес и достраивали поселок. Мы жили в крайнем бараке у реки и болота.

И вот, однажды женщины — тетя Даша Лавренова, тетя Наташа Амочаева и другие собрались за ягодами в лес и взяли нашу маленькую Аню с собой. Ушли утром рано, а вечером... не вернулись на поселок.

Не пришли они и на другой день. Мама плакала неутешно, отец хмурился и молчал. На другой день снарядили поиски, но они не увенчались успехом.

Только на третий день к вечеру, когда мы сели за скудный ужин, и кусок, как говориться в горло не лез, так как мы плакали, отец сердился и что-то скороговоркой говорил нам. утешая нас, хотя видно было, что и сам он в благополучный исход не верит — как вдруг открылась дверь и на пороге появилась Аня...

Бледная, исхудавшая, еле живая, она наклонилась и поставила кубанок с ягодами на пол, и не двинувшись с места, прямо у порога села на пол и заплакала

навзрыд. Мы все кинулись к ней...

Девочка от такого потрясения пролежала больная в постели целую неделю. А не могла от слез и рыданий рассказать толком, что им пришлось пережить в лесу за эти три дня.

Только спустя некоторое время, когда она поправилась, собственно немного отошла, она рассказала как они заблудились, как пришлось им ночевать в страшном, темном, глухом лесу, как было холодно ночью, как жутко шумел лес и скрипели деревья, как кричали совы, как много было незнакомых шорохов и звуков, которые страшно пугали Аню и женщин, фактически они не спали, просто лежали в сыром неуютном лесу под натасканными влажными ветками, как прижималась Аня к груди тети Даши, обхватив ее холодными, как лед ручонками, и от страха и голода у нее стучали зубы.

Еле занялась заря, они поднялись, ежась от ночной сырости, и опять пошли, куда глаза глядят, ориентируясь по солнцу, ища дорогу к поселку. Но вышли к какой-то небольшой речке. Обрадовались, какая никакая река, длинно или коротко, она все равно приведет их к большой реке, которая вероятно и будет рекой Вымь. И пошли по берегу вниз по течению. Нигде в этой дикой тайге не встречалось жилья. Только к вечеру они вышли к устью этой речки — оказалось, что это речка Елдина, которая впадает именно в Вымь. И в самом устье этой речушки стояла небольшая деревня, которая имела название тоже Елдино. Данная деревня располагалась в 12 километрах от нашего поселка. Здесь им пришлось заночевать вдали от дома.

Только поднявшись утром на третий день, теперь уверенные, что они на правильном пути, немедля пустились в путь, но уставшие смертельно и голодные, истерзанные мошкаррой, они добрались до поселка только к вечеру.

Бедная моя сестреночка Аня, семилетний ребенок, блуждавший три дня в страхе, холоде и голоде в дремучем лесу, вдали от дома, напуганная до смерти, все-таки не бросила кубарочек с ягодами, жаль было столь дорогого нечеловеческого труда, чтобы бросить на дороге то, ради чего отправилась она в

это горькое путешествие.

Вот такую стороною порою обращалась к нам жизнь: жестокая, безжалостная, показывая страшные зубы смерти. И все приходилось переживать, переносить и бороться с трудностями нашего бытия.

А жить, как бы не было трудно, хотелось. И инстинкт жизни побеждал.

ГЛАВА 10.

ОСЕНЬ 1932 года.

Мы переселились в новый поселок, большой и, как нам, детям, казалось, красивый. Он находился в двух километрах от старого избыточного поселка, вниз по реке, на высоком холмистом берегу реки Вымь.

Дальше нашего поселка вверх по течению в 12 километрах от нашего находился поселок таких же высланных Усть-КОИН.

За ним уже на север не было никаких селений, простиралась дремучая тайга и дальше тундра.

В тундре было размещено много лагерей заключенных.

Название нашему поселку дали (не мы, конечно) откуда-то сверху — БОЖЬЮДОР.

Родители наши называли его, в шутку, конечно, и с иронией — БОЖИЙ ДАР.

В сущности он был красив наш поселок. Только жизнь в нем текла очень печальная, невыносимая, тяжелая.

Действительно, новенькие, очень большие, высокие дома-бараки блестели белизной свежеструганных деревянных стен из вековых деревьев, крыши покрыты тоже новым тесом, над крышами высились в нескольких местах красные трубы из обожженного кирпича, дымились струйками горьковатого, сизого облака. Кругом барачков — пни.

Они, как фантастические столы и стулья из сказок Старой Руси,

расположились кругами и ожерельями по всему пространству поселка, призывая отпраздновать новоселье при лунном свете, на лоне природы. Но новоселье с трапезой праздновать не пришлось...

Коллективизация и сплошное раскулачивание привели нашу страну в такое разорение и неурожаи, что в 1932-1933 годах это легло черной чумой на народ. Начался голод. Паек урезали. И покойников не успевали отвозить на кладбище. Люди ослабели. Особенно пожилые, малолетние дети и старики.

Часто случалось, что во многих семьях дедушек и бабушек, заснувших вечером, не приходилось будить утром. Они засыпали вечным сном. Покойников было так много, что не успевали делать гробы, да и некому их было делать, ослабели люди, и приходилось хоронить без гробов, по несколько человек в одну могилу... Выросли огромные братские могилы на старом кладбище, где похоронили мы, в первые дни нашего приезда, нашу сестренку Настеньку, а затем и бабушку Анастасию Ивановну — мамину мать. А люди все мерли и мерли. И многие молодые парни и девушки покинули поселок и уходили на юг, на родину. Ушел и наш 17-ти летний брат Федя с товарищами. Ибо оставаться здесь — верная смерть для молодых. Организм растущий, требовал больше пищи, чем могла им дать голодная жизнь в поселке, в котором не было еще освоено ни одного клочка земли, который давал бы хоть немного какого-нибудь урожая.

Была только стройка, а земля лежала вокруг еще нетронутой тысячелетней тайгой. И пришла страшная зима 1932-1933 года...

ГЛАВА 11.

... И ПРИШЛА СТРАШНАЯ ЗИМА 1932-1933 года.

Голод, морозы и смерть сметали людей с лица земли, как веником. Поредели многие комнаты в бараках. Почти ни одну семью не обошла смерть. Иногда она выкашивала, как косой, всех до одного. И многих семей не стало... Так погибла семья Сучковых, наших соседей и других. И чтобы спасти хоть какой-нибудь контингент детей, открыли детский сад. И всех детей дошкольного

возраста поместили туда. Плохо, или сносно, но как-то кормили. Правда никогда я там не наедалась, чтобы хоть не чувствовать себя голодной. Однако мы дети, все-таки не пухли, как взрослые. Хорошие были каши, подавали как мало, что когда ели, текли слюнки. И мы облизывали после еды все чашки и ложки. Давали нам к чаю по конфеточке или печенью. Конфетки были мармеладки крупные всевозможных красивых цветов голубые, зеленные, розовые. Ах, какие они красивые, нежные, посыпанные сахаром. Они казались чудом из чудес, лакомством, пришедшим из далекой сказки подаренным добрым волшебником. Мармеладки и печенья мы прятали, чтобы принести их домой и угостить старших братьев и родителей.

Мы слизывали с них только сахар, чтобы ни одна крупинка не упала с них. Дома конфеты подушечками и мармеладки оказывались очень кстати. Мама пекла зеленные ладушки из толченого сушеного конского щавеля и добавляла в них горсть муки, а селедку запивали кипятком, прикусывая крохотным, с булавочную головку кусочком сахара, или мармеладки.

Так жили мы зиму 1932 — 33 года.

Огромная пустая наша комната была разделена надвое деревянной перегородкой, которая не доходила до потолка на 40 сантиметров и до печи на полметра.

В одной половине жили мы, в другой — Амочаевы.

Приходя с работы, родители забирали нас, малышей, из детсада, а Аня с Ваней и другие ребята сами прибегали из школы.

В этот год они впервые пошли в школу.

Потом взрослые через отверстие у печи обменивались новостями, отогревались у яркого пламени открытой двери, и приходила минута долгожданного вечернего скудного ужина, которого все ждали с нетерпением, кроме нас детсадников, ибо мы были более-менее не так голодны, как наши школьники или родители.

Школьникам давался завтрак в одиннадцать часов, но очень легонький, чай

с маленьким кусочком хлеба, к вечеру дети успевали порядочно проголодаться. А мы, детсадники, питались в день два-три раза и конечно, чувствовали себя намного лучше. Наша семья, как говаривала мама, была мелкозернистой. То есть, мы были не требовательны к пище, ростом невелики, и кушали очень мало. Поэтому из всех детей только Настенька у нас умерла. А все мы, оставшиеся трое детей — Аня, Ваня и я, и наши мама Пелагея Ивановна и отец, Николай Антонович перенесли голод и остались живы.

Помню, что в некоторых семьях родители, в частности Орешкина тетя и другие жаловались, что их дети в отсутствие родителей, когда те были на работе, придя из школы, шарили по всем углам в поисках съестного. И если что находили съедали немедленно. Мы же, Ваня, Аня и я даже не помышляли предпринимать что-либо подобное. Мы терпеливо ждали, когда придут наши родители, затопят печь, согреют чай, напекут зеленых лепешек и все мы тогда сядем за скромный ужин, и мама разделит нам зеленую лепешку на три доли, а другую — с папой на две доли, отрежет по маленькому кусочку соленом рыбы и нальет в железные кружки кипятку, заваренный листом смородины или малины. И мы блаженствовали в этот миг. Суровая зима за окном, пурга и метели, сорокоградусный мороз и голод, смерти людей и ужасная нищета вокруг не казались нам уж такими страшными и грозными в эту минуту. Мы никогда не рылись с сундучках и ящичках в поисках съестного, мы не трогали ни зернышка из круп, которые получали родители на свой скудный паек. Мы никогда не знали, что и где из продуктов лежит у нас. И ничего не трогали. И это было не из за боязни. А не знаю от чего. Я тогда была еще мала, но это понятие, что так надо вести себя в семье привито было нам с рожденья. Причем я не слышала никаких нотаций ни мне, ни моим братику и сестренке поэтому поводу со стороны родителей, особенно мамы (ведь она вела хозяйство), что дескать, не надо ничего трогать. Напротив, она никогда ничего не говорила, и никогда ничего не запирала, не закрывала.

И у нас не было ни единого замка, запора на сундучке или ящике. И, между

тем мы даже ни разу не заглядывали внутрь этих предметов и не знали, что там в них лежит. Как вдруг, вернувшись из школы и сходяв за мной в детсад, Аня с Ваней увидели, что сундучок открыт и ящик тоже. А в них все перевернуто вверх дном. И пришли родители с работы. А мы все в слезах. Что такое? Мама посмотрев на все происходящее и проверив содержимое в сундучке и ящике, обнаружила исчезновение 4-х зеленых лепешек и двух горстей ячменной крупы — всего нашего запаса продуктов. Аня Амочаева сообщила: косолапая Катька Орешкина попросила ее пролезть в отверстие у печки к нам, сказав при этом, что нужны на минуту ножницы, она шьет платье кукле. Ножниц у них, дескать в доме нет. Катьке 7 лет, но в школу она пока не ходит — болит правая нога, она у нее тоненькая как палка, с вывернутой лапой на бок. Эта проныра давно уже промышляет по чужим комнатам; добралась и до нашей. Но не ножницы ей были нужны. Нырнув в дыру у печки, она тотчас проверила содержимое сундучка и ящика. И все, что нашла съестного, сложила себе за пазуху рваного пиджачка, а горстку крупы из маленькой сумочки высыпала в карман. И вылезла обратно, сказав при этом Нюре, что ножниц она не нашла.

Нюра Амочаева махнула головой и ничего ей не сказала, так как она не заглядывала и не видела, что Катька делала в нашем жилище.

А Катька была такова!

Тут же улизнула за дверь и слопала ладушки, даже поделилась немного с подружкой Шуркой.

Все стало ясно.

Мама немедля отправилась к Орешкиным и допросила преступницу. Проныра Катька вначале бессовестно отнекивалась, заливаясь краской, потом неожиданно заревела на весь дом. Брат ее Алеша взялся за ремень.

Мама повернулась к двери и ушла.

Таким образом косолапая Катька оставила нас голодными на целых два дня: мама и папа еле волокли ноги после работы, Аня и Ваня плакали от обиды горькими слезами и называли Катьку ворюгой, а я, глядя на них, вообще ревела

на всю ивановскую.

А на следующий день от злости я стала дразнить Орешкину Катюку косолапкой и воровкой.

Катюка багровела и гонялась за мной и другими девчонками., которые в знак поддержки тоже стали обзывать ее этими же обидными словами, как как п им она таким же способом насолила.

От стыда в конце концов Катюка убежала от нас и спряталась.

После этой истории дети нашего дома с Катюкой уже не дружили. И ей пришлось искать подружек из других домов.

Вскоре нам выдали новый паек и мы немного ожили.

Глава 12.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ, НЕОБДУМАННОЕ, ЛЕГКОМЫСЛЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, ПРИДУМАННОЕ НАШИМ НЕЗАДАЧЛИВЫМ ОТЦОМ.

Наступила весна 1933 года. Вскрылась могучая река, зазеленели луга у берега реки, распустили сережки черемухи и березы.

Кругом стало красиво и немного теплее на душе.

Но вот беда: тучи комаров и мошкары поднимались из болот и не давали никакой жизни ни нам. детям, ни взрослым, ни скоту. Ох, какой это страшный и назойливый враг, и не было от него никакого спасения ни днем ни ночью.

Плохо было еще и тем, что болото было рядом, вниз к реке, по левую сторону от нее прямо за окнами нашего дома. Обширное, топкое болото простиралось на километры. Осенью оно сплошь было покрыто клюквой, которую собирала вся детвора поселка вплоть до самой зимы. А весной ходили за остатками.

Сейчас от этого болота жизнь становилась невыносимой. Беду еще усилил и страшный голод, обострившийся весной. Запасы ягод, грибов, трав кончились, люди пухли и мерзли без конца.

И отец стал поговаривать о том, что надо уехать, чтобы спасти детей от

голода.

- Куда? — спрашивала удивленная таким необдуманном решением мама. — Ты в своем уме? С такими малышами-детьми, без денег, без хлеба, без необходимой одежды? Все, что было, давно променяли в деревнях коми на картошку и турнепс, — нам Дуся прислала с дядей Федей Лавреновым некоторые мамины вещи: юбки, кофточки.

На Родину! — отвечал отец. — Пока лето, по дороге буду наниматься на работу, и постепенно будем двигаться на юг. К осени приедем домой. Как Федя. Вон он уже работает там трактористом в каком то совхозе. И отлично работает. Все его уважают. Поедем к нему.

- На чем? — насмешливо спросила мама.

- На лодке! — отвечал загадочно отец.

- На какой еще лодке? — удивилась мама.

- А я уже приобрел лодку у одного моего знакомого коми, у которого я шил зимой сапоги, — хвастливо объявил отец, любуясь реакцией, которая отразилась на наших лицах, при столь необычном его заявлении. И довольный продолжал:

- Доедем до Котласа, а там наймемся на работу, заработаем денег на дорогу и сядем на поезд, который довезет нас до Родины. В общем, нарисовал он нам картину фантастически прекрасную, как в детективном романе, без единой зазоренки и зацепочки, как в хорошей сказке, где такой хороший конец, хоть смейся.

И мама действительно рассмеялась:

- Ох, господи, ну надо же быть таким легкомысленным и легковесным, несерьезным человеком, чтобы так необдуманно предпринимать такое путешествие, — Ты забыл, что с нами трое малых детей, куда мы их будем девать, когда как ты говоришь, мы будем поступать на работу? — улыбнувшись краешком губ, проговорила мама. — И потом, кто же это такой хороший ждет нас там, в Котласе, чтобы принять нас на работу без всяких документов?

—Я думаю, что там на каждом шагу нас ждет облава, которая давно там существует, как писали многие, уходившие отсюда, и попадавшие в их руки. Да и не только там, нас будут подстерегать такие люди на каждом шагу нашего пути. Разве ты об этом не знаешь?

Отец запальчиво крикнул в ответ:

- Но прошел же Федя и его друзья!

- Ты забываешь — ответила мама, — что Федя был один, если он и его друзья натыкались на какую облаву, то, вероятно, разбежались, кто куда. А мы с малышами не разбежимся. Неужели это не доходит до тебя?

Но у отца нашего был еще один серьезный недостаток в его характере — он никогда не терпел возражений ни со стороны жены, ни детей.

При всех его достоинствах, в нем еще крепко сидело казачье мужское упрямство: как сказал глава семьи, так и должно быть. Умно ли глупо ли — мужское упрямство должно восторжествовать.

И тут, заметив, как гонко подметила мать несостоятельность его предложения, какое нелегкое, обреченное на провал, он собирается предпринять путешествие, которое может вконец погубить нашу семью, он не мог простить этого маме. Он никаких не мог терпеть того, что мама была и поступала в жизненных обстоятельствах гораздо умнее его.

И хотя он уже понимал, что его опрометчивое решение не приведет ни к чему хорошему — от своей несурзной затеи уехать (да еще на лодке) — как виртуозный акробат в цирке он никак не мог отказаться. И он приказал и нам и маме собираться.

В своем решении он был упрям до глупости и криклив до истерики. Этой гадкой черты в своем характере он с годами не только не постарался изжить, а напротив, что повзрослев, мы, дети, за многое его осуждаем, он, видя свое крушение, не старался признать свои ошибки, а напротив, сознавая, что мы поддерживаем правоту мамы, злился и в конце концов озлобился, и старался в присутствии нас детей, унижать и оскорблять маму, как человек, потерявший

рассудок, хватался за соломинку, чтобы поддержать свой пошатнувшийся в нашем сознании мужской престиж.

- А если вы не поедете, сказал отец, то я вас брошу и уеду один...

Маму этот его шаг не напугал бы, и она осталась бы с нами. Но она прекрасно понимала, что наказание за его побег обрушится на нее. Опять, как тогда, когда он уходил в деревни на заработки, ее арестует комендант и посадит в холодный изолятор на несколько суток. А что будет с нами детьми? Мы же умрем с голода. Так как и ее и нас лишат пайка. Тогда мы могли еще пережить на какой-то картошке, которую отец привозил украдкой ночью из деревень. А сейчас? Кто подаст нам руку помощи? Нас ждала неминуемая смерть. И не холодный изолятор пугал ее. А смерть детей леденила ее сердце. Но отец над этим не задумывался. Один бы он даже мог бы добраться до родины. И спастись. А мы бы из-за него тут погибли. А он, не понимая этого, обвинял бы маму во всех бедах и говорил бы: «Вот не уехала со мной и детей погубила». Это он бы обязательно сказал. И наш батюшка ничего не понимал в тупой запальчивости, и видя, что мама замолчала, что означало по его заключению, что мы поедем с ним, а следовательно по - прежнему ценим его превыше всего, он успокоился, теща себя необузданным эгоистичным тщеславием. Таким образом, однажды, глухой ночью мы перешли болото, и сев в лодку, отчалили от берега и поплыли вниз по течению реки. Всю ночь плыли, а на рассвете причалили к берегу и в густых зарослях кустарника раскинули небольшой брезентовый шалаш, который наш незадачливый путешественник приобрел у коми. Отец пошел в деревню, чтобы добыть пропитание. Здесь у него были знакомые люди-коми - местные жители, у которых он шил обувь зимой. Отъехали мы от поселка тридцать километров. Не успел наш отец придти, как на опушке леса мы заметили молодых косарей. Парни и девушки коми косили сочную весеннюю траву, вдали бродило несколько пятнистых красно-белых коров, обыкновенный весенний деревенский пейзаж, напоминающий в чем-то далекую Родину успокоил нас, и мы дети, заснули.

И вдруг глаза молодых парней, приближавшихся к нам косарей, заметили

наш шалаш. Они подошли и с удивлением увидели в нем молодую женщину с тремя малолетними детьми. О! коми — молодежь в то время была активным строителем новой жизни и приверженцами коммунизма, нас привезенных кулаков они просто ненавидели, так как им нас представили, чуть ли не зверями, ну а злейшими врагами, это уж точно. Поэтому, увидевшая нас молодежь ни на минуту не усомнившись, сообщила немедленно в деревню, куда надо. Они пошли сообщать, другие стерегли нас, чтобы не убежали в лес. И вскоре прибыл к нам уполномоченный и его помощник. Расспросили, подождали отца и повезли нас в сельский совет деревни Весляна. Когда приехали в деревню, от берега участковый нес меня на руках до сельсовета. Его помощник вел за руки Аню и Ваню, родители несли наш скарб. В эти минуты я, крохотный ребенок, прониклась большим уважением к нашим сопровождающим, чем к той комятской молодежи, которая предала нас. А могла бы этого не делать. Но они совершили это с большим энтузиазмом, как будто совершали подвиг, а не подлость.

Тут допросили родителей, обыскали их. И очень удивились, что всего денег обнаружили двенадцать рублей. Не поверили, что действительно у нас и были только эти несчастные двенадцать рублей. Они надеялись найти, по крайней мере, не менее тысячи. Обвиняли родителей, что те, вероятно, их где-то спрятали. Ибо, как можно убежать на родину, с такими малютками без денег. А когда убедились, что денег действительно нет (так как обыскивали несколько раз тщательно), то смотрели на отца как на ненормального.

Нас продержали в участковом помещении целый день, а к вечеру на ночевку поместили в баню, которую снаружи заперли на замок. В бане, нам детям, показалось тепло и уютно, и мы, детвора, не смотря на ссору отца с матерью, крепко уснули. А когда я проснулась, то увидела, что мы уже ехали обратно в поселок на нашей же лодке.

Так печально для отца, и к радости мамы, закончилось наше, столь необыкновенное «шуточное», как говаривала мама, путешествие «вдоль да по речке, вдоль да по широкой», которое продлилось всего только сутки.

Позже уже став взрослой, размышляла я о том, как же так опрометчиво отец предпринял такое несуразное путешествие? Никак не могла найти ответ. Но потом догадалась: отец надеялся все-таки, что Советская власть разберется, что мы ошибочно высланы, ведь мы никакие не кулаки, и справедливость восторжествует. По приезду он думал ходатайствовать перед властью за свою семью: как-никак он в Армии перешел на сторону красных.

Но вот как он думал при тех условиях, в которых мы совершали побег, добраться без денег с малыми детьми, незаметными и без средств к существованию, до родины, этого постичь я до сих пор не могу. Чем бы мы питались? Как прошли этот долгий —долгий путь мы бы невидимками? Представить совершенно невозможно!

И я понимаю нашу бедную маму, как она боролась с его безумными мечтами о побеге, как ей невыносимо было тяжело пускаться в путь, заранее обреченный на трагический исход. И она была рада, что все так быстро кончилось... не смотря на то, что посидели они в наказание в холодном изоляторе несколько суток без пищи, что отобрали у них и последние несчастные двенадцать рублей. И потом нас перевели на очень скудный паек, урезав его на мизерные несколько граммов.

И что вы думаете? Батюшка наш после этого не поумнел, а наоборот совсем обезумел и стал лелеять новый побег тем же способом, то есть на лодке. Хотя лодку и забрали, но она находилась на реке, примкнутой вместе с другими поселковыми колхозными лодками. Но это не стоило большого труда отделить ее от других.

Начались опять ссоры отца с мамой. Мама категорически отказалась вновь совершать такое безумство на гибель детям. А отец сказал, что он заберет Ваню, уедет, а нас бросит.

А Ваня ответил: «А я не поеду!» Малый ребенок оказался умнее в данной ситуации. И отец сдался.

В этот период, все семьи, которые совершали побег, и которых поймали,

как нас, переселяли в другой барак, на котором была вывеска такого содержания: «Здесь живут люди, которые не хотят жить и работать» Это позорное клеймо придумал наш ретивый комендант. Хотя это было было вранье. Мы потому и убегали, что хотели жить, а не умирать.

Вывеска была огромной: два метра в длину и полтора в высоту.

Прикреплена она была на самом верху барака, над крышей.

Барак находился напротив магазина. Неслучайно комендант выбрал именно этот барак — он был виден всему поселку. И комендант дал ему определение: «ПОЗОРНЫЙ БАРАК».

А почему собственно написано: «... люди, которые не хотят жить и работать»?

Ложь! Явная ложь! Мы бежали потому, что не хотели умирать с голоду. Именно жажда жизни и гнала людей оттуда...

А вы что врете, господа большевики?

И бежали мы на родину, чтобы на ней жить и работать, а не умирать.

Сволочи, вы, большевики, что душили свой работающий народ. И нет вам никакого прощения!

Итак, после побега, нам пришлось жить в этом, так называемом «позорном бараке». Срок житья определялся не менее трех лет. И нашим душам и сердцам нанесли злые люди - большевики, как наш палач - комендант, еще одну травму, еще одну кровоточащую рану, которая не заживает и до сих пор.

ЛЮДИ, НЕ БУДТЕ ТАКИМИ ПАЛАЧАМИ, КАК БОЛЬШЕВИКИ...

Барак быстро пустел, так как люди умирали от голода. Урезанный паек приближал смерть. Люди пухли, делались восковыми и расставались с жизнью...

Но мы каким-то чудом остались живы. И вот спустя 56 лет я пишу об этом и плачу...

Людную будьте такими жестокими...-

Из этого позорного барака я пошла в школу. И радости не было...

ГЛАВА 13.

ВАНЯ — МОЙ БРАТИК И СЕСТРЕНКА АНЯ.

Ваня — мой братик, круглолицый, русый, с темно-серыми умными глазами, тонкими чертами лица, отличался особой сообразительностью, большим трудолюбием и какими-то необыкновенными (в его возрасте) техническими конструкторскими способностями.

Сам еще ребенок, а делает мне игрушки из дерева. Интересные они у него получались: автомобили с кузовом и шофером. Маленьким таким человечком внутри кабины. А трактор — с рулем, который поворачивает передние колеса то в право, то в лево. Он мастер на все руки — наш Ваня. Весы еще смастерил на ниточки подвешенные.

Они с Аней на них хлеб себе взвешивают, чтобы были равные по весу кусочки.

А Аня шьет из тряпочек, из изношенных, уже не годных вещей куклы. Из кусочков (так как новой материи не было ни метра), наряжает их в фантастические платья, то с оборочками, то вышитые нитками. Такие красивые!

Так что я игрушками и куклами теперь обеспечена лучше всех. И хвастаю перед подружками этим.

А мама и тети говорят, что Аня, вероятно, будет портнихой, когда вырастет большая, — «модисткой» — как они выражаются.

А Ваня, наверняка, станет инженером — так заключает папа и мужчины. Разные машины будет создавать и строить.

А кто буду я? Не знаю.

Еще выяснилось, что Аня и Ваня хорошо рисуют. И вот теперь и рисунками меня балуют.

Ваня рисует отличных коней — таких грудастых, с тонкими ногами и изящными копытами, с волнистой гривой и шеей дугой.

А Аня — красивых барышень, в модных платьях, и цветы.

А я попыталась нарисовать дом. Но когда показала свой «дом» взрослым, то все засмеялись, А я заплакала.

Аня, чтоб успокоить меня, нарисовала наш дом, который остался на родине. По памяти. И получился (папа с мамой говорили) очень красивый, точь-в-точь наш дом. Она подарила этот рисунок мне.

Я обрадовалась и больше не плакала.

Теперь я рисунки свои взрослым не показываю. Даже Аня с Ваней их не видят. Я рисую потаясь, когда нет никого дома.

Рисовать хочется, но у меня это пока плохо получается: дома не дома, люди не люди, машин и коней совсем рисовать не могу.

Теперь рисую цветы упрощенного типа. А бумаги чистой нет. И цветных карандашей и красок — тоже нет, поэтому рисую на каких-то обрывках, клочках бумаги простым карандашом. Теперь, когда мы стали писать чернилами, стала цветы рисовать ими. Все — таки лучше, чем простыми карандашами. У меня уже что-то получается — наподобие хризантем на прямых палочках.

Палочки, палочки, затем кружочек фиолетовый, а от него, как лучи тоненькие листочки- лепесточки.

Когда мы жили в том печальном и трагическом по названию доме, о котором даже не хочется вспоминать, так обидно сердцу, но не вспоминать, вернее забывать не приходится

о нем и о многом другом.

Итак, повторяю, когда мы жили в нем, Ваня и Аня летом, после школы на каникулах ходили на прополку хлебов, огородных культур, льна, а после третьего класса уже ходили на заготовку веников для колхозных кроликов, овец.

Они очень хорошо работали и за это их премировали, как ударников, маленькими, пушистыми, беленькими кроликами. Но вот они подросли, и один особенно стал большим. Самец. Папа его зарезал, и мама целую неделю варила нам бульон.

А второго кролика — поменьше, оставили — пусть подрастет.

Ваня и Аня неустанно носили ему заячью капусту, молочай, гусинку, веточки, купыри, а иногда к осени и молодую морковку.

И кролик рос не по дням, а по часам.

Но вот однажды наш папка вернулся с работы веселый развеселый. И нес что-то завернутое в сумочку от провианта, который брал на работу. В этой сумке что-то трепыхалось и толкалось.

- А ну, дети, угадайте, что я вам принес?

Мы рты раскрыли от удивления, а что он нам принес, разгадать так и не смогли.

- Ежа!

-Белочку!

-Нет. Не узнали!

Развернул сумочку, а там зайчонок: серенький, крохотный комочек, боязливый, таращащий удивленные, наполненные ужасом глаза, и шевелил длинными ушами и усами.

Каждый из нас старался его потрогать, погладить. А он прижимал уши и приседал от страха. Папа его держал и приговаривал:

-Не бойся, крошка, не бойся серенький, мы тебя не тронем. Дети тебя любят.

Когда мы налюбовались им, а я все никак не хотела от него отойти, отец сказал:

- Хватит, дочка. Теперь мы его посадим в клетку вместе с кроликом: все же они братья по родству, и они будут жить вместе. Им станет веселей.

Зайчонка посадили к кролику. Кролик, казалось, его принял дружелюбно. Они с удовольствием кушали разную травку, мелко нарубленную морковку, турнепс и капусту. А когда их выпускали из клетки, то они весело бегали и играли друг с другом. Клетка стояла в пустой соседней комнате барака. Интересно было смотреть на них: кролик белый с редкими серыми волосинками,

зайчик совсем серенький. Оба пушистые, симпатичные. Но однажды случилась беда. Большой кролик искусал зайчика в клетке. Да так, что в некоторых местах вырвал кусочками кожу у несчастного зайчонка. Никто не видел как это случилось. Увидел первым отец. А когда сообщил нам, а лучше не надо было нам говорить, Ванечка сразу побежал туда, в другую комнату, а мы с Аней за ним. Когда прибежали, то увидели такую картину. Перед клеткой на корточках сидел Ванюша и горько плакал. Слезу ручьями лились из его испуганных больших глаз. Он держал в руках маленькую тростинку-хворостинку и в порыве безутешного горя изредка хлестал ею кролика, когда тот пробежал мимо его.

Мы знали Ваню — горе это для него трагедия. Он такой у нас был желанный, что не мог спокойно переносить тяготы жизни. Я хоть и малышка была, но уже сознавала, что Ваня будет бесконечно плакать и не утешится пока не пройдет горе. Я быстро побежала обратно в комнату нашу и сообщила папе, что творится с Ваней. Папа тотчас пошел к нам и забрал Ваню, и стал его успокаивать. Пообещал, что зайчика отнесет к ветеринару и вылечит. Ваня успокоился. Но ветеринар сказал, что зайчика надо прирезать. Ване об этом не сказали. А кролика папа продал. Потому, что мы сказали, что он нехороший и ухаживать за ним не будем. А суп из зайчика ели только папа и мама, а мы с Аней не могли. А Ваня вообще не знал, что зайчика уже нет. Ему сказали, что зайчика лечит ветеринар, а потом его отпустят в лес.

Ваня долго не мог успокоиться, видно у него было больное сердечко. Помню, как однажды он порезал палец. Папа стал его ему перевязывать, а он, Ваня, смотрит на кровь и бледнеет, бледнеет... А потом — раз и упал на скамейку и потерял сознание.

Не знаю, наверно, слабое сердце стало у него от того, что в раннем детстве, еще маленьким мальчиком, лет трех, ему помяло указательный пальчик машинно - ручным точилом с двойными шестеренками.

Дуреха — Нюрка Махнова (фамилия по уличному — настоящая Кривошеина), девчонка старше Вани, лет семи, как-то сказала: «Сунь пальчик

Ваня вот сюда, там щекотно».

Ваня кроха и сунул, а ему пальчик поранило и верхний суставчик размяло. Бедный ребенок бежал из одного конца улицы до другого, до дому крича во весь голос от ужаса, и махая окровавленным пальчиком. Хорошо папка был дома, залил водкой пальчик, перевязал и сразу повез Ванюшу на лошадке на станцию в Филоново, к доктору. Укутал его и положил к груди ребенка, все время успокаивая его: «Ну-ну, не бойся, теперь все будет хорошо, вот приедем к дяде доктору, он нам пальчик сразу вылечит. Все будет хорошо...» Ванюша успокоился и даже уснул. Проснулся уже у дяди доктора, который полечил пальчик и напоил их с отцом чаем с молоком. Пальчик зажил, но стал короче на один суставчик. Все говорили, что Ваню не возьмут в армию никогда. А оказалось наоборот, и в армию попал, воевать пришлось со зверскими фашистами, и жизнь отдать за наше счастье. Вот как иногда бывает в жизни — совсем не так, как люди предполагают.

ГЛАВА 14.

БОЛЕЗНЬ ВАНИ

Ваня с Аней работают летом в колхозе. А после пятого класса их послали даже за речку на неделю с ночевкой, заготовливать веники из берез ольхи для колхозных овец и кроликов на зиму. И вот Ванюша там простыл. Глупенький раздевался на ночь. И спал в одних трусиках и в маечке. А было холодно и сыро. Вообще на севере, почти в любое время года, особенно ночью, даже летом, холодно и сыро. Надо было спать одетым. Но дети есть дети. Не догадались. И простыл наш Ванечка и заболел. Сильно заболел — воспалением легких. Поднялась высокая температура. И стал наш братик терять сознание и бредить по ночам.

А родителей наших, как на грех нет дома. Они на сенокосе, плюсе, за пять километров от поселка вот уже вторую неделю там живут. Домой их не

отпускают. Дома одни мы — детвора: Аня, я и Ваня больной. Мы с Аней плачем и не знаем, что делать. Ванечка наш часто теряет сознание, ничего не ест, только в бреду просит пить. Весь горит, как в огне, мучается так, что мы без слез и плача не можем на него смотреть.

Мы тоже ночами не спим, чем помочь нашему братику — не знаем. Лишь поим его из ложечки водой. Больше он ничего приять не может. Молока ни у кого нет.

Сбегала Аня к фельдшеру Барченко, но он пришел только на другой день. Дал Ване какие-то таблетки один раз, когда пришел. А больше ничего для лечения не оставил ни таблетки. И ушел. Больше он не появлялся. И советов нам никаких не дал. Просто молча удалился. Ване нисколько легче не стало от его посещения. Тетя Даша Лавренова, которая работала в яслях поварихой и была дома, разумеется, ночам, а не на сенокосе, пошла к Нюре Ломтевой — девушке, которая тоже косит сено там же где наши родители. Она пришла под воскресенье, потанцевать в клубе, хоть завтра снова придется вставать в пять утра и идти за пять километров на сенокос, так как никаких выходных-проходных там у нас не было на поселке.

Тетя Даша сказала ей, чтобы она передала нашим родителям, что Ваня сильно заболел, и они пусть придут, а то мы с Аней плачем и не знаем, что делать. А фельдшер не помог и Ваня при смерти. Но девушка Нюра Ломтева так рассеянно ее слушала, видно в голове были одни женихи, что когда передавала просьбу тети Даши нашим родителям, то толком ничего не объяснила, что у нас происходит. Но родители все-таки почувствовали, что случилось что-то серьезное и на другой день, т. е. в понедельник оба пришли домой. Тут только поняли, какая великая беда у нас стряслась. Отец немедленно пошел к фельдшеру Барченко и поругался там с ним, почему тот так равнодушно, бессердечно отнесся к такой серьезной болезни ребенка, почему он его не посещает и не лечит, почему тот не сообщил председателю колхоза, чтобы тот отозвал родителей с сенокоса? И отец немедленно приказал фельдшеру сейчас сию

минуту с ним идти к Ване. И пригрозил, что если фельдшер не возьмется серьезно за лечение ребенка, то отец найдет на него праву. И если не вылечит Ваню, то батька подаст на него в суд и покажет на суде, как этот фельдшер бесчеловечно относится к больным и совершенно их не лечит, только занимается своими личными делами и благами.

С этого момента наш «доктор» забегал, как драный щенок между нашим домом и больницей.

Мы с Анечкой немного отошли. А то мы были близки к помешательству. Плакали день и ночь, совершенно не спали и все смотрели на умирающего Ванечку. Было страшно, особенно ночью. Кругом темь, горит только каптюлек, да мечется в бреду Ванечка, а вокруг, мне казалось, как тогда при побеге, стоят комьяки, кривоногие, широкоскулые, с узкими раскосыми глазами и ехидно улыбаются, размахивая над нашими головами косами. Вот такая картина мне рисовалась. Надолго запомнился мне этот момент. Тогда у реки при побеге я, глядя на этих подонков, думала - вместо того, чтобы нас беззащитных малых детей с молодой матерью стеречь с косами, взяли бы да дали по кружке молока и куску хлеба, малым детям и маме. Ведь мы так были голодны. А они это прекрасно знали. И в этих сумках у них был хороший провиант. Разумеется, сенокос шли, захватили и хлеб и молоко, а может что и получше. Да и рядом ходили коровки с выменем, как ведра.

А вот не нашлось среди этой «сознательной» комсомолии ни одного человека, все были дикими зверями, охраняли голодных, пухлых детей с косами, как Чин-Гиз Хан со своими - головорезами.

И косы-то у них были кривые, как монгольские сабли. Совсем не такой конструкции, как у русских. И косили они ими, взмахивая над головой, как бы рубя головы.

Барченко этот, паршивый щенок, подхалим коменданта, считал, что чем хуже он будет лечить людей, тем меньше к нему будут обращаться. И гак и делал. И жил как король. Сам себе хозяин. А кто им был недоволен, его лечением, то он

капал на него коменданту. Обвинял этого человека во всех смертных грехах, возводя на него небылицу: и ленив-то этот человек, и в колхозе как следует работать не хочет, и говорит не лестные слова по отношению советской власти и правительства. В конце концов этого человека комендант начинал преследовать, а порою убирать туда, откуда не возвращаются.

А, негодяй, Барченко еще хуже лечил, но активно выступал на всех собраниях, «клеил лодырей» и т. д.

А самым первым лодырем был не кто иной, как он. Занимал со всей семьей, из трех человек весь блок — в четыре комнаты. Остальные три блока считались приемной и палатами. Но принимать он собственной никого не принимал, кроме рожениц, а лечить тем более — не лечил. И вся больница пустовала. А, он, Барченко на работу не принимал никого, кроме своей семьи, чтобы никто не видел, как он там творит махинации: он там считался фельдшером, заведующим, завхозом; жена, не имеющая никакого медицинского образования, была оформлена, как медсестра, санитарка; теща - зачислена поваром, истопником, сторожем.

Вот такие-то дела творил негодяй Барченко. Топить палаты было нечего, так как туда никого не дожили. Человек болел и умирал дома. Кормить тоже было некого. И ухаживать медсестре и санитарке было не за кем. И топили и варили и ухаживали Барченко только за собой. И десятки зарплат шли в их- карман, и продукты, отпускаемые на мнимых больных, лежащих якобы в больнице, а не дома, шли в котел семьи Барченко. Жили они как падишахи. Жили припеваючи.

А люди болели и лежали с высокой температурой и без сознания по домам и умирали большинство. Но это не беспокоило нашего «милосердца». Он выходил сухим из воды... И блаженствовал. Пировал, как говорят, во время чумы. Бывают же такие подлецы, которые смерть людей ни в копейку не ставят. Им это до лампочки, хотя считаются медицинскими работниками. Есть такие и по сей день.

Но вернемся к нашей повести печальной.

Отец вышел из себя и потребовал, чтобы фельдшер лечил ребенка ежедневно и вылечил. Если этого Барченко не сделает, то так уже было сказано, будет суд.

И Барченко почувствовал, что в данном случае с ним не шутят и это может обернуться для него катастрофой в его построенном идеале для своей персоны. Банкротством для того блаженства, которое он сумел в таких, казалось бы невероятных и опасных для того времени условиях жизни создать такие тайные махинации для своей семьи.

И завилчал, наш Барченко, и забегал между больницей и нашим домом.

И, конечно, вылечил нашего Ванечку. А то думали, что Ванюша наш погибнет. Но, слава богу, обошлось. Ох, и мучился в эту болезнь наш братик. Но пришла та счастливая минута, когда все осталось позади.

ГЛАВА 15.

БОЛЕЗНЬ СЕСТРЕНКИ АНИ.

Беда, как известно, не ходит в одиночку. На другой год так же сильно, как Ваня, заболела Аня дифтерией. Ее ночью мучило такое удушье, что дышать было нечем. Думали тоже — все, конец. Опухло у Анечки горло, лицо и грудь. Фельдшер Барченко велел делать тепло - горячие компрессы. А Ане стало от них еще хуже. Она задыхалась. Тогда мама не послушала фельдшера и положила ей на грудь холодный компресс. Отец ругал маму на чем свет стоит. А Ане, о чудо! Этот холодный компресс и помог. Ей стало легче дышать. И пухлота постепенно стала спадать. Девочка очнулась и постелено стала поправляться. Так беды одна за другой посещали наш дом. Трудное, очень трудное было время.

ГЛАВА 16.

СООБЩЕНИЯ С РОДИНЫ.

Наш старший брат Федя после тяжелого трудного пути побега добрался до

родины и пришел в семью сестры. Сестра жила уже одна. Мужа ее Клейменова Петра посадили в тюрьму на два года только за то, что будучи скотником в голодные 1932-1933 годы взяли с напарником у быков немного, несколько горстей азатков (комбикорма) и испекли тут же на плите в теплушке себе несколько лепешек, чтобы поесть. Люди на родине тоже голодали и мерли от голода.

И вот видите, как диктовала новая жизнь, быкам давали какие-то азиатки для подкормки, а людям ничего. Быки были дороже людей. А люди пусть пухнут и умирают с голода. И умирали.

Итак, Федя пришел на родину и спрятался у сестры. И здесь нельзя было открыто объявиться. Арестуют и осудят. Вот что его ждало на родине — этого подростка, которого ни за что, ни про что выселили, да еще под дулом револьвера. А теперь, даже невиновным, вернувшись на родину, он лишался этой родины.

После долгих мытарств, скрывался еще у родных. Затем сестра Дуся достала ему справку на другую фамилию, и Федя отправился в дальний совхоз, где быстро освоил профессию тракториста, которая так нравилась с самого детства, как только услышал о существовании изобретения, создания каких-то тракторов, которые сами пахут землю и не надо никаких лошадей и быков.

Мечта зародилась у него в голове еще в те времена счастливые, когда все были на родине, и отец был секретарем Совета. Но не суждено ей было сбыться, тогда этой мечте. Выселили нас и мечта погибла.

А теперь парадокс. Федя уже не Федя и не Минаев, а какой-то Куликов, вынужден скрываться, не зная за что, под каким-то чужим именем и пугаться за каждый свой шаг.

Жизнь, ты не жизнь, а сплошное издевательство над человеком. Зачем деревенскому парню, не совершившему ни единой крупницы зла и преступления, пришили в подростковом возрасте имя — кулак? Какой же кулак может быть в 16 лет? А вот поди ж ты докажи палачам, что он еще ребенок и кулаком никак не

мог быть.

И теперь ходит мой братишка по родной земле, а она его сыном своим не признает. И палачи охотятся за ним, как волк за кроликом или зайцем. Работает мой братишка трактористом в дальнем совхозе. Отлично работает. Все его хвалят, все им довольны. Директор совхоза каждый раз на собрании объявляет ему благодарность, призывает всех механизаторов работать, как работает Куликов. А сердце Феде не радуется. Он хотел бы услышать другую фамилию — Минаев, по праву принадлежащую ему. И вместо радости — слезы навертывались у него на глазах.

И он боялся, что готов был крикнуть:

не Куликов хорошо работает, а Минаев Федя! Ни какой я не кулак, а настоящий человек, который в жизни ничего плохого не сделал.

Но даже эту великую правду он не мог сказать людям. Безжалостные палачи лишили Федю и нас такого права.

И нашлись еще одни палачи и предали Федю. Его арестовали за побег и осудили на три года тюрьмы.

Вернее осудили человека за то, что хотел честно жить и работать на своей любимой родине, на своей родной земле.

Опять во второй раз лишили родины и ни за что ни про что отправили на дальний восток строить новые города в тюремном режиме.

«Спасибо великому Сталину!» — кричала вся страна.

А надо было говорить — Позор зверю — палачу! Смерть, негодяю!

Итак, еще одно горе обрушилось на нас.

Ах, ты подлый урод-человеконенавистник, палач Джугашвили, сколько миллионов безвинных людей ты сгноил в тюрьмах, ссылках, лагерях. Вот когда ты был жив, утопить бы тебя, идиота, в этом океане крови. А не петь бы тебе хвалебные речи.

Но правда скрывалась от настоящих людей, а подхалимы сочиняли и пели ему оды, и называли этого мерзавца — палача вождем всех народов и времен. А

надо бы этого убийцу казнить.

ГЛАВА 17.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЛОДЫРЯ АРСЕНИЧА.

Лодырь, Арсенич, саженого роста, с хитрым жадным взглядом коршуна, чувствуя приближение зимы, заерзал: «Корова во дворе доиться перестала, проку от нее теперь ни па грош, а кормить ее и тем паче нечем, так как я корма для нее, как правило, не заготавливаю, то -о-о, стало быть, мне, строителю коммунизма, надо что-то предпринимать!» — он почесал живот своей грязной невымытой рукой и, кряхтя, сел за шатающийся и скрипящий стол, взял огрызок карандаша и на желтом листе бумаги, залитом самогонкой, но высохшим, написал следующее заявление председателю колхоза:

«Я. как сознательный элемент, иду против собственности на средства производства, а потому сдаю свою корову в общественное колхозное стадо! Завтра же, как передовой строитель социализма и борец за общественное народное хозяйство, приведу ее проклятую на колхозный баз. А мне прошу определить шесть пудов пшеницы для прокорма моего семейства. В чем прошу не отказать».

Сытилин Арсенич

На следующий день это заявление лежало на столе председателя. Да-а-а-а, попробовал бы этот председатель отказать такому ярому передовому строителю коммунизма. Отказал, сразу бы угодил туда, где Макар телят не пас. Разве можно отказать разорителю крестьянских хозяйств? Ярому погромщику, так называемых кулаков?

И Федор Арсенич Сытилин получал то, что требовал.

Таким образом, он убивал сразу два зайца: не надо было кормить корову всю зиму и обеспечивался хлебом сам без всякого труда на эту самую зиму.

А весной он тоже знал, что делать.

Пожрав за зиму пшеничный хлеб, он снова присаживался к памятному тому же столу и, не сходя с места, писал новое заявление на правление колхоза.

«Я, как неимущий пролетариат, прошу определить мне стельную корову или телку. А то все пьют молочко, а я передовой организатор колхозов должен ходить натошак. Так не гоже».

Федор Арсенич Сытилин.

Заявление на следующий день опять же попадало куда надо. И, буквально, через пару дней тунеядец Арсенич сам ходил по колхозному базу и выбирал телку, которые, как и его рубаха, доходили ему великану, только до пупа.

Выбрав лучшую телочку, которая была, как говорят на сносках, он поднимал черный от грязи указательный палец и тыкал им в намеренную жертву, повелительно произнося при этом:

- Вот эту буроватую — мне!

И на утро, вновь полученная корова мычала во дворе Арсеича.

А с новой осенью и последующей весной все повторялось сначала, как сказка про белого бычка.

Так «великий организатор колхозов» строил коммунизм и шел уверенными шагами к его сияющим вершинам!

ГЛАВА 18.

БОГ НАШ ЕДИНЫЙ, СПАСИ НАС! – НЕ СЛЫШИТ.

Наши родители и все взрослое население, которое осталось в живых, после страшных голодных годов 1932-1933, построили новый поселок, переселились в него и приступили к созданию колхоза, конечно, не по своему собственному желанию, а по приказу. Все приказывалось! Все насильственно внедрялось.

Жизнь текла все по тому же трудному руслу. Отцам и особенно матерям нашим не верилось в реальность этого бытия. По их разговорам даже мы, дети, понимали, что эта настоящая их жизнь кажется им кошмарным, страшным сном, который вот-вот кончится...

Они проснутся... и увидят, что живут по-прежнему на любимой Родине, в своих домах, со своими многочисленными семьями, (которые так поредели), со своими прежними радостями-заботами.

Им. нашим мамам, казалось (нет — не казалось, они были твердо убеждены), что произошло какое-то сатанинское недоразумение, которое сотворил вопреки воле бога жестокий дьявол, забросил их в чрево ада, где не ступала нога человека. Это он их выхватил темной ночью из объятий теплой, нежной, милой родины и принес в цепких когтях своих, и бросил безжалостно на пустынный, холодный, мерзкий берег вместе с малыми детьми и грудными младенцами в дебри непроходимой тайги, в дремучие леса.

Они до сих пор слышат его дьявольский хохот в вое снежной метели.

Но должен же быть господь милостивым!

Неужели он не явится и не принесет им спасение? Неужели не принесет им избавления от непримиримой жизни в этой проклятой дикой тайге? Когда же кончатся ни муки?

Нет, не может быть, чтобы мы остались здесь, в этих гиблых болотах навсегда....

Человек не может жить без родины...

Господи! Неужели ты не слышишь нас?

Плакали и молились наши мамы и... ждали чуда. Настоящего чуда! Дескать, вот скоро приедет районное начальство и объявит, что срок ссылки окончился. Можно ехать обратно домой, на родину.

Так и говорили мамы: «Не должна же долго длиться ссылка. За что? Никогда, ни в какие века не слыхивали, чтобы где-то. когда-то, даже за морями-океанами, люди выселялись и ссылались сотнями тысяч, миллионами куда-то на всю жизнь. Этого никогда не было ни в какой стране, ни при каком царе, короле. Ни за какие преступления!»

А за нашими мамами и вины-то никакой не было.

Везде трубят, говорят, пишут: новая, светлая, свободная жизнь строится, а

миллионы людей на высылке, ссылке и навсегда?

Да такого и в тысячу лет не слыхивали.

Не может быть! Нечеловечно!

«Может быть» — говорил наш отец не вслух, а про себя.

Он понимал, что такое многолюдное выселение, разумеется, затеяли (осуществили) злодеи не на один-два года, а произведена эта ссылка для того, чтобы она продлилась на многие годы.

Но даже он не верил в вечное выселение. А думал, что это наказание продлиться несколько лет, а потом, дескать, должны же простить, если в чем виноваты. Хотя вины никто за собой никакой не мог найти: жили, трудились, сеяли хлеб в поте лица, рожали и воспитывали детей.

Люди пожилые. А тут вырастут малые дети, они же ни в чем не виноваты ни перед богом, ни перед людьми. За что же их так жестоко наказывать? Должны же они когда-то вернуться на родину своих предков? Неужели нет? Нет?

Николай Антонович? — обращались к нему женщины, как к прежнему секретарю совета, считая, что и сейчас он должен все знать, раз когда-то был у власти. — как ты думаешь, скоро ли мы уедем отсюда?

- Да нет, — отвечал, насупившись, отец. — Я думаю, что несколько годков придется пожить пока тут.

Он не говорил даже «несколько лет», ибо «годки» все-таки должны показаться женщинам поменьше, чем года.

- И- и... типун тебе на язык. Обрадовал! Не может этого быть! Что мы проклятые что ли какие? Бог не допустит!

- Дай бог! Дай бог! А пока потерпите малость, бабоньки, — смирялся отец. Ему хотелось как-то их успокоить и вселить в них какую-то надежду на избавление.

Но Господь Бог не слышал нас и не спешил выручать!

Тем более, что с родины шли тревожные, ранимые вести. Голод начался гам. И люди семьями вымирали. «Господь отступился от нас — писали родные.

— Всюду голод и смерть.

А Сатана бесится. Церкви разрушают.

Некоторые смельчаки — ироды потянули кресты с куполов, разбили колокола, побили окна, растащили ценности, пожгли иконы, осквернили и уничтожили роспись внутри, испоганили все содержимое в церквях. А сами церкви в некоторых станицах превратили в склады или того хуже — в конюшни. А в станице Ярыженской церковь разобрали по кирпичику и выстлали ими дорогу, ведущую от станицы на шлях».

Родители читали подобные строки и не верили в написанное.

Не могли поверить в такое злодеяние!

И это была истинная правда. По реке Бузулук из десяти церквей в нашем районе уцелела только одна в Филоновской станице, которая, слава богу, цела и поныне. И нам, молодому поколению родителей довелось спустя много времени побывать в ней, и только по ней мы смогли представить — что есть русская церковь! Какой это исторический памятник наших предков! Какая великолепная архитектура наших русских мастеров! Какая божественная роспись художников прошлого столетия нашей Руси! Какой невосполнимый урон мы понесли, разрушив десятки, сотни, тысячи таких памятников, которые были в каждой станице русского казачества... Такой урон не возродится никогда...

Разрушение церквей (и не только церквей) шло по всей стране.

И ни один разум не остановил этого варварства и надругательства. Да и были ли он тогда разум? Трудно сказать?

ГЛАВА 19.

РЕПРЕССИИ.

Выдалось необыкновенно теплое солнечное воскресенье. Выходных никогда не было, а потому, хоть и воскресенье, все взрослое население на работе. А мы детвора носимся по поселку. Пошли к реке, искупались. Сидим на берегу.

Смотрим - вверх по течению реки идет в поселок небольшой новенький парходик или катер. Блестит под солнцем его палуба и труба. Подъезжает, причаливает. На берег сходят дяди в новых желтых гимнастерках и галифе с большущими наганами на боку. Скрипят их ремни, крест-накрест опоясывающие грудь, и хромовые сверкающие сапоги. Что за дяди? Почему с наганами? Они направились в поселок и зашли в комендатуру. Их было немало, около десятка. Затем они вышли из комендатуры и вместе с комендантом направились в разные точки поселка, по одному. Куда? Зачем? Но вскоре нам стало понятно — зачем... Они появились эти дяди, но не одни...

Каждый дядя с наганом в руке вел впереди себя группу арестованных наших поселковых мужчин, со вязаными руками за спиной. Измученные, в тряпье, с отрешенным, затравленным взглядом, мужчины смотрели в последний раз на нас детей, и слезы безысходной глубокой печали струились у них из глаз... Мы стояли как вкопанные, вдоль дороги, по которой вели их к реке. Дети были все маленького возраста — от 5 до 8 лет. Остальные тоже уже работали. Таков был закон подлости.

Некоторые дети рванулись в сторону мужчин, а отцы к ним, крикнули: Прощайте дети!... И тут раздался истошный крик: - Папа! Папочка!... — белоголовый мальчик, лет восьми, бросился навстречу отцу. — Назад! - грозный окрик конвоира остановил мальчика. А отец упал на колени, так как конвоир толкнул его наганом в спину. — Бегать! Вперед! — продолжая толкать наганом жертву, приказал неумолимый конвоир.

И отец ребенка, рыдая, приподнялся с колен, и, сопровождаемый грубыми окриками и ругательствами конвоира, пошел дальше.

Наши детские сердца охватывал какой-то леденящий ужас...

- А ну, детвора, уходи с дороги! — кричал уже другой дядя, размахивая наганом, ведущий новую группу арестованных... За ним, вдали виднелись еще новые группы людей, сопровождаемые грубыми окриками таких же вооруженных дядей. Опять прощальные крики несчастных, обращенных к нам,

детям... и грубые, грозные окрики конвоиров. В этот день арестовали и увезли с поселка сорок лучших молодых мужчин от 30 до 45 лет. И они как в воду канули. Больше от них не было ни одной весточки родным. Никогда. Значит, всех их расстреляли. За что? А ни за что... И с каждого поселка в этот день или другой взяли по сорок человек. И все они погибли. Отдали свою самую молодую кровь и жизнь богу, чтобы он хоть когда-нибудь наказал такой же казнью этих бессердечных палачей...

Но это было не последнее посещение поселка дядей с наганами. Они часто наведывались и опять забирали ни в чем неповинных людей и увозили навсегда в иной мир. Они были ненасытными и пили, и пили кровь из людей. А она лилась рекой, и не было этому конца...

ГОСПОДИ! ГДЕ ЖЕ ТЫ?

ПОЧЕМУ НЕ ОСВОБОДИШЬ НАС ОТ ЗЛОДЕЯНИЯ ПАЛАЧЕЙ?

ГЛАВА 20

МАЛЕНЬКОЕ, БЕЗЗАЩИТНОЕ, НЕСЧАСТНОЕ СУЩЕСТВО

Я бегу вприпрыжку к папке на работу. Еще бы! Пришла из школы голодная, а дома только две холодных картошиночки мне на обед мама оставила. Сглотнула их, как конфетки, на ходу, а есть все равно хочется. Кинула холщовую сумочку с книжками и тетрадками в уголок нар и бегом к отцу. Авось купил кусок черного хлеба в ларьке и отрежет мне маленький ломтик.

Прибежала. Открываю, запыхавшись, дверь в мастерскую и сразу взор устремляю на верхнюю полочку. Ура! Горбушка хлеба лежит, там наверху на желтом куске бумаги, и я не могу оторвать от нее своего детского взгляда.

Я с разбегу обнимаю папку и чмокаю его в щеку. Он ссутулившись сидит над драным сапогом, протыкая шилом кожу, и в губах у него дратва с щетиной на конце. А! Стрекоза! Садись. Ну, выкладывай, какие отметки принесла? Мне не до отметок. Я умоляюще перевожу взгляд с отца на кусок хлеба. И, вздыхая, сажусь на скамейку. Отец замолкает. Поднимается. Берет кусок хлеба с полки и отрезает

мне тоненький-тоненький ломтик.

-А это к ужину, — говорит он и кладет остаток куска опять на полку. Я понимающе киваю головой в знак согласия, и принимаюсь неторопливо есть, этот такой изумительно душистый и такой вкусный ломтик черного хлеба.

Откусываю маленькие кусочки и смакую их во рту, стараясь задержать дыхание, чтобы подольше чувствовать запах хлеба и его сладость во рту. Но, как ни тяни, хлебушек кончается, и я с сожалением вздыхаю о том, что такая счастливая трапеза так быстро кончилась. Папка достает из кармана несколько копеек и говорит: -А это тебе на подушечки (конфеты подушечками). Иди в магазин, на эти пять копеек тебе дадут несколько конфеточек - Я в секунду вскакиваю и в тот же миг вылетаю из дверей. Магазин рядом, напротив мастерской. Стрелой лечу к нему, пулей влетаю в дверь. И к прилавку. Подаю пятак продавцу и, улыбаясь во весь рог, выдыхаю: — Конфеток, подушечками. Продавец Иван Иванов, бесшабашный парняга лет двадцати пяти, кивает головой, вынимает цыгарку изо рта, тушит ее и, не взвешивая, подает мне несколько подушечек. Да, собственно, сколько можно взвесить на пять копеек, если килограмм конфет стоит четыре рубля. И самые маленькие гири у него по тем временам — стограммовые. Я прямо-таки выхватываю эти подушечки у него из рук и вылетаю из магазина. Тут, взглянув на них секунду, все сразу бросаю в рот, и красную, и синюю, и желтую, и розовую и белую. Теперь только успокаиваюсь и степенно сосу. Оглядываюсь. Замечаю, около меня юлит маленький мальчонка — Васька Павлов. Крохотный, легонький, как одуванчик, он одной малюсенькой ручонкой придерживает спадающие штанишки, рваные, неопределенного цвета. Другую, такую же маленькую, тощую ручонку протягивает вслед выходящему дядечке, семенит за ним воробьиными шажками и со слезами в голосе, еле слышно просит:

— Дядя, дай хлеба фу-фу, — что означает немного. Дядя, высокий, худой, с удрученным видом, несет краюху хлеба под мышкой и не слышит этого писка голодного цыпленка за собой. Дядя шагает широко, а Вася за ним

не успевает. Он постепенно отстает. И, потеряв всякую надежду, останавливается, замолкает. А потом повернувшись обратно, со вздохом и обидой произносит с плачем: У-у-у-, вредный... Я стою, наблюдаю эту сцену и тоже готова заплакать от обиды, что невнимательный дядя не дал кусочек хлеба этому крохе, и что я не сразу заметила Васю, а то бы я обязательно дала ему конфетку. А теперь поздно. Васе не более четырех лет. И жестокий голод гонит этого птенца каждый день к дверям магазина выпрашивать подавание. Авось смилостивится кто-либо и даст цыпленку крошку хлеба.

Конечно, кто его замечал за спиной у себя, оборачивался и отщипывал кусочек. Вася в тот момент светился прозрачным светом и шептал слова благодарности: — Пасипа, пасипа, пятась назад, он низко и часто кланялся дяде или тете...

Тетя, давшая довесок хлеба, глядя на него, сама заливалась горячими слезами и шла плача до самого дома... Иногда этот плач доходил до рыданий, и она не могла никак себя сдержать, унять... Только войдя в темный, грязный коридор длинного барака, она останавливалась и старалась заглушить в себе плач, унять, хоть как-то заметать следы плача, чтобы свои дети не видели ее такой... Не всегда это удавалось... А Вася крохотулька, проглотив крошку хлеба, опять дежурил у магазинчика, пока, не посинев от холода или не вымокнув до нитки под дождем, голодный и холодный, еле живой комочек отправлялся домой, чтобы снова утром опять быть на этом месте. Страшен голод для взрослых, а для детей — невыносим.

Четырехлетнее крохотное существо не понимало и не могло понять, почему этот мир так жесток и почему он, Вася, должен быть таким несчастным? За что палачи-управители так бесчеловечно истязали дитя? За какие такие грехи терзали это ангельское создание? Что же он мог сотворить против человечества в свои четыре года? За что же деспоты изгнали этого четырехлетнего ангела из его родительской обители и выслали в далекие холодные края и морят теперь голодом? В чем провинилось это создание?

Эх, кровососы- кровопийцы-палачи, ни дна вам, ни покрышки... Дома у Васи - крохотульки еще голодало двое братишек и сестренка. Отец умер уже больше года назад от голода. Мать от зари до зари на работе в колхозе, которая никак не оплачивалась, и дети пухли с голода. Умер еще братик. А мама надорвалась на работе с тала калекой. Нога правая не сгибалась.

Встретила я Васю много лет спустя, перед войной, там же на поселке. Было ему лет девять, а на вид — лет шесть.

Шел он от товарища и ругался:

- Вот вредный Крылок, взяв и выгнав меня, и что было надо?

Они баловались у товарища, а сосед дядя Крылков Васю выпроводил.

Васька обиделся.

В войну старший брат его Ваня погиб на фронте, а мама умерла в войну же от голода. Вот так — на фронт брали и всех морили голодом. Осталась у Васи одна сестренка Катюша.

Такова судьба Васи-крошки Павлова из поселка Бож-ю-дор, Кнажпогостского района, Коми АССР.

ГЛАВА 21.

КАК ВСТАЕТ СОЛНЦЕ

Северная белая ночь.

Тихий мерцающий свет ее, беззвучно, как струя неземного невесомого родника растекается тихо по всему небу серебристыми лучами и заглядывает во все наши укромные детские уголки: за дома, за сараи, за огороды и на уютную площадку, которая приютилась между магазином и школой с одной стороны и клубом и пекарней с другой стороны.

Здесь мы играем в лапту и догонялки, в мячи и другие игры. Это любимое место наших игр. А потому по вечерам сюда собирается вся детвора поселка. И когда взрослые парни и девушки идут в клуб, мы оккупируем всю площадь и

начинаются наши беззаботные, бесконечные игры и, кажется нам, веселые игры.

Тогда все забываешь, и что есть хочется, и что одеть нечего.

Порою, мы так увлекаемся, что не помним про время. Да и как его узнать это время? Который час? А бог его ведает! Часов ни у кого нет, даже у взрослых в доме нет.

Разливается по всему горизонту северная ночь, похожая на день и трудно угадать, где ее начало, а где конец. Играй, ребята, пока сон не сморил и не заставил идти домой.

Сегодня почему-то особенно заигрались и забыли, что давно пора идти домой. Собрались было. Как вдруг из-за темно-зеленного леса, из-за островерхих елей и пихт, что окружают наш поселок с восточной стороны, показалась алая заря!

Ай-ай-ай! Кажется, солнце хочет вставать! Вот-те на! Утро уже!

- Что будем делать, братва? — спросил мой брат Ваня. — Куда будем деваться? Пойдем домой? Всыпят нам родители за первый сорт!

- А знаете что? продолжал мой братик, — все равно семь бед, один ответ! Нам спать уже некогда! Пойдемте, посмотрим как встает солнце. Мы никогда не видели! Это так интересно!

И все сразу обрадовались, остановились и хором крикнули: — Пошли!

Посмотрел бы нам кто вслед на нашу необыкновенную процессию в такое время ночи! Куда это ни свет, ни заря детская ватага хлынула? Диво, да и только!

А мы, возбужденные, радостные бегом кинулись за поселок на восточную его окраину, туда, где ржаное поле простирается до самого леса, за которым полыхала алая заря.

И вот мы за околицей, выбрали повыше холмик и рассыпались на нем как горох. Легли прямо на землю на животы, подложили ладони под подбородок и все устремили взоры на восток! Притихли и стали ждать...

Вот оно огромное и красное с яркими золотыми лучами тихо и медленно стало поднимать свое блюдце над лесом, величественно и неприкосновенно!

Волнующее и взбудораживающее до изнеможения наши детские души!

Ах! Какое оно величественное и недостижимое! Ах, какое красивое и яркое!

Смотрим, не отрывая глаз, в полном безмолвии наших детских душ и всей природы.

И вдруг... Чу! Какой-то шорох за спиной. Все увлеклись восходом солнца и ничего не заметили. Только я самая маленькая из всей ватаги нашего дома, присутствовавшая при этом зрелище восхода дневного светила, почувствовала что-то неладное позади нас... и обернулась. И о...! Ужас! Я увидела отца, двигавшегося в нашу сторону с ремнем в руках! Вначале я испугалась, но вдруг у меня, сметливой девчонки, мелькнула ехидная мысль в голове: «Ага! — думаю, — я самая маленькая в семье, еще «несмышленное» дитя, то мне, вероятно, если и попадет, так в последнюю очередь, а за это время я уже удеру! А вот старшей Ане и братику Ване влетит сразу! И я засмеялась и крикнула: — А смотрите, вон папка идет с ремнем! Вот он вам сейчас выплет!» Все вздрогнули, вмиг обернулись, и лица у всех вытянулись, замерли в страхе и удивлении. Даже с места никто не тронулся. Я же восьмилетняя насмешница встала во весь свой маленький рост и, растопырив свое ситцевое платьице ручонками, стояла, как одуванчик, весело и выжидающе посматривала на притихших старших своих братьев, то на грозно приближавшегося отца.

Отец медленно, вперевалочку (спросонья, значит) подходил, похлестывая себя по голенищам сапог ремнем.

Все ждали что будет дальше?

Никто не посмел даже дать стрекача, спастись бегством.

Какая-то общая, идеальная, что ли сила объединила их, и никто не мог ей противиться, противостоять.

Только я стояла и улыбалась, ждала с интересом развертывающихся событий.

И вдруг... Как гром с неба!

Отец подошел к нам и первой стеганул ремнем не кого-нибудь, а меня. И

еще раз, и еще...!

Все засмеялись, а я громко заревела и кинулась на утек.

А отец за мной, и еще ремешком, ремешком меня... Да с приговорчиком: — Не ходи сопля, куда тебе не следует, таким крохам спать дома положено, а не болтаться по ночам.

А я в ответ с ревом: — Я смотрела, как солнце встает!!

А отец:

-Это большим школьникам полезно знать, как солнце встает, и самим надо посмотреть. Им надо жизнь познавать и природу знать. А тебе, сопле, в это время спать надо и сны всякие видеть. Когда вырастишь, тогда и восходы будешь смотреть. А сейчас я тебя за это дело ремешком, ремешком...

Как же мне обидно и особенно стыдно перед всеми ребятами и девчонками, что никого, а именно меня отец бил ремнем!

Ай-яй-яй! Срамота!

Ведь никого пальцем не тронул, а меня до самого дома гнал ремнем. И я все время слышала смех ребят во след.

Ну, а если откровенно признаться, так батька меня не бил, а так гладил ремнем, да и только для вида, чтобы стыдно было, чтобы запомнила это на всю жизнь и не делала таких больше поступков.

Вот такие, братцы, дела!

ГЛАВА 22

МОЙ ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ

Пришла зима, а в школу ходить холодно: пальто зимнего нет и валенок тоже. Расстояние от дома до школы стараемся пробежать как можно быстрее, чтобы не замерзнуть. Мороз обжигает ноги и руки, еле покрытые тряпьем, шею и лицо. Он пробирается на спину под ветхое заплатанное пальтишко и мелкой дрожью пробегает по позвоночнику и груди, все тело и руки покрываются гусиной кожей. Пальцы рук и ног немеют.

Мы стремглав влетаем в класс и гурьбой окружаем печку. Сбрасываем

ветхие ботинки и варежки и греем руки у красной, раскаленной плиты. Прикладываем пятки к теплым бокам печки, к кирпичам, и с удовольствием поворачиваемся то одной, то другой щекой к открытой дверце, из которой пышет жаром.

Иногда я задумчиво гляжу в зеву печки. Мне нравится смотреть на оранжево-желтое пламя, вьющееся над рубиново хрустальными поленьями дров.

И в моей груди загорается что-то таинственно - волшебное, непонятное, но тревожное, радостное и возвышенное.

А в это время резкий голос Клавки Ворковой выводит меня из оцепенения. Она кричит Шурке Цепляевой:

- А ну, снимай валенки и давай мне. Я пойду в них покатаюсь.

Валенки были только у Шурки Цепляевой, и хлеб тоже.

Она беспрекословно подставляет ноги Клавке и та бесцеремонно стягивает валенки с нее и натягивает их на свои ноги. Затем уже, как само собой разумеющееся, молча, берет ее платок и пальто и выбегает во двор школы.

Там раскатана длинная ледяная дорожка. Клавка с разбегу мчится по ней, как ветер, задорно хохочет и жует мерзлый кусочек хлеба, который попался ей в кармане пальто

Шурки, когда она гуда сунула руку. И как не смеяться от двойного удовольствия: покататься на мягких валенках — это тебе не рваные ботинки с кривыми каблуками, на которых спотыкается на каждом шагу, того и гляди вывихнешь ногу, а тут широкая подшитая подошва — тепло, смешно и хлебушек во рту.

Мать Шурки Цепляевой работает в пекарне. Само собой понятно — хлеб жуют и сыты бывают. Тетя Тоня Цепляева — хитрая женщина. Умеет подластиться к начальству и поступить на выгодную работу. Да и как не быть такой? Четверо детей без отца, их кормить надо. А кормить трудно одной в этот голодный 1933 год. Вот и пошла она с поклонами к председателю и коменданту. Говорят, они отказывали ей, не хотели ставить на работу в пекарню. А она упала

на колени перед ними, зарыдала и стала молить их, как бога. Пришлось им согласиться. Не выгонишь же женщину, стоящую на коленях, за дверь.

Теперь наша одноклассница Шурка Цепляева, хоть и без отца, но самая сытая, самая одетая (за хлеб все можно купить — и пальто, и валенки) и самая толстая. Вернее одна толстая.

Пока боевая Клавка Воркова катается в ее валенках и жрет ее засохшую горбушку, одна Шурка Цепляева степенно достает из холщовой сумки другой ломоть хлеба, не засохший, свежий, мягкий! И, не обращая внимания на наши всепожирающие взгляды, следуемые только за ее ломтем хлеба (сытый никогда голодному не понимает), спокойно идет к печке, прикладывает ломоть к плите мягкой стороной и ждет, пока поджарится корочка, тогда она приподнимает ломоть и с удовольствием хрустит поджаристой корочкой.

А мы все смотрим на нее и глотаем слюнки.

Но тут внезапно врывается Клавка Воркова — раскрасневшаяся, с распахнутыми полами пальто и с разметанными черными кудрями, с блестящими дикими глазами. Она с разбегу скидывает валенки так, что они летят чуть не к потолку, и падают где-то за столами и скамейками. А она стремглав как вихрь подскакивает к нашей гурьбе и увидев эту неподвижную сцену, как в комедии Гоголя «Ревизор», наши открытые рты, остекленевшие, просительные глаза, направленные в одну точку, восклицает:

- А-а-а, вот в чем дело! Быстро выхватывает из рук Шурки ломоть, откусывает от него порядочный кусок, а остальное разламывает на несколько частей и отдает нам, говоря при этом:

-Всем по немного.

Шурка Цепляева недоуменно моргает белесыми ресницами, как у поросенка, и... молчит. На ее лице появляется что-то наподобие оскорбленной гримасы, но никто не обращает внимания, и вообще не замечают ее, а вкусно жуют, каждый смакует этот крошечный кусочек хлеба, как конфетку.

Раздается звонок, возвещающий начало урока, и мы, как горсть пшена,

рассыпаемся по классу и садимся по своим местам. Входит Николай Иванович Карягин. Наш первый учитель. Славный человек. Очень добрый, любит и жалеет детей. Я даже, даже до сих пор не могу представить ноту его голоса, если бы допустить, что он закричал на нас. Голос его всегда тихий, мягкий, успокаивающий, ласковый. Нам было всегда хорошо с ним. Он был для нас вторым отцом, даже порой лучше, чем допустим наш отец. Мой папа мог накричать на нас, его детей, а иногда и дать подзатыльника.

Николай Иванович же был настоящим отцом всех детей. Он любил нас послушных и озорников, отличников и неуспевающих, девочек и мальчиков всех возрастов, и очень разных по своему характеру.

Всю жизнь я благодарна своему первому учителю Николаю Ивановичу Карагину. И помню его всегда, хотя уже его, наверное, сейчас нет на свете. Но память о нем останется у нас - его учеников на всю жизнь.

На его уроках всегда полная тишина. Мы даже разучились кричать, и не представляем себе, как это можно делать, когда рядом Николай Иванович. Хотя на переменах мы становились сами собой — бегали, прыгали, кричали. Но на уроках — шалишь. Никто и не помышляет произнести ни слова без разрешения Николая Ивановича. Мы сидим за своими огромными (на весь класс) длинными столами, на высоких (не по росту для наших малюсеньких, коротеньких ног) скамейках. Ноги наши не достают до пола и болтаются в воздухе.

Сидим как замороженные и все внимательно слушаем Николая Ивановича и выводим первые каракули в своих тетрадках карандашами.

Но вот среди полной тишины, в конце второго урока вдруг раздается какое-то тяжелое сопение и маленький человечек, перевязанный веревочкой, как веник, с кряхтением открывает дверь, втискивается в нее и прямым сообщением идет к Николаю Ивановичу, и становится перед ним, обратившись лицом к нам, и снимает шапку.

Мы все разом вскидываем головы от тетрадок, смотрим на него и не можем удержаться от смеха.

Фигура мальчика, стоящего впереди — фантастична: пальтишко рваное, заплата, перевязанное веревочкой, раздулось на груди и ниже пояса. Из-за пазухи и карманов торчат кочерыжки капустных кочанов. Это Ленька Коновалов — известный опоздальщик. У них в семье нет мамы, она умерла от голода. Они остались втроем: отец, он Ленька и младшая сестренка Маня. Отец, дядя Афоня — великан человек, встает чуть свет и отправляется на работу' — рубить лес. Поэтому завтрак готовить некогда и не из чего. Ленька за мать. Он отводит сестренку в садик, а сам бежит на колхозный огород, где в этом году у реки разработали немного земли и посеяли турнепс и капусту, брюкву и репу.

Сейчас уже уборка, вот и пользуется мальчишка кое-чем. Есть что-то надо. Если в доме есть женщина, то она хоть какую-нибудь пустую похлебку сварит, или чаю согреет. А у них нет такой женщины. И если отец и вскипятит чаю, то он остынет, пока дети проснутся.

Вот и промышляет Ленька. Хоть и гоняет за ним злой и вредный Князек, так называем сторожа огорода деда Князева, но голод, как говорят, не свой брат и вновь гонит он Леньку Коновалова утром на огород. И получается так, что вместо того, чтобы попасть вовремя в школу, он в это время оказывается на «капусте», а потом уже в школе...

Мы смеемся от души. А Николай Иванович выждав время, говорит нам:

- Ну, дети, посмеялись и хватит. А теперь за дело...

И мы все наклоняются к своим тетрадкам.

А он, обратившись к пунцовому лицу Леньки, тихо так советует:

- Ты, Леня, постарайся как-нибудь приходить пораньше, а то что это за безобразие — ко второму уроку! Стыдно вато как то получается, правда? И ребята вон смеются.

И видя, что у Леньки уже капают слезы, скороговоркой утешает:

- Ну не плачь, не плачь, я ведь тебя не ругаю. Садись и быстренько принимайся за работу.

Не так-то быстро Леньке можно приняться за работу. Надо освободить

карманы и грудь

от кочерыжек и сложить все это богатство в стол, чтобы потом можно было писать. А на перемене угостить всех своим лакомством, да и Мане оставить.

Но Николай Иванович не торопил его. Напротив, обернувшись к доске, некоторое время, молча, писал и как бы не замечал, как Ленька пыхтел, кряхтел, освобождаясь от своего груза. И спустя порядочное время только принимался за дело. Иногда это получалось, как говорят к «шапочному разбору». Звенел звонок, возвещал об окончании урока.

- Странные явления случались не только с Ленькой Коноваловым, а почти с каждым первоклассником в первые дни. Хотя они и не были похожи друг на друга.

Необыкновенное происшествие произошло в ту пору и со мной. Так, просидев однажды три урока подряд тихонько и смирнехонько, я вдруг на четвертом уроке, ни слова не говоря, поднялась со своего места, взяла холщовую свою сумочку и пошла к двери. Многие даже не заметили этого, так как писали. Но Николай Иванович заметил и следил, что будет дальше? И только тогда, когда я потянулась рукой к высокой ручке двери и взяла ее, спросил обыкновенным голосом:

- Люся, ты куда идешь?

Я ответила, утирая вспотевшей ладошкой лицо:

- Устала. Хочу домой.

Некоторые ребяташки засмеялись, другие смотрели с любопытством. А Николай Иванович улыбнулся и сказал:

- Совершенно верно, ты, Люся, устала. Я этому вполне верю, а потому сядь, отдохни немного — не спеши. А вот кончится урок — и мы все пойдем домой. Вместе. А во время уроков одной уходить нельзя.

С тех пор я поняла, что домой из школы можно уходить только после уроков, а не тогда, когда захочется. Так появилось в сознании понятие — обязанность, коллективность, долг.

ГЛАВА 23.

НОВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ В ЖИЗНИ - КИНО

Ура-а-а! В поселок привезли, чтобы вы думали? КИНО!

Но чтобы посетить это кино нужен пятак! А пятаков, как известно, в то время у колхозничков кот наплакал.

Ане и Ване, как старшим, папка как-то наскребет. А мне малышке — шиш.

- Успеешь еще, — говорит он, хмуря брови, — насмотришься этих кино в своей жизни, а пока мала, и пятаков у меня больше нет.

Да, довод резонный, и спорить не приходится.

Денег нет у меня «ни копя», как выражались мальчишки, а посмотреть кино хочется. Ведь я его никогда не видела. Что это такое — представить не могу. Ах, какое это, наверное, диво и блаженство!

Пошли Аня с Ваней в Клуб, и я за ними на некотором расстоянии «как хвостик». Пришли.

В клубе продают билеты. Детский — пять копеек, взрослый — пятнадцать копеек. Девки и парни, конечно, покупают. Школьники постарше, как Аня и Ваня, тоже. А мы, малыши, крутимся возле них, слюнки глотаем.

Наконец билеты распроданы. Начинается проверка. Всех попросили из зала в коридор.

А оттуда будут впускать по билетам.

Особенно рьяно гонят нас, детвору. Заранее знают, что малышня безбилетная.

А пожилые и семейные люди: женщины и дяденьки уселись на скамейках, их даже не просят к выходу (тогда было некоторое уважение к старшим со стороны обслуживающего персонала, не то, что сейчас). У них проверяют билеты комсомольцы. Ходят вдоль рядов и смотрят. Ясно, кто без билета, на скамейку не сядет.

Я увидела недалеко от себя тетю Наташу Амочаеву и тетю Шуру Ивлеву, сидевших рядом. И у меня созрел план.

Быстро нагнувшись, я побежала к ним и попросила:

- Тетечки, Наташа и Шура, я залезу под скамейку, а вы меня прикройте юбками, спрячьте, у меня нет билета, а так хочется кино пос...

Я недоговорила, как тетя Шура, отодвинувшись и чуть приподнявшись быстро шепнула:

- Хоронись быстрее и сиди там тихонько...

Я юркнула к ним под скамейку, загородилась от внешнего мира их длинными, широкими юбками и замерла... в ожидании контроля.

Но все обошлось на мое счастье благополучно. Комсомольцы проверили билеты у тетечек и ничего не подозревая прошли дальше. Я увидела, как две пары ног, обутых в валенки — одни поменьше и поаккуратнее — девушки, другие побольше, как полозья саней, подшитые, с загнутыми носами — парня, проплыли у меня перед лицом, чуть не задев меня широкой пяткой по губам, и удалились в сторону дверей...

Слава аллаху! Пронесло.

А я все еще сижу под скамейкой и дышу запахом юбок, резиновых калош, одетых, на валенки, и жду, когда погаснет свет керосиновой лампы у дверей и начнется еще не испытанное в моей жизни волшебство — кино...

Погасло. И затрещал аппарат...

Я довольная, вылезая из своего странного убежища, шепчу тетечкам:

- Спасибо.

И пробираюсь на четвереньках вперед, где уже расположилась на полу перед скамейками билетная детвора и сажусь на корточки рядом с кем-то. Никто не обращает на меня внимание, так как все взоры устремлены на экран — и я туда же гляжу.

Это было первое мое необыкновенное наслаждение, которое я еще никогда не испытывала и не представляла и не могла представить и вообразить таким коротким отрезком жизненного пути. Я не помню названия этого первого кино, возможно еще и потому, что не могла еще так быстро читать, так как окончила

только первый класс. А немое кино в деревне гнали быстро, чтобы закончить поскорее и ехать в другую. Зато содержание помню до сих пор. Едет толстый купчина на тарантасе через мост, пьяный, развалился, разгубастился; а тарантас колыхается, подскакивает на ухабах и кочках. Подпрыгивает и туша купца, чуть не вываливается. Но не вывалился купец, а выпал у него из кармана толстый кошелек и упал на дорогу.

А позади него плетутся поп с монашкой по той же дороге, молятся господу богу и как видно, поют молитвы, шевелят губами, славят Христа.

И вдруг на пути... тугой кошелек денег.

Как кинутся к нему оба. Поп и монашка ухватили его и тащат каждый к себе. И пошла потеха. Угощает друг друга тумаками, таскают за волосы, рвут в клочья одежду...

Мы, детвора, сидящие на полу впереди всех, помирали от смеха, а мальчишки некоторые катались по полу.

Впоследствии, встав более взрослой, я осмыслила этот факт пропаганды: чтобы вызвать у людей, особенно у детей, отвращение ко всем верующим и особенно к попам и монахам.

Во второй раз не оказалось знакомых тетечек. И меня со всей детворой поперли в коридор. У дверей проход сузился, и началась давка. Мы толкали друг друга локтями и шумели.

Вдруг у самой двери, слева от нее, впритык оказался стол. Тот самый стол, с которого продавали билеты до кино. Сейчас около него нет никого. И он явился только помехой па пути следования крикливой детворе. Меня придавило к нему боком. И я, чтобы избежать боли нагнулась и... очутилась под столом, где было просторно, и никто не топтал мне ноги. Оказывается здесь можно посидеть. Я пододвинулась дальше в дальний угол и замерла. Пока толкутся люди в проходе тут можно и отдохнуть немного. Я села, притихла и не шевелилась.

Мимо мелькали и мелькали детские ноги в потрепанных башмаках и валенках, грубых ботинках. Ага! А вот и знакомая пара серых валенок Шурки

Цепляевой с заплатами задниками и носками. А вот еще с оторванным каблучком ботинки Ленки Коновалова, еще пара со стоптанными подошвами Кланьки Ворковой... — шествует к выходу своя братва.

А я сижу в уголке — теплый комочек под большим столом и меня совершенно не видно. Какое счастье! Еще раз увижу кино! И верно. Все обошлось как нельзя лучше.

Протолкалась последняя партия детей в коридор. А за ними несколько взрослых подошли к двери и начали впускать теперь уже из коридора в зал по билетам. И началось обратное движение ног — интересная картина: шагают только ноги одни за другими, как в сказке. Я усмехнулась себе и сказала: «Вот и еще одно кино!»

Свет погас. И началось волшебное шествие фигур по экрану.

Я тихонько вылезла из своего укрытия и присоединилась к зрителям. Все обошлось благополучно.

После этого я некоторое время не холила в кино, думала: «Удалось два раза посмотреть кино, а в третий раз еще попадешься».

Можно немного перегадить. Не всегда же такое счастье бывает.

О своих приключениях я ни с кем не поделилась. Даже маме не рассказывала. Если узнает хоть один человек, то станет известно многим, и тогда меня могут подстерегать неприятности.

Я еще с детства усвоила эту аксиому.

Но вот прошло некоторое время, и в кино опять захотелось. А пятаков так и нет. Что делать?

Пошла так, как говорят, просто поглядеть на публику.

И вот я опять в зале клуба.

Гуляю, встречаю знакомых девчонок — своих подружек, перекидываюсь с ними словечками, а глаза косят по сторонам, ищут, где бы спрятаться, чтобы опять, как когда-то, посмотреть единственную отраду в жизни — КИНО!

И вдруг... мой взгляд останавливается на... печке, высокой голландке, с

левой стороны от входа, она заслоняет свет от лампы, а за печкой — полумрак, почти ничего не видно. А рядом с печкой, на расстоянии 30 сантиметров от нее, — такой же высокий шкаф в еще большем полумраке, так как он черный и почти не просматривается. Подойдешь к нему, станешь рядом, и почти не видать тебя, малышку — твоя маленькая фигурка сливается вместе с ним.

А тут и шмыгнуть недолго за него — между печью и им. Только и видели!

Недолго думая, пока толпился народ в зале, я быстро юркнула в пространство между печью и шкафом, и... О! Счастье! Шкаф неплотно был пристален к стене, так как за ним находилась вторая дверь, ведущая из зала, которая была заперта. И порог не давал возможности стать шкафу вплотную к двери. И таким образом там было удобное местечко для такого зайца, как я.

Я протиснулась подальше и, присев на корточки, затихла.

Боже мой! Какое блаженство!

Какое чудесное местечко! Прямо как Богом посланное для меня! Такого укромного и скрытого от глаз контролеров укрытия мне и не сыскать.

Рай да и только! Сижу себе спокойно в тесном уголочке, как мышь, и никто меня здесь не найдет. Никакой контролер не додумается меня здесь обнаружить.

Успокоилась от прошедшего волнения и радости, и мне стало жарко. Распахнула пальтушонку и млею от удовольствия. Свет погас. Я быстренько выбралась из укрытия и снова посмотрела фильм.

Но... однажды случилось невероятное.

Ну вот опять, как прежде, в один из вечеров я снова забралась также в свою '«келью» за шкафом и сижу, мечтаю, жду, когда же, наконец, начнется фильм. Этот укромный уголок не раз служил мне службу в просмотре «зайцем» новых фильмов.

Вдруг... за шкаф просунулась... о! Ужас! —большущая рука. Кто-то, пыхтя и сопя, полез за мною, чтобы схватить меня, эту кроху за воротник и вытащить на свет божий... Я вся сжалась от страха и с замиранием сердца зажмурилась.

Жду с покорностью, когда меня, как проказливого котенка, схватят и

выставят позорно на свет. Но слышу, что огромная фигура втиснулась и почему-то замерла.

Что такое? Почему меня никто не трогает? Любопытно. Осторожно открываю правый глаз и смотрю на пришельца.

О! Комедия! Незванный «контролер» сидит возле меня, тоже на корточках и пыхтит. Рваный треух, рваная фуфайка. Видать, такой же «заяц», как и я. Только по величине на зайца не похож, скорее, на целого теленка смахивает. Приглядываюсь. Ба-а-а! Да это Анатолий Тугарев пятнадцатилетний парняга. Отец у него скряга, хотя деньги и есть. Парень уже работает в колхозе, как взрослый, а батюшка ему тоже пятаков не дает. Вот и пришлось, бедолаге, как и мне, прятаться, чтобы посмотреть кино.

Я тихонько шепчу:

— Двигайся ближе, Толька, а то торчишь из-за шкафа.

Толька вздрогнул от неожиданности, он меня не заметил, и испугался. Затем послушался и придвинулся:

— Это ты. Люся?

Я. Тише, и приложила палец к губам.

Но как Толька не двигался, все равно рука у него торчала из-за шкафа, и ее заметил контролер. Настоящий. И потянул его оттуда за эту руку. Не повезло Тольке. Жаль парня. Я думала, за ним и меня потянут. Но комсомолец не догадался, что там еще один безбилетник — не мог подумать, что за шкафом уместились двое, а не один. И я, как и прежде, осталась незамеченной. И смотрела потом картину.

Бог хранил меня и на этот раз.

Но счастьем моему все-таки пришел конец. Прихожу на следующий раз в клуб, чтобы опять посмотреть кино, а шкафчика моего на месте нет. Переставили куда-то в другую комнату, чтобы не прятались за него.

Приуныла я. Брожу, как отрешенная по залу, знаю, что теперь уже кино не посмотрю. А уходить не хочется. Встречаю своих подружек: Надю Малышко,

Нюру Крылкову. Разговариваем. Я смотрю на них и думаю: «Вы-то попадете в кино, а я — дудки». У Нади Малышко мама служит уборщицей у коменданта, и в колхозной конторе. Кое-какие деньжата ей перепадают. У Нюры Крылковой родители обеспеченные. Им постоянно приходят посылки с родины с продуктами и барахлом, которые они продают в коми деревнях, и Нюрку наряжают, как куклу. Она единственная у родителей. А нас, вон сколько ртов, и посылок нам никто не шлет. Некому слать — на родине одна сестра, и та еле перебивается. Ведь все у нас отобрали. Какие уж тут посылки!

Кинемеханик молодой, по национальности кодой. Гармонист. Перед началом кино играл вальсы. Девки с парнями танцевали. Подростки вертелись около него — этих кинемеханик пускает без билетов, так как они крутят «нужду» — динамо во время фильма.

Но вот кинемеханик растянул меха и заиграл плясовую. И вдруг объявляет: кто из детей будет плясать, пустит в кино бесплатно.

А никто не выходит. Все стесняются. Стыдятся. Да и плясать — нет причин для радости. Жизнь - то какая?

Я так, тихая, смирная девочка, тоже при народе одна плясать не буду, хоть и нет у меня пятака. Хоть танцы мне нравятся. И вдруг вижу, идет ко мне Нюра Крылкова и улыбаясь, говорит:

— Пойдем, Люся, спляшем.

Ну, думаю, была не была: вдвоем, все-таки, не страшно. Пойдем. И пошли. И запрыгали. Руки в боки и давай тра-та-та! Удивились взрослые. Особенно тети: вот дают кнопки! И кинемеханик хохочет от души и похваливает нас. И, конечно, пустил нас с Нюрой в кино бесплатно: «Это, говорит, теперь мои маленькие артистки!»

Так появился у нас с Нюрой Крылковой новый взрослый друг, кинемеханик. Целых почти два года пускал он нас с Нюрой в кино за наши пляски бесплатно. Ну и мы старались на славу. К каждому новому его приезду готовились, как к выступлению на сцене. Выдумывали «па» — коленца всякие,

чтобы удивить взрослых и угодить нашему киномеханику. «Совершенствовались», и, надо сказать, успешно: научились танцевать за два года так красиво, что каждое наше выступление встречали бурными аплодисментами.

Но скоро (в третьем классе) наше представление окончилось. А случилось это так...

Прихожу однажды в школу морозным солнечным утром, только что поднялась со ступенек на крыльцо, а навстречу бежит Нюра Крылкова и, смеясь, говорит:

— Скорей, скорей, посмотри, как нас нарисовали, — и тянет за рукав к стенке.

— Нарисовали? — спрашиваю растеряно я. — Где?

— А вот, полюбуйся, — и опять смеется.

Я подхожу. Оказывается в... стенгазете. Мальчишки от зависти нарисовали нас в стенгазете, как мы пляшем с ней перед фильмом, чтобы попасть в кино бесплатно. Это они осудили.

Нюра Крылкова все смеялась. А я, молча, сосредоточено разглядывала наши разукрашенные цветными карандашами пляшущие фигурки в стенгазете, и обида, и боль горячей волной подкатила мне к горлу. Я неутешно заплакала, что очень удивило Нюру. Она стала меня успокаивать, но безуспешно. Я поняла — пришел конец. Больше кино не увижу. И ушла из школы домой. В этот день я не могла быть в школе.

Вечером я рассказала всю историю маме. Папы дома не было, его в эту зиму послали в лесопункт, починить обувь лесорубам.

Мама выслушала меня и сказала:

— Не обращай, дочка, на это внимание. Ничего зазорного и позорного нет. что вы танцевали с Нюрой. Вы честно зарабатывали вход в кино. Вон артисты получают ведь зарплату за свой труд. А что вы плясали, так это тоже труд. Мальчишки просто от зависти так сделали. А что сказал Николай

Иванович?

— Его нет. Он уехал в район.

— А-а-а! Вот мальчишки и воспользовались его отсутствием и нарисовали вас. А он бы не разрешил это сделать. Так что ничего не бойся, никто вас за это не накажет. А если мальчишки будут приставать, то скажите с Нюрой Николаю Ивановичу. Он их поставит на место.

Я была согласна с мамой во всем, но все-таки в школу на другой день шла, как подневольная, с большой неохотой. Мне казалось, что стоит мне войти в класс, как все мальчишки встретят меня смехом.

Но получилось совсем наоборот. Лишь только я появилась в классе, девчонки гурьбой обступили меня с Нюрой Крылковой и наперебой стали шепотом рассказывать, что Николай Иванович приехал еще вчера к вечеру, собрал всю редколлегию и спросил с тех, кто осмелился нарисовать на нас с Нюрой карикатуру. Он, как и положено, представлял полную самостоятельность редколлегии в выпуске газеты, но под его контролем. А в этот раз он уезжал в район, газета вышла без его просмотра.

Девочки сказали мне, что ребятишкам «здорово влетело за это». И что, дескать. Николай Иванович сказал, неправильно поступили мальчишки, что нарисовали нас и этим обидели.

Как уж там было, не знаю, только мальчишки не смели больше отпускать в наш с Нюрой адрес колкости и насмешки.

— Язычки прикусили, — сказала, довольная Нюра.

Только моя художественная самодеятельность, да и Нюрина, на этом закончилась. Танцевать мы больше не стали, и в кино ходить перестали. А киномеханик был в недоумении: куда пропали его девочки-танцовщицы? Ведь мы после этого каверзного случая с полгода не появлялись в кино. Но затем и киномеханик приехал другой, и мы стали взрослее, и приходили в кино с билетами.

ГЛАВА 24

ПОСЕЛОК УСТЬ-КОИН И ДРУГИЕ ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЛАННЫХ

Ваня, братик, и сестренка Аня окончили начальную школу ускоренным методом и осенью 1934 года поступили в 5-й класс Усть-Коинской семилетней школы. Поселок Усть-Коин находился севернее нашего, на реке Вымь, за 12 километров.

В этот поселок были высланы русские люди еще раньше, чем мы, в 1929-м году. с самого образования колхозов, такие поселки были обоснованы и в 1929-м году и в других местах. Так, поселок Ветвью, расположенный от нас за 28 километров вниз по реке Выпь, состоял из немцев с Поволжья и украинцев. Вверх по течению река Едино, за 40 километров от нашего поселка, раскинулся поселок Мещера. А к северо-востоку от нашего Божьодора, по направлению к Ухте, расположился поселок Вожаель. Все эти поселки были построены руками высланных, несчастных людей, именуемых кулаками.

В каждом поселке, как и в нашем, за время выселки и голодов 1932-1933 годов умерли десятки, сотни тысяч детей, стариков, пожилых и молодых людей. Из каждого поселка, как и из нашего, в 1934-1935 годах в связи с репрессиями увезли по несколько сотен мужчин молодых, которые, как говорят, как в воду канули. Никто о них потом не получил ни одной весточки: значит, их уничтожили дяди с кобурой на поясе.

Но репрессиям в те времена не было конца. Вокруг каждого поселка с каждым годом все больше и больше образовывались десятки лагерей заключенных. Они, эти лагеря, росли, как грибы. Лагеря заключенных организовывались без конца, все дальше и дальше в тайгу и тундру, уже за сотни километров от наших поселков. А в каждом поселке кроме коменданта были еще прикомандированы мужчины-военные, в обязанность которых входило ловить бежавших заключенных. Такими уполномоченным у нас в поселке был например АНДРЮЩЕНКО. Фамилию одного коменданта, который у нас был на поселке, я тоже запомнила — САВИН. Его я запомнила потому, что он был гораздо

человечнее, чем другие коменданты, менее истязал наших родителей. А остальных сволочей, подлецов фамилии не запомнила.

Помню только, что одного за старость, а вернее за неухоженный вид, звали дед Мишка. Второго — очень бесчеловечного палача-коменданта — к нам перевели во время войны из поселка Вожаель. Фамилию его я вспомнила — ЧЕРНИКОВ. Ох и зверь был. Однажды, мальчишки из крайнего дома к лесу, Митька Куркин и другие, шли из леса к дому под вечерок и по детской глупости не пошли вокруг по дороге, а наметили более прямой путь к дому, благо он был виден, прямо через озимую рожь т. е. по полю. На беду в это время по дороге на своем лихом коне ехал комендант. Увидел, как дети идут по озимым, выхватил пистолет и стал в них стрелять, крича при этом всякие ругательства. Из крайнего дома выскочили на выстрелы взрослые, в том числе оказались и родители Митьки, мать, рыдая, бросилась навстречу сыну, крича в сторону коменданта: «Не стреляйте в детей!.. Убейте лучше меня! Богом прошу!.. » Комендант совсем озверел и направил пистолет на мать... Тут мужчины бросились к коменданту. И комендант, испугавшись, как бы не смяли его персону, засунул свою «игрушку» в кобуру. И приказал родителям и детям, которые шли по полю, явиться сию же минуту в комендатуру. Там, рассвирепев, обещал посадить в тюрьму и тех и других. Заявив при этом, что факт вредительства налицо: дети умышленно пошли по озимым, чтобы их вытоптать. Вот так в те времена быстро приклеивали ярлык: «вредитель», «враг народа» даже детям. Не верите? Приведу еще один пример.

Когда я училась в седьмом классе, будучи уже в подростковом возрасте, нас однажды под какой-то праздник попросили учителя убрать помещения. Каждый свой класс. Ну, вот мы, девчонки и мальчишки, убираем и песни поем. И вдруг прибегают девчонки из соседнего 6-го класса, испуганные, потрясенные, бледные от страха, и наперебой рассказывают, что у них сейчас стряслась беда. Один из мальчиков, по национальности немец, нечаянно задев плечом портрет Сталина, свалил его на пол. Портрет упал и разорвался в одном месте, так как рамка была без стекла. Вот как тогда жили: стекла для «вождя народов» не находилось. И

вставляли одни портреты в рамки. Ну вот, портрет разорвался, все произошло, конечно, произвольно, без какого-то умысла. Но мальчика арестовали и вскоре осудили на восемь лет тюрьмы. Настоящей тюрьмы, не каких-то там детских колоний. Так и отсидел мальчишка восемь лет от звонка до звонка. И вернулся в поселок Ветвью. Работал трактористом и погиб трагически. Вот ведь какая несчастливая выпала ему судьба. Весной, когда снег и лед были не так крепки, председатель колхоза приказал перегнать трактор для весеннего сева на гот берег через реку Вынь. Этот паренек предупредил председателя, что лед уже не крепок и трактор может провалиться. «Я-то выскочу, а вот трактор потонет». Но председатель не принял во внимание серьезную опасность. И трактор, действительно, провалился, и тракторист не успел выскочить. Тоже погиб. Трагедия второй раз настигла бедного юношу, таков конец угон повести печальной.

Но вернемся к нашему дальнейшему рассказу.

И так, мой братишка и сестренка поступили в семилетнюю школу поселка Усть-Коин. Папа пешком отвел их туда. Немудрящий багаж они несли сами, а небольшой мешок — узкий, подлинный — четыре ведра картошки, папка отнес им на плече, за 12 километров. Вот такое мучительное путешествие.

После колхоз выделил лодку, и еще отвезли им харчи на осень до зимы. Зимой на лошадях будут возить продукты по речной дороге. Ребят поселили там в общежитии.

Они сами кололи дрова, сами топили печи, варили, стирали, мыли полы, убирали. Никаких уборщиц и рабочих для общежития не давали. Готовили уроки, вечером ходили в библиотеку, брали художественные книжки читать. Посещали иногда, когда заводились пятаки, кино.

Помню, как с упоением они, Аня с Ваней, рассказывали мне содержание кино «Красные дьяволята», которое сейчас, спустя много десятков лет, назвали уже «Неуловимыми».

Несмотря на тяжелую жизнь, дети не потеряли чувства юмора. По вечерам,

когда вся детвора, подготовив уроки, отправлялась погулять, покататься на санках, лыжах или в библиотеку, кино, дежурный по комнате, управившись с делами, с тайным «ехидством» (дескать, гуляйте, гуляйте, я вас встречу) готовил им сюрприз: наряжал поленья дров в девичью одежду, получались куклы, одетые в платки, фуфайки, обутые в валенки. С распростертыми руками он ставил их вдоль стены у двери на проходе. А в переднем углу поместил воина в треугольной наполеоновской шляпе из газеты и с топором в руках.

Возвращались дети. Заходили в комнаты, чиркали спичками. Так как дежурный спал в окружении такой «стражи». В испуге девчонки наступали на ноги куклам и орали до безумия. Куклы падали на них, гремели своим деревянным скелетом, а девчонки вопили еще пуще. Тут на помощь прибегали мальчишки из других комнат, но увидев стража с топором в переднем углу, тоже бросались на утек. Пока кто-то похрабрее не подходил смело к этому воину и не хватал его за сосновое горло.

Спектакль был окончен. Детвора хохотала до слез.

ГЛАВА 25.

НАШИ ДОМАШНИЕ ЗАБОТЫ

Когда Аня с Ваней учились в 5-м классе усть-коинской семилетней школы, я перешла во второй класс. Беру уже книжки из школьной библиотеки. У меня есть свой ученический уголок: маленький столик, который сколотил отец, и книжная полочка для учебников и тетрадок. Учителя ходят, проверяют, чтобы у каждого школьника был свой уголок, где можно заниматься.

Мы, детвора, после уроков и в летнее время ходим за ручей в лес за дровами. Ручей рядом, спустишься с горы, и вот он бежит, журчит, по камушкам перекачивается. Вода чистая-пречистая, как слеза. И трава осот кивает нам своими метелками. Весной в некоторых местах даже незабудки появились с маленькими голубенькими, крохотными венчиками цветов. А за ручьем, вправо,

гороховое поле. На этот горох мы иногда делаем набег. Ах, какие пузатые, вкусные стручки! Просто объедение!

Мы берем маленькие топорики, специально сделанные родителями для нас, еще прихватываем по веревочке и отправляемся за ручей. Там много сухих пней. Когда строили поселок, рубили лес. и вот от широких пней рубим дрова, получаются сразу готовые сухие поленья. Смолистые полешки горят, как свеча. Особенно, хороши лиственные, какие-то красновато-оранжевые, с кипучей смолой по бокам. Бросишь в печку такое полено — вспыхивает, как факел.

Люблю смотреть в горящую печку, на жаркие, смолистые дрова, которые после горения превращаются в ХРУСТАЛЬНО-РУБИНОВЫЕ СРУБЫ КОЛОДЦЕВ.

Смотрю, и в глазах моих появляются розовые отблески. И мечты плывут и плывут в голове...

Сегодня мы не пошли за дровами за ручей, а полезли под свой дом, в подвал. Там осталось много всяких дров после стройки: щепы, круглых дисков, отпиленных от разных деревьев, как колеса, всех размеров, палки, доски.

Это Верка Желудкова первая туда сделала разведку, а мы за ней. Ох и прокудная эта девка. Верка. Вся в мать, проныра. Из-под земли все достанет. И точно, из-под земли. Кто же мог додуматься, что в подвале столько дров. Конечно, только Верка-проныра. Недаром ее мать, тетя Маша, такая попрошунья. В голодный 1933-й год кто из соседей получит посылку с родины, она обязательно явится к ним и что-либо выпросит для своих ребят. Никто в поселке кроме нее никогда ни к кому не ходил просить, а Желудкова тетя это делала.

Женщины рассказывали еще такой случай. Пошли они гуртом в коми деревни в голодный год менять одежду на продукты. Поменять не поменяли, видят, в одной деревне идут похороны. Умер какой-то дедушка. Они туда. Посмотреть. Зашли в дом посмотреть да погреться. Дело было в холодную пору. Посмотрели, погрелись — пора уходить. Скоро покойника будут выносить. Смотрят, а тетя Маша Желудкова пробирается в передний угол. Подходит к

родственникам покойного и говорит:

— Можно мне поплакать над дедушкой? Извините, хоть я и чужой человек, а жалко мне дедушку, как своего родного отца, — а у самой уже слезы на глазах.

Родственники дедушки, дочери, сыновья обняли тетю Машу Желудкову и говорят:

— Плачь, плачь, добрая женщина.

И запела-заплакала тетя Желудчиха, да так хорошо стала причитать! А голос у нее такой красивый! Вообще казачки очень трогательно оплакивают умерших. Особенно те, у которых голос красивый. Вот и у тетечки Маши Желудковой такой оказался:

— И милый ты мой, дедушка! Тебе бы жить да поживать, а не здесь лежать, в переднем углу, да под святыми иконами... И куда ты, мой родной, собрался, в какую путь-дорогу снаряжался... И на кого покинул ты нас, отец ты наш...

После похорон родные дедушки хорошо покормили всю гурьбу наших баб и в дорогу продуктов надавали, особенно одарили тетю Машу.

Дровами из-под дома мы пользовались целых полмесяца. Затем запасы истощились, и мы снова отправились за ручей. А там и горошком побаловались.

Раз вечером зашли на горох с Валею Лавреновой. с дальнего конца, от леса, через болото большое пришлось идти. Прилегли в кустах, жуем гороховые стручки. Смотрим, идет вдоль поля сторож и тоже держит в руках охапку гороха. Лакомится стручками. Идет вольготно, развешаются полы его фуфайки, кепка сбита набекрень, морда толстая, небритая, красная — отъелся дед на горохе. Шаровары широкие, как у хохла-запорожца, вправленные в кирзовые сапоги, шагает не спеша, в развалочку и что-то мурлычет себе под нос.

А мы с Валею лежим в горохе и еле дышим... Нам бы лежать и лежать, он бы нас не заметил, этих крох в зеленом море гороха. А мы. глупые, вскочили и побежали. Летим назад, в болото, в лес. Бросили свои охапки гороха и деру.

Он за нами. Но где там догнать ему этих быстроногих молоденьких козочек! Мы, как зайчата, прыг с кочки на кочку — и были таковы! Далеко, позади, остался дед. Жаль, что ни стручка гороха не принесли домой. Нечем было угостить родных.

ГЛАВА 26.

МАЛЕНЬКАЯ ХУДОЖНИЦА И ЮНЫЙ КОНСТРУКТОР

Моя русая, синеглазая сестренка Аня повзрослела и стала отлично рисовать. Ее изумительными цветами, портретами я восхищаюсь. Она завела альбом и записывает туда любимившиеся ей песни, затем ей пишут туда, в этот альбом, стихи и всякие пожелания подружки, а она перемежает эти послания своими прекрасными рисунками и удивительным и пейзажам и.

На одной из страниц я увидела нарисованный дом с палисадником и цветами в нем, с воротами, у окон ставни. Я таких домов еще не видела. У коми или у нас в поселке совсем другие дома. Сам дом покрыт соломенной или камышовой крышей, а на окнах тюлевые занавесочки. Оказалось, Аня нарисовала наш дом, который остался на родине. Дом стоит на берегу озера. И я начинаю припоминать, как сквозь туман, что-то подобное. В последствии и я научилась неплохо рисовать.

Я учусь в начальной школе, а Аня с Ваней — семилетке, теперь в новом поселке, на юг за 28 км от нашего, поселок называется Ветвью. Дома я их вижу только на каникулах или в выходные, когда они замерзшие, измученные долгой дорогой, еле живые приходят домой за продуктами.

Братик Ваня смастерил мне собственными руками отличные маленькие лыжи и палки с колесиками к ним. Я катаюсь на них с высокой (так мне кажется) горы у колхозной конторы. Там все катаются на больших санках и лыжах, а у меня и лыжи и санки (тоже братик сделал) все маленькие.

Лыжи редко у кого есть. А у меня не лыжи — а игрушки!. И все благодаря

братишке Ване, золотые руки о него! Лыжи! Да еще какие! Маленькие, как раз для моих ножек, и разукрашенные сверху деревянной резьбой — как игрушки!

Но я еще малышка, и с такой высокой горы без поддержки, т. е. опоры, кататься боюсь. Поэтому я ставлю ноги на лыжи, а палки помещаю между ног, сажусь на них и, тронувшись, мчусь с горы, как всадник, присев немного. Иногда зажмурю глаза от страха, и была не была, еду куда кривая выведет. Зачастую — бух! И в сугроб кувырком! Но не беда! Страшно поначалу. А потом все смелее и смелее! И до того накатаешься, что становишься похожим на пингвиненка с берегов Южного полюса, с белым снежным фартуком, потому что больше падаешь вперед, и вперед носом. А чаще всего становишься похожим не на пингвиненка, а на белого медвежонка с Северного полюса, или на снежный ком.

Но это меня и других девчонок и мальчишек не огорчает. Напротив, удовольствие получаешь такое, что забываешь, что поздно и пора домой.

Когда возвращаешься, только тогда чувствуешь, как заледенела на тебе одежда, и что дома можешь получить от отца взбучку за то, что перестаралась.

Кроме лыж Ваня сделал мне чудесные АЭРОСАНИ. Дело в том, что от обычных санок они отличаются тем, что кроме двух полозьев у них впереди был, как руль, еще третий, который вращался. И служил как руль. У него, у этого полоза, было еще управление в виде поперечной досточки. Ложишься на санки, берешься за руль, отталкиваешься ногой и... поехали! Если встречаются на пути пень или впадинка, или ком. то поворачиваешь руль и свободно их объезжаешь...

Ах! Какие это были аэросани! Прелесть! Как я была благодарна за них и лыжи своему братику Ване!

Я даже сейчас, в век космоса, не вижу у детей подобных аэросаней! С рулем! Просто делают обычные санки. Разница только в том, что вместо деревянных, теперь санки делают; металлических полосок которые покрашены в разноцветные цвета.

А аэросаней нет! Нет таких скоростных, на трех полозьях, с рулем санок, и баста! Не делают. Не умеют. Не знают.

А у меня были! И делал их не какой-то там завод особой конструкции, а мой братик Ваня, наш юный инженер-конструктор по своим чертежам, мой добрый, желанный, родной человек! Быть бы ему гениальным конструктором, но... проклятая война унесла десятки миллионов жизней, одной из которых была жизнь нашего талантливой братишки Вани...

ГЛАВА 27.

НОВЫЙ ДОМ

Осенью мы перешли в новый дом, который только что построен. Наконец-то, расстались с проклятым позорным домом. Правда, вывеску с этого несчастного дома, который считался позорным, давно уже сняли. Но все-таки нам не хотелось в нем жить.

И вот мы перебрались в один из лучших домов (еще построено, кроме нашего, семь таких домов), планировка в них совсем другая. Тот дом старый, как и многие другие, барачного типа: вдоль всего дома длинный коридор, а налево и направо — комнаты, большие, в два окна, и в углу печь-плита. Вот и все.

Новый дом был построен иначе. Он представлял из себя дом блочного типа. В каждом доме четыре блока. Блок состоял из трех комнат, двери которых выходили в кухню. В каждой комнате были сложены плиты, а в кухне — русская печь, с лежанкой, как на родине. Это было очень удобно по тамошним морозам зимы, если кто сильно простывал, топили русскую печь и грелись на ней.

Из кухни двери выводили в маленький коридорчик, где были еще кладовая и туалет. В кладовой мы хранили сельскохозяйственный инвентарь и бочки с пареной ягодой, заготовленной на зиму.

В барачном доме все тащили в комнате, а тут было что-то похоже на домашнее, а не на общежитие, где был один туалет на весь дом.

Мы поселились в один из блоков с семьей Лавреновых (дяди Феди) и Куриленко. Всем отвели по комнате.

Мне понравился наш дом и наши соседи. Справа от нас, в крайнем блоке,

поселились: моя подружка Надя Малышко — украинка. Семья у них из шести человек. Сестры: Дуся, Соня, Рая, брат Николай и их мама. С ними в блоке поселилась семья Сергеевых: тетя Мариша, дядя Яков и маленький Андрейка.

В следующем блоке, за нами, жили семьи: Ворковых — дядя Вася, кудрявый красавец, его жена — тетя Люба, их дети: Кланька, Мотя и Вася-младенец. С ними в одном блоке — семья Ефремовых: моя подружка Настя и маленький ее брат Володя, мама и ее дядя Антон.

В последнем блоке поселились Ивлевы: тетя Шура с детьми Маней и Трофимом; и Маруся Кухаренко — белоруска, с мужем поляком Мундиком и братом Антоном. Потом у них родилась крохотная дочка. Звать как, забыла.

Вот и весь наш домашний численный контингент.

Итак, мы поселились в новый дом, здесь нам больше нравится. Мы быстро сдружились со всей домашней детворой. У всех у нас оказались по возрасту подходящие подружки и друзья.

Я подружилась с Надей Малышко, Валею Лавреновой, Настей Ефремовой, Маней Ивлевой. Особенно мы были дружны с Надей Малышко.

У Ани тоже подружка — Надина сестра Рая.

А вот у Вани собственно в доме друга не оказалось по возрасту. Но он дружит с Иваном Ермиловым и Петром Куркиным, которые живут не так далеко от нас, в таких же домах. Петя Куркин — в доме напротив, а Ваня Ермилов через два дома ниже к реке. С Ермиловыми дружат и наши родители.

А вообще детвора дома — одна дружная семья. Мы все вместе — и большие, и маленькие дети — ходим летом за ягодами и грибами в лес, именно домом. Иногда из другого дома приходят дети Амочаевых — наших земляков, с хутора Козлиновского.

Кроме сбора ягод и грибов мы ломаем веники для наших коз, таскаем траву с лугов для сушки на зиму. И все эти запасы: сено и веники — поднимаем на огромный чердак, где размещаем свое богатство, каждый над своим блоком.

Ну и, разумеется, ходим в колхоз на работу. По ягоды и другие наши

домашние дела мы ходим реже, чем нас гоня г на работу. Но все же детей кое-когда отпускают, а взрослых никогда. У них нет выходных ни зимой, ни пегом.

А вечером, вернувшись с игр, всей компанией забираемся на чердак для ночевки, где для каждой ребятни по блокам приготовлены примитивные постели: пары деревянные с душистым сеном, покрытых дерюгами и мешочными одеялами или ветхими тулупами, когда дело уже придвигалось к осени. Вот весь «царский наряд» наших лож для превосходного сна с бесконечными разговорами за полночь.

Ах, какие это были чудесные северные ночи! Какой воздух! Ароматный! С запахом луговых трав и березовых веников! Не передать словами, не истолковать трепет детских душ от доверительных разговоров и сладких снов на душистом сене.

Частенько кто-нибудь во сне пускал тоненькую струйку с этого чердака в комнаты родителей. Ну и к кому эта струйка протекала, те родители, проснувшись от такой знакомой трели, знали, что это их Васятка или Ванятка подавал им весточку о своем сладостном сне без сновидений.

Проснувшись утром, мы, детвора, спускались в дом, где на столе находили приготовленные завтраки для нас: обычно летом пирожки с черникой или картошку с грибами. Родители уже были на работе, мы летом могли приходить на работу немного позже или уходили за ягодами, опять собравшись всей гурьбой.

В лесу было очень хорошо: воздух чист, вкусен, с ароматами хвои пихт и сосен, берез, черемухи. Только надоедливые комары досаждали.

Нарвав по полведра ягод, мы делали привал: наскоро пообедав опять же пирожками или куском лепешки с ягодами, мы растягивались на траве, ложились на спину и, разговаривая, смотрели в небо, синее бесконечное небо... и наслаждались таким коротким желанным отдыхом...

В таком положении отдыхала спина, голова, руки и все тело, потому что работали все время нагнувшись, когда рвали ягоды. А тут все тело расслаблялось, расковывалось. И когда смотришь в небо, разбросав руки и ноги по сторонам,

казалось, что ты плывешь в этом бездонном море, и было легко и свободно тебе, как парящей птице в небе.

А повернешь голову вправо или влево и видишь поле ягод, как будто кто-то его посеял. Если это была черника, то поле казалось зелено-синим, если это была голубика, то поле было голубым-голубым, как будто миллионы маминых или Аниных глаз. А если это была брусника, то поле было, как цветной ковер с рубиновыми, алыми и бордовыми кистями среди серых лишайников. Обычно брусника росла в сосновом бору, на холмиках из серых мхов. Кусты этих растений с кистями алых ягод и блестящих отполированных мелких зеленных листочков возвышались над мхом и казались рассыпанными доброй рукой волшебника по всему невообразимому полю. Красота необыкновенная!

Брусника поспевала к осени. К осени росли и грибы. И вот там, где созревала брусника, часто под соснами далеко виднелись красные шапки больших подосиновиков. Пейзаж невообразимый!

Тут ковер из кустов брусники по холмикам разбросан, морошка малиновыми пупырышками на фоне крупных зеленных листьев рассыпалась, как на девичьем сарафане, красивый рисунок отменной рукой художника нарисован, а над ними — красные, высокие шапки шикарных подосиновиков, на толстеньких, статных, крепеньких ножках!

Как в сказке! Величественное зрелище!

Девственный, нетронутый рукой человека лес и волшебный ковер трав, ягод и грибов

под ногами. Как скатерть-самобранка! Садись и кушай, что твоей душе угодно.

На пригорках столетние высокие стройные с золотистыми стволами и зеленой кроной наверху сосны, под ними, как цыплята-внучата в бордовых беретах подосиновики, дальше в долину — собрались гурьбой, как для беседы, зеленные елочки и сизо-голубые пихты, которые раскрыли свои мохнатые лапки и прикрыли своих внучат — розоватых волнистых груздей и темно-бордовые

шапочки сыроежек.

А вот выбежала на пригорок красавица-рябина и зовет нас, и машет нам своими руками- кистями рубиновых ягод.

Мы бежим к ней на перегонки и рвем, и кладем в рот ее упругие, налитые янтарным соком, чуть горьковатые, крупные ягоды. И хохочем от удовольствия.

А там, в ложине, бежит, журчит разговорчивый ручей! Родниковая его вода обжигает губы, холодит горло. Но мы, нагнувшись, не отрываясь, пьем его живительную влагу емкими глотками, захлебываясь и разбрызгивая жемчужные капли, стекающие у нас с подбородка, звонкой струей.

Наш радостный смех разносится по всему лесу.

У ручьев, которые выбегают из леса и стекают в реку, часто можно видеть, как весной над самой водой склонившись цветет нарядная черемуха-невеста, а под ней у самого подножия расцвели нежно-голубые незабудки. В ветвях черемухи заливаются соловушки.

Ручей бежит по глубокому оврагу, в гуще зарослей разных папоротников, ольхи и смородины, ароматом которых не надышишься.

Солнце склоняется к вечеру, мы торопимся домой. Ведро ставим на плечи, и гуськом пробираемся по узкой тропинке на широкую дорогу, а затем к реке. Выйдя к могучей, быстро бегущей реке, раскатистыми голосами зовем перевозчика деда Тугаря, живущего на берегу, у кирпичного завода, у переправы.

Вот выходит он из своей избушки, толстый, пузатый, в широких дранных штанах с мотней и в стоптанных чириках, в линялой короткой рубахе и в выгоревшей кепке. Идет, кряхтит, почесывает пузо, опираясь на весло, подходит к лодкам и, гремя цепями, отмыкает замок на одной из них. Это колхозные лодки. Не спеша дед забрасывает ногу в лодку и перевалившись, как колобок, брякается на сиденье. Наконец-то отчалил и поплыл. Приближается к нам: видна уже его заросшая щетиной, безразличная ко всему красная морда и косматая, годами не чесаная, лохматая голова.

Перевез нас на другой берег, к дому. И тут же ставит пустое ведро - бадью

и рядом литровую жестяную банку. Насыпаем ему из своих ведер «дань» — плату за перевоз. За день кроме основной работы — сторожа на кирпичном заводе — дед Тугарь набирает еще ведер пять ягод с нас, детворы, а потом продает эти ягоды заключенным, благо лагерь их тут же напротив, на другом берегу. Кроме ягод дед торгует еще многим другим. У него и корова своя, вольно пасется по берегу, а не в колхозном стаде.

У деда два сына: Валентин и Анатолий. Валентин еще малый, лет десяти, а второй уже взрослый, тот самый Анатолий, который прятался за шкаф, чтобы посмотреть кино бесплатно. А теперь он работает трактористом, и дед получает осенью заработанные Анатолием хлеб-зерно.

Бабка деда — белоруска Палата (мать сыновей умерла в голодные года) работает сторожем на колхозном огороде совместно с дедом Князьком. По берегу реки раскинулся колхозный огород, на нем растут капуста, турнепс, брюква, репа, лук, морковь, огурцы. Вот дед с бабкой подворовывают овощи и торгуют всем: и овощами, и ягодами, и зерном. Все продают заключенным. Лагерь их не только тут (на том берегу, куда ходим за ягодами), но и вверх по течению, там еще один лагерь. И далее на север в тундру — все лагеря.

Некоторые заключенные бегут из этих лагерем и, обессилив в тайге, изъеденные комарами до ран, истощенные до предела, они глубокой ночью заходят к деду и просят что-нибудь из съестного. Жадный дед, за так измученному человеку ничего не дает, а дерет с них три шкуры — снимает последнее: кальсоны там или нательную рубашку во вшах.

Ничем не брезгует дед. У некоторых оказываются и деньжонки какие-нибудь. Дед возьмет последнее. И не спросит, с чем же пойдет от него несчастный человек? Обдерет. Не пожалеет. За консервную банку мерзлого, сорного зерна возьмет последнюю копейку.

Таким образом, дед Тугарь со своей грязной, неотстиранной Палагой за многие годы накопили десятки тысяч рублей на народном горе заключенных. Деньги хранил в чулках. Пришла реформа в 1947 году, и деньги Тугаря пропали

ни за грош. После этого он сошел с ума, а потом его ударил паралич. Так и надо ему, жмоту проклятому, что пил из людей кровь.

Жалко, сыновья у него были хорошие: старший, Анатолий, погиб в первые годы войны на фронте, а младший, Валентин, хоть и ушел на фронт позже, тоже не вернулся с Великой Отечественной — погиб. Сыновья были очень смиренные и безответные.

Мачеха Палага оказалась под стать деду: жадюга и ворюга. Морила голодом младшего, Валентина. Хоть и была у них своя корова, Палага никогда не давала Вале настоящего молока, все обрат. Сама жрала, да продавала. Оба с дедом в реформу чокнулись от богатства. Ходили по поселку помешанные, с кучей старых денег за пазухой и присев где-нибудь принимались их считать. Люди шли мимо и усмехались. Наказала судьба воров, злых и жестоких, жадных до людской крови — кровопийцев, как называли их все. Так и надо! Никто из людей поселка не любил их и не жалел. За их кощунство: они наживались на чужом горе и в войну, и до войны. Обдирали до последней нитки. Ненавистные были. Сплетничали, наушничали председателю колхоза и коменданту поселка. Любого мальчонку за хвост морковки или кочан капусты готовы были забить до полусмерти, если им удавалось поймать кого-либо из детворы на колхозном огороде. А воровали-то, оказывается, они одни. Тащили все подряд с колхозного огорода и продавали заключенным.

Часто в последние десятилетия жизни приходится слышать, как молодежь некогда ходила воровать яблоки, черешню, абрикосы на чужие сады. Рассказывает про это со смехом, с присказками. Понятно, молодежь ходить по чужим садам воровать краснобокие яблоки и сладкую клубнику не от плохой жизни, а из озорства, ухарства.

Слышали мы от родителей, мужчин, что они в молодости после гулянья и спевок отправлялись на чужие огороды за огурцами и помидорами. И даже по погребам лазили за самогоном. Это тоже было от жира. Мы же — наше поколение, на долю которого выпала такая горькая участь, ходили на колхозные

огороды та хвостиками моркови, брюквы, турнепса, репы пе из озорства, а от великого голода. А эго большая разница.

И если нас преследовали такие вот деды-кровососы, как Тугарь и Князек, и жестоко били, мы их ненавидели, как пиявок, кормящихся кровью на чужом теле. И судьба эту пиявку Тугаря жестоко наказала.

Потом, когда поселок построили, и вокруг поселка, и в самом поселке наши родители разработали землю и стали садить картошку, а колхоз давал навоз на удобрение, то картошка стала хорошо родиться, мы перестали бегать на колхозные огороды. И все стало на свои места.

Поселок наш стал красивым: вместо пустых не нужных многочисленных пней, разбросанных по всему поселку, появлялись зеленные картофельные поля. Пни все выкорчевывали, землю разрабатывали, участки огородили изгородями, оставив свободными только дороги и тропинки. И стал наш поселок зеленым и ухоженным. Большие дома из нового теса, казалось, плыли, как корабли, по среди темно-зеленого моря. Воздух чистый, прозрачный, легкий. Небо голубое-голубое. А река широкая, быстрая, искрящаяся. Мы часто бегаем в нее купаться, когда тепло.

Прибежишь с ватагой ребятишек и девчонок, быстро сбросишь рубашонку, платишко и... бултых в речку. Вода сразу обожжет тебя огнем (потому что в северных реках она и летом очень холодная), а потом, вроде, и потеплеет. И купаешься в ней до посинения. Выскакиваешь на крутой берег, а сама зуб на зуб не попадешь. Но посидишь на берегу,

поедят тебя комары, полежишь на песочке и опять... бултых в воду.

Вначале мы, малыши, плавать не умели. Гак мне Ваня, брать, из куги сделал два поплавка, соединил их поперечной веревочкой, тоже сделанной из куги, и получился плавучий матрас, на котором я отлично держалась на воде. И тут милый братик позаботился обо мне, чтобы я ненароком не утонула. Может быть, потому я п не научилась хорошо плавать, что этот поплавок не давал мне возможности никогда не утонуть. Я без него уже не мыслила купания. Так

хорошо и легко было с ним на воде. И никогда не тонешь. Плавали, кто как умел. Учить было некому, потому что все взрослые на работе, школьники старшего возраста, как наши Аня и Ваня — тоже все лето работали в колхозе: пололи хлеба, сгребали сено, волочили, бороновали, а кто еще повзрослее — и жали, и косили.. Только мы, малыши 1-3 классов, были более или менее свободными, вот и купались иногда или ходили в лес за ягодами и грибами.

Но и нас нет - нет да и посылали на работу: собирать колоски, полоть огородные культуры. А начиная с четвертого класса, работали во всю: дергали морковь, брюкву, репу, пололи лен, ячмень и т. д. С 5 класса полностью все лето работали в колхозе: сгребали сено, носили его на носилках к стогу, копали картошку. А в старших классах выполняли работу взрослых: косили косами вручную, жали ячмень, овес серпами, бороновали, возили снопы на гумно.

Только в выходные, которые давали как исключение детям, мы отправлялись в лес за ягодами, грибами.

ГЛАВА 28.

МАЛЕНЬКИЙ АНДРЕЙКА

Ходил с нами по ягоды и маленький Андрюша СЕРГЕЕВ, которому было всего 6 лет, дошкольник. Он был рослым мальчиком, в папу. Папа был дядя Яша, богатырь-человек, косая сажень плечах. И, как обычно, великаны всегда добродушные люди. Детей он очень любил своих и относился к ним как к каким-то неземным созданиям: нежно, ласково. Семью свою просто обожал.

Дядя Яша со своей тетей Маришей были еще очень молоды, и дети у них маленькие: Андрейке всего шесть лет, а его сестренке и того меньше два годика. Родители работают с раннего утра до позднего вечера. Выходных нет. Вот и некому у них сходить по ягоды. Другие дети несут ведрами эти ягоды, а у них ничего нет. Угощают иногда соседи, но не каждый ведь день. А поесть ягодок или пирожков испечь хочется. Вот и попросила молодая тетя Мариша нас, детвору, брать ее Андрюшеньку с собой по ягоды. Мы охотно согласились. И

если мы, школьники, отправляясь в лес за ягодами, брали с собой ведра, то Андрейке мама вручала только чайник.

— Хотя бы пол чайника нарвал, и то хорошо. — говорила тетя Мариша. — Да, пожалуйста, деточки, не потеряйте там, в лесу моего Андрюшеньку, не отпускайте от себя далеко. Не приведи Бог, заблудится, умру тогда от горя.

— Не беспокойтесь, тетя Мариша, мы с него глаз не спустим.

— Ну, спасибо, маленькие. Храни вас Бог. Иди, сыночек, с ними, погуляешь в лесу и ягодок поешь, да и нам на гостинец принесешь.

И Андрюша, белоголовый кругленький бутуз с серыми глазами, с выгоревшим чубиком и добродушной улыбкой, солидно, как взрослый, брал чайник из маминых рук и отправлялся с нами уверенной походкой, стараясь идти в ногу, подлаживался под наш ход. шагал как можно широко, но время от времени ему приходилось переходить на бег.

В лесу Андрюшенька не отставал от нас, усердно рвал ягоду, хотя не забывал и про свой животик. Ягодки попеременно сыпались из его крохотных ручонков то в розовый ротик, то в чайник. Ну а как же иначе? Разве ребенок может утерпеть от соблазна, чтобы не кушать таких спелых, таких привлекательных сладких ягод, как черника, голубика или малина. И хоть к вечеру его чайник оказывался не совсем полным, Андрюшенька не унывал. За день он досыта лакомился ягодами всевозможных сортов, щечки его румянились от чистого воздуха, солнышко грело ласково, и от удовольствия он пыхтел, сопел, наш маленький увалень, но старательно исполнял обязанности по снабжению семьи своими ягодами.

Иногда, увидев красивую птичку или шапку подосиновиков, Андрюшенька от удивления ронял чайник и стремглав мчался к красной шапочке под сосной.

— Куда ты? — кричали ему вслед наши мальчишки: наш Ваня или Ваня Лавренов. И тоже, побросав ведра, пускались за ним вдогонку. Думали, он медведя испугался и бросился наутек. Но Андрюшенька, добежав до красной шапочки, останавливался и, присев на корточки, осторожно и боязливо

протягивал свою ручонку и тихонько гладил красивую шапочку, млея от удовольствия, повернув свою улыбающуюся мордашку к преследователям.

— Ну, ты даешь, малыш!

Колобок, полюбовавшись необычным явлением природы, поднимался и смиренно и степенно шел обратно к нашей шумной компании в сопровождении двух охранников, двигавшихся так же солидно по его флангам.

Андрейка снова принимался за работу. К вечеру, перед походом домой, мы заглядывали в его чайник. И если зам оказывалось слишком мало ягод, чайник дополнялся из наших запасов. И всей веселой когортой наш отряд шел гуськом по лесным тропинкам к закату солнца, ориентируясь на реку, если мы были по ту сторону ее, или шли прямо к поселку, когда были по эту сторону.

Когда мы возвращались поздно, нас всегда у околицы поселка ждала тетя Мариша. Завидев нас, еще издали, она бежала навстречу, обнимала и целовала своего Андрюшу и нас, брала наши ведра у тех, кто помоложе, подносила к дому и со слезами на глазах приговаривала:

— Ах, мои милые дети! Ах, мой милый сыночек, кормилец ты мой!

Андрюшенька улыбался до ушей и протягивал ей свой чайник. Тетя Мариша, принимая из рук его ношу, удивленно ахала — как много он нарвал ягод! Андрейка цвел...

А когда мы отправлялись по ягоды за реку и возвращались обратно, при перевозе дед Тугарь требовал дань и с Андрейки. То есть по понятиям жмота, Тугаря, Андрейка так же, как и мы, должен был отсыпать свою долю ягод в его, тугаровскую, литровую тару-банку. Но что бы осталось у бедного ребенка в чайнике, если он отсыпал бы ему, этому кровососу, литр ягод? Но пауку Тугарю было наплевать, что осталось бы у Андрюшки — хоть ничего! Ему подай то, что «положено», и ни на йоту меньше. Если бы перед его бесстыжими глазами предстал бы даже грудной ребенок, он все равно содрал бы с него свою «долю».

Бедный Андрюшенька в первый раз нашел выход: как только перевез нас этот паразит Тугарь, и мы предстали перед его толстой мордой, окруженной

веслом, бадьей и пузатой копсеркой, Андрюша под шумок пустился наутек. Но вредный жадный старик все-таки увидел через заплывшие свои глазки-щелки убегающую кроху и произнес презрительно:

— Ну, дьявол ты задери, в другой раз не перевезу!

Мы ахнули в душе и быстро, скороговоркой, наперебой, стали его упрашивать:

Дедушка, не ругайтесь! Мы за него насыплем вам кружку, но только пусть с нами за ягодами. Мы всегда за него будем платить, а го у пего мало ягодок...

Ну, раз так, то давайте насыпайте и его долю, — смилостивился наш клоп-кровосос.

Так мы уговорили скрягу, Тугаря, не прогонять Андрюшеньку из нашей компании.

С той поры Андрейка смело шел по ягоды и на ту сторону реки. И был нам благодарен и признателен. Не было случая, чтобы он нас ослушался или покапризничал. Мальчик был отменно хорошо. Особенно он уважал старших мальчишек — нашего Ванюшу и Ваню Лавренова. Ходил за ними по пятам и старался во всем им подражать. Если в лесу куковала кукушка, а ребята начинали ее спрашивать: «Кукушка, кукушка, сколько нам лет осталось жить?», то при случае он. Андрейка, тоже интересовался у кукушки, сколько и ему осталось жить. Кукушка куковала, а он, Андрюшенька, моргал глазенками и кивал ей в такт головкой. Когда она кончала, мальчишки, хитро шутив глаза, спрашивали:

— Ну, галчонок, сколько же лет тебе накуковала вертихвостка?

Андрейка улыбался растерянно, затем, быстро сообразив, выдохнул уверенно?

— Тышу-у лет!

Мы покатались со смеху. А Ванюша, мой братик, улыбнувшись, обнял его, и шагая с ним в ногу, подтвердил:

— Правильно, малыш, долго проживешь!

Но... недолго прожили на свете наши Ванюша и... Андрейка то ж... Наш

Ваня погиб в Великую Отечественную войну, а Андрейку постигла трагическая судьба в самом молодом возрасте. После войны, потеряв мужа на фронте, тетя Мариша вместе с дочкой младшей Надей и Андрейкой приехала на родину в хутор Большой - Головский, Новоанинского района Сталинградской области. Стала работать в колхозе, а Андрейка пошел только в армию. Тетя Мариша за его отсутствие купила хату в хуторе Мартыновском того же района и поселилась в нем с дочкой. Хата стояла на краю хутора у речки Бузулук. Андрейка отслужил в армии и вернулся. Женился. Жизнь только налаживалась. Казалось, впереди можно было ждать счастья молодой семье. Жена Андрюши скоро должна была родить. Но счастьем не суждено было сбыться.

Лето. Дождь и сильная гроза! Андрюша и Надя вбежали в хату со двора и присели у печки. Надюша потом стала хлопотать по хозяйству: собирать на стол. Скоро придут мама и сноха. А Андрюша сидел у русской печки и читал книгу. Ударилла огненная, как белая спираль, сильная молния и попала прямо в хату, в трубу и в Андрюшу, через пояс в живот. Через металлическую бляху... Андрюши не стало...

Не сбылись чаяния наших родителей. Не улыбнулось счастьем судьба их детей...

Но продолжаю свою повесть печальную...

Бродя по лесам, мы, естественно, не боялись встретить какого-нибудь опасного зверя: волков здесь не было, зато пушистых белочек, полосатых бурундучков — этих забавных зверюшек мы встречали на каждом шагу. Завидев нас, они приближались к нам, соблюдая определенную дистанцию. Корм с руки они не осмеливались брать.

Белочка, прыгая с дерева на дерево, с ветки на ветку, взмахивала хвостиком, как крылом птица, и летела плавно. Она долгое время следовала за нами, а потом где-нибудь пряталась в ветках, смешно перебирая лапками, умывалась, грызла сосновые и еловые шишки, похрустывая и шевеля своими усами, кося бусинками глаз.

Бурундучок спускался на лежавшее горизонтально дерево, пробегал по его стволу в своей желтой, полосатой шубке и исчезал.

Андрейка от таких сценок был на седьмом небе.

А вот наш хозяин Мишка-медведь нам не показывался. Бывали случаи, что ночью он гонял за лошадьми по овсам. Валял его на пути своем, ячмень, рожь, овес. Но, как говорится, воочию мы его не видели. Никогда. Не знаю, как наши родители, но мы бы желали его увидеть. Хотелось испытать самих себя: испугались бы мы его или нет? Наверное, бросили бы ему наши ведра с ягодами и дали деру! Пусть лакомится готовым обедом.

ГЛАВА 29

НОВЫЕ ПОСЕЛЕНЦЫ - БЕЛОРУСЫ

Летом 1935 года наша уличная детвора, не знаю от кого, получила известие: в поселок едут новые поселенцы — белорусы. Раз едут — надо бежать к реке, встречать. Дорога здесь одна: по реке на лодках или по берегу пешком.

Мы гурьбой туда. Добежали до берега: никого! Соврал что ли кто-то? Да нет, видим вдаль, вниз по реке какое-то движение. И черные точки по воде. Верно, какие-то люди едут. Бежим по берегу навстречу им. И видим: по реке движется караван лодок, нагруженных скарбом и маленькими детьми. Ой! Сколько много детей — больше сотни, кажется. Большие идут с молодежью и взрослым населением по берегу, а малыши сидят в лодках на тряпье. По середине, каждой лодки поставлены большущие - пребольшущие сундуки длиной метра два. В ширину и высоту по метру. Окопаны железом. Что за чудо! Вот так богачи! Какие сундуки!.. А в сундуках что хранят? Известно! Богатство! Всякие наряды, вероятно, а может и деньги? Да и вправду, наверно, люди богатые, потому что по берегу шло вереницей взрослое население, и каждый вел за собой на веревочке корову или лошадь.

Вот интересно, когда нас выселяли, то отобрали у родителей (и даже у нас, детей) все до нитки! А тут! Со всем богатством идут в поселок. Значит, не

раскулаченные, а просто высланные. Так и оказалось. Потом в поселке говорили, что белорусов Сталин не раскулачивал, а за политику, за несогласие вступить в колхоз выслал всех протестующих против коллективизации.

Мы глядели на них с изумлением и ничего не понимали. Вот наши детские рожицы изумились! Как невероятно они были одеты! У нас в поселке никто так не одевался: юбки и кофты у женщин, рубашки и штаны у мужчин и даже платья у девушек были из холста. Холст топорщился, как будто деревянный или железный, и все были в лаптях.

Особенно интересно смотреть на детей: обуты в маленькие лапотки, одеты, во сборчатые юбки до пят, называемых андараками, покрыты маленькими цветными платочками тоже из холста. Они походили на забавных матрешек. Это девочки. А мальчики — в белых узких холщовых штанишках и цветных рубашках, на ногах лапотки с онучами.

Процессия двигалась к поселку и добралась до него к раннему вечеру. Сгрузились в клуб. Скот поместили на колхозные дворы, лошадей — в конюшню.

.К вечеру выпал дождь, и образовалась грязь. Было уже прохладно.

Наша молодежь, несмотря на погоду, из любопытства потянулась к клубу, взглянуть на новоприезжих. У клуба горел большой костер. Новые поселенцы готовили себе ужин, кто что мог. Кто наварил бульбу, кто ее пек, а кто гондобил какую-то похлебку. Возле костра и в клубе толпилась уйма народу. Говорили приезжие на каком-то другом языке, не на русском. Но вот чудо: чтобы они не говорили, почти все было нам понятно, даже детворе. Те же русские слова, только наши произносились более мягко, я бы сказала, нежнее, а их слов — грубее. Ну, например: у нас мама, мать — у них матка, у нас тряпка — а у них трапка. Если у нас спрашивают: чего? — то у них: чаго? И так далее. Все понятно, и вместе с тем не по-нашему.

И вот откуда ни возьмись, заиграла гармонь. Наверное, пришел всем известный гармонист Иван Зарубин? Растянул меха, и полились задорные частушки. А затем зажигательные танцы: полька, кадрили, краковяк. И тут

произошло невероятное — новоприезжие парни и девушки пустились в пляс. И как плясали! Мы никогда не видели ничего подобного! Парни заодно подмигивали, подскакивали; девушки приседали, подбрасывая вверх юбки. Затем парни кружили девушек то направо, то налево с такой быстротой, что наш русский самый заядлый танцор упал бы от изнеможения. А те вихрем неслись по кругу до тех пор, пока гармонист не бросал играть, взмахивая от изнеможения руками, онемевшими пальцами.

И что было самым удивительным: танцоры не обращали никакого внимания на капающий с неба дождь, на грязь, которую они месили своими босыми ногами. Босыми, потому что на танцы они явились все без лаптей. Почему? Мне до сих пор это явление осталось неразгаданным. Вероятно, у них другой обуви кроме лаптей не было. А в лаптях на танцы они, видимо, считали являться неприличным.

Мы, дети и взрослые, дивились их оптимизму. Как это так? Людей выслали в неизвестные края, с неба моросит надоедливый дождь, под ногами грязь, кругом неуют и горе, а они танцуют до самозабвения, до упаду. Какой необыкновенно веселый и жизнерадостный народ, эти белорусы!

Наутро выглянуло ясное солнышко! И мы, детвора, опять высыпали на улицу, чтобы взглянуть, чем занималось новое народонаселение.

Поселенцы не унывали. Они семейными толпами разъехались на своих лошадках по баракам, устраивались на новое жилище. В бараках было достаточно пустых комнат (народу много вымерло в 1932-1933 гг.) Так что, им, белорусам, было где разместиться. Развозили свои огромные сундуки и бесчисленное количество своих ребятишек. В каждой семье их насчитывалось не менее семи-восьми человек, а то и все одиннадцать. У русских было по три-пять, у новоприбывших больше.

К полудню поселок наш преобразился. Он запестрил яркими, разноцветными длинными полотенцами, как на первомайской демонстрации. Это белорусы вынули из своих огромных сундуков вытканые дорожки холстов и

развесили их сушить на изгороди. Какое это было изумительное красочное зрелище для нас, детей! Ничего подобного у себя, у русских, мы не видели. Наши матери и бабушки на родине ткали ковры из шерсти, полости на зипуны, кушаки. Из шерсти же они вязали чулки, варежки, из пуха платки. Мужчины валяли валенки. Но вот холст в моде не был. Носили ситцевые и сатиновые кофты, юбки, платья... Да все это осталось на родине, отобрали беднота, лодыри и пьяницы. А здесь первые годы пришлось ходить в тряпье.

А вот у белорусов ничего не отобрали, даже лошадей и коров привели на север. А вот обувь у них — одни лапти. За что же их выслали? За лапти? Ведь, по всему видать: они тоже не кулаки, По куче детей в семье каждой — а одна корова и лошадь... Разве это кулаки? Ничего не понятно, что творится на белом свете? Скорее всего, им, каждой семье, как и нашим, русским многодетным, надо помощь оказывать, а не выселять. Да, видно, палачам не укажешь — что хотят, то и творят на этом бедном свете, называя эту проклятую жизнь, которую они устроили, СВЕТЛОЙ, СВОБОДНОЙ, ВОЛЬНОЙ и СЧАСТЛИВОЙ... Куда уж там до ВОЛИ, до СВОБОДЫ... Десятки миллионов жизней не пожалели...

Сталин после войны хвалился Черчиллю, что выслал как раз десять миллионов «кулаков». Утопить бы тебя, гада, в крови этого народа, который ты уничтожил.

ГЛАВА 30

ДЮНЫ У КЛАДБИЩА

В течение нескольких лет вокруг поселка корчевали и валили лес, разрабатывали поля под хлеб, леи, картофель. Все это было приказано СВЕРХУ. Разумеется, никакие суждения бывших хлеборобов, исконных, некогда хороших хозяев земли российской, во внимание не брались. Их никто не спрашивал и к советам не прислушивался.

Организовывали колхоз — тоже никого не спрашивал: желаешь ты быть в

этом несчастном колхозе или нет. Все диктовалось сверху. А что из этого выйдет — никого не интересовало.

Другое дело: колхоз на юге страны, в зоне жирного, богатого чернозема! Если они, разумеется, строились бы по желанию людей, почему бы нет? Неоглядная ширь земли! Паши, сколько душа твоя желает! А здесь? Какие колхозы в тайге? Лесопункты да! лес заготавливать разумно. А земля? Что это за земля для хлебороба — голый песок и глина. Что на ней уродится? Ничего! Какие колхозы? — Горе!

Но опять применяю ту же поговорку: стену лбом не прошибешь. Приказано — и баста! Хочешь — не хочешь, строй колхоз, невыгодный, нищенский, но строй! Не будешь — упекут туда, откуда не возвращаются...

Итак, колхозы... В месте с ними и отмена пойка живи, как хочешь. Ведь платить ничего не будут. Ставят палочки-трудодни, и все, на которые ничего, ни грамма не выдают, и денег ни копейки не платят.

Зато сразу же обложили пятикратным налогом: налог денежный, налог натуральный (ничего не имеешь, а плати ежегодно мяса 50 кг, кожу полторы штуки, яйца, шерсть и т. д.), налог-страховка (а что страховать — неизвестно. Ведь мы ничего не имеем, кроме одной комнатухи и малюсенького сарайчика, где сложены дрова. Это уж потом, спустя пять лет, заимели в этом сарайчике козу), четвертый налог — военный (это в войну) и пятый с приусадебного участка, т. е. с несчастной картошки, которой только и живем, а с нес берут налог натурой, то есть картошкой, да еще какой! Если случится неурожай, то выгребут все, до единой картошинки. Тогда иди хоть побирайся, чтобы прокормить зиму детей.

Случилось такое однажды, хорошо помню. Не уродилась кормилица-картошка у тети белоруски — Решотко, вдовы, трое малых детей. И что бы вы думали? Приехали уполномоченные из района, приказали председателю у всех недоимщиков выгрести из погребов все до картошинки. И выгребли. В том числе и у тети Решотко. Не пожалели ее малых детей. Рыдали-плакали, как по

мертвому, два дня тетьа РЕШОТКО и ее ДЕТИ. Только не слышали этого плача высокие дяди. Услышали соседи, люди поселка. Принесли все по ведру картошки тётё РЕШОТКО И ДРУГИМ, и спасли тем семьи несчастных недоимщиков.

ИТАК, КОЛХОЗЫ. Рубят, валят тысячелетний лес. Жгут его, и получается после этого: или песчаная пустыня, или глиняное месиво, из которого ногу не вытянешь.

Такая песчаная пустыня образовалась у старого кладбища. С дюнами, с белыми, как зонтовый платок, песочком. Ничего на нем абсолютно не родилось. А какой был сосновый бор! Красота. Вековые сосны поднимались к небу на несколько десятков метров! Золотые стволы, прямые, как свеча, искрились янтарем на солнечных бликах, лес шумел зеленой листвой и пел когда-то свою, одному ему известную, песню на ветру. Пушистые белочки сновали там и тут по деревьям, сушили грибы.

Под стройными соснами и зелеными елочками радовали глаз своими разноцветными шапочками — красными, бордовыми, желтыми, коричневыми, белыми, полосатыми — грибы. На белом мху и лишайнике они создавали с ягодами свой разноцветный, неповторимой окраски ковер, переливающийся всеми цветами радуги.

Но вот лес вырубил. Сучья, ветки, пни сожгли. Распахали почву. И оказалось — уничтожили все живое, что росло здесь сотнями лет, и превратилось поле в пустыню с настоящими дюнами, на котором ничего не могло расти, и не росло... И бросили его.

Жди теперь, ЧЕЛОВЕК, когда еще через ТЫСЯЧУ ЛЕТ тут снова вырастет тайга. Заживут твои раны, ЗЕМЛЯ. Покроются мхом и лишайниками твоя холмистая грудь, поднимутся вновь к небу стройные золотистые сосны, а под ними разбегутся по всему бору красные шапочки подосиновиков, коричневые шляпы белых грибов и желтые цыплята-маслята. ЖДИ! ДОЖДЕШЬСЯ ЛИ? Скорее всего, раньше придет света конец, чем увидишь ты эту картину, жестокий человек!

Да, этот подарок придет не скоро! Зато скоро ты, человек-разрушитель, вот так, без великих раздумий, уничтожил богатство земли за секунды. Теперь этот урон не восстановить и веками! Там, у кладбища, дюны передвигаются по ветру, как в пустыне Кара-Кум, и наступают на девственный лес. Остановить их никто не в силах.

На других глинистых полях стали сеять рожь, ячмень, лен, картофель. Но все это скудно произрастало. Только там, где вносили навоз, урожай был более или менее. А много ли навоза в только что организованном колхозе?

И получалось: мучились люди, как на каторге, а в результате одно горе. Голод опять надвигался сплошной волной. В колхозе завели, вернее, не завели, а привезли скот. Но какой скот... Коровы голенастые, высокие на ногах, а вымени не видать. Что это за коровы, никто толком понять не мог, какая это порода: ни мяса, ни молока. Наверно, специально вывели такую негодную породу для так называемых кулаков, чтобы охаять их, назвать плохими хозяевами. Так и водилась эта паршивая порода все года. Еле-еле набирали молока и масла для налогов. Больше от них никакого толка не было. Люди никогда не едали от них ни мяса, ни молока, а масла и в глаза не видели ни грамма.

Завели и лошадей, несколько сот овец, свиней. На лошадях пахали, возили зимой лес. Лошади тоже несли, как и люди, каторжную работу. Построили собственные конюшни, коровники, свинарники, овчарню. Все эти хозяйственные службы расположились на северной стороне поселка в одну линию у ручья, дабы было откуда брать поду и пони, скот.

ГЛАВА 31

НОВАЯ ШКОЛА. ПОСЕЛОК ВЕТЬЮ

Я окончила начальную школу отличницей. Пролетели каникулы. И вот приближается осень... Мамочка что-то стала часто вздыхать и поглядывать на меня. Я не соображаю в чем дело. А она говорит:

— Ты, доченька, плохо выглядишь, уж больно мала и слаба здоровьем, желудок у тебя побаливает, ревматизм одолел. Наверное, в этом году отдохнешь дома, не поедешь в пятый класс. Подрастешь, окрепнешь немного, а то ведь за 30 километров ехать в школу! Куда посылать тебя такую слабенькую? Сиди дома, а там видно будет, Да и в чем ехать: пальто зимнего никакого нет, одежды теплой тоже...

Ну я смирилась. Ладно. И то правда: хожу в школу — мерзну, как кутенок, ноги простужены, желудок от плохой пищи тоже болит. Решено — не поеду.

И вот в одно прекрасное солнечное воскресное утро объявили всем выходной — небывалое явление по тем временам!

— Наверно, в лесу медведь сдох! — смеялись взрослые люди.

Ну, по такому прекрасному случаю весь поселок высыпал на свои огороды — копать картошку. Мы с мамой на участке возле клуба тоже роём картофель. Тут же рядом собирают свой урожай и тетя Даша Лавренова с Ваней, тетя Наташа Амочаева со своими девочками. Урожай хороший, и настроение веселое. Наши мамы переговариваются, перебрасываются словечками:

— Смотри, кума, картошка, как поросята! Вот радость! Будет чем зиму пережить...

Вдруг видим, часов этак в двенадцать какое-то появилось оживленное движение по поселку! По главной улице потянулся народ с мешками, бурачками, корзинами к реке. Что такое? Оказывается, отправляют школьников в поселок Ветью в семилетнюю школу на учебу! Смотрим, дед Крылов своей увалистой, косолапой походкой, горбясь, потащил мешок картофеля на плече, рядом шла дородная, на много лет моложе своего деда Крыльчиха, неся большой узел с постелью. А за ними семена маленькими ножонками бежала Нюрка — тоже собралась уезжать, дальше целая толпа: девочки Шурыгины, Цепляевы, Танька Резвякова, Настя Буланова с матерями, бабушками, дяди, тети, ребяташки — все бежали, шли к реке. Там на лодках детей повезут в школу.

Старшие, которые окончили в этом году семилетку, в том числе и наши

Ваня с Аней, уже давно уехали поступать учиться в техникумы, другие учебные заведения. Наша Анечка поступила в городе Сыктывкаре в медтехникум. От Вани еще нет известий. Не знаем, что с ним, как у него успехи.

А вот теперь вот и дети в семилетку поехали. Мы с мамкой остались вдвоем. Отец в лесопункте на лесозаготовках. Смотрим на веселое движение, приостановили нашу работу. Мама возьми да и скажи:

— Пое-е-ха-ли твои подружки в школу!

Я как зареву-у...

— Что ты! Что ты! — испугалась мама. — Ах, беда какая! Да ты, оказывается, хочешь ехать? Доченька, ну перестань, ну, родная...

А я еще пуще... Так и пришлось бросить копать картошку и собираться в школу.

Сборы были не долгими: небольшой мешочек картошки, кувшин пареной брусники и одеяло, сшитое из крашенных мешков — вот и весь мой багаж. Бегом бежали до реки. Мама несла картошку, а я все остальное. Успели. Погрузились.

И вот я распрощалась с мамой. Она стояла на берегу и горестно утирала слезы, которые бежали по ее лицу. Мы почти ничего не говорили, только молча смотрели друг на друга и плакали. Лодки вереницей поплыли по реке.

К осени река стала холодной, серой, не было в ней той уже ласкающей глаз синевы. Зато берега неповторимой осеней красотой радовали душу, и настроение приподнялось. В мечтах виделась какая-то необыкновенная новая жизнь и новая школа. Широкая, раздольная река расплескалась за горизонт, плавно неся свои воды. Задумчивые берега, тронутые первым золотом березы клонили свои ветви к воде, темные ели провожали нас. Птицы улетели на юг.

Подъезжали к поселку Ветью к вечеру. Прямо у реки школа, буквой П. Недавно выстроенная, бревна еще белые, пахнут сосной.

Нас сгрузили в общежитие. Неприветливое оно — обыкновенный барак, каких на нашем поселке десятки. Через весь барак общий коридор, в конце уборная. Никаких ни кухонь, ни столовых, ни душевых, ни раздевалок, ни

библиотек, ни спортивных комнат — ничего. Неуютно. Вдоль коридора большие комнаты. По стенам нары, не кровати, а нары, на которых мы спали в первый год в избушках. Скучно. Грустно. И плакать хочется... Как в нашем некогда «позорном доме»... А я-то представляла что-то иное... Что? — не могу сказать, но в воображении виделось совершенно иное, лучшее. Но не такое...

Итак, нары... Кто побогаче — привез свои железные, на подобие солдатских, койки.

Старшие девчонки: Настя Буланова, Танька Резвякова, Фроська Ермилова взяли себе комнату поменьше, на троих, и Нюрку Крылкову, как довеска, приютили, взяли к себе на воспитание. Поставили три железных кровати, накрыли стол вязаной скатертью, затопили печь — тепло и уютно стало. Печка такая же, как у нас в большой комнате. Разумеется, у них теплее, а у нас холодно, некрасиво. Нары, у окна длинный стол со скамейками по бокам. На нарах одеяла из мешков или дерюги, за перегородкой мешки с картошкой. Вот и вся мебель. Глядя на это, опять плакать хочется. И зачем я поехала в эту проклятую даль... И поселок Бож-ю-дор казался мне каким-то раем. Сидела бы теперь с милой, заботливой мамочкой в маленькой тепленькой комнатушке, ели бы с ней вареную картошку от пуза, сколько душа пожелает, благо в этом году хороший урожай, и ни о чем бы не думала: отдыхала, набиралась сил и спала, сколько хотела... А тут — ненавистное, грязное общежитие. Нары и холод. Даже воды нет. Не знаю, где еще ее будем брать, и дров нет. Вставай ни свет, ни заря, десятилетний ребенок, и думай: чем топить печь, где воды взять, что варить? Что одевать? В чем идти в школу — кругом одни проблемы, неразрешимые для такого ребенка. Вот когда пожалела, что не послушалась маму дорогую и отправилась в столь тяжелый путь... малым ребенком.

На утро отправились в школу — и... радости не было. Ой, шумно как! Ребята, как воробьи на улице чирикают и скачут туда-сюда. Мы, девчонки-малышки, прижимаемся к стенке.

Вот и наш класс: от двери направо первый: 5 «а». В классе те же длинные

столы со скамейками, что и в нашем бож-ю-дорской начальной школе. Я, хоть и кнопка, сажусь от боязни за самый последний стол. Подружек моих что-то не видать, всех разбросали по трем пятым классам: «а», «б», «в», и опять хоть плачь.

Учителей много — на каждый предмет новый. Наш классный руководитель — учитель 'по математике — высокий, тонкий, наголо бритый мужчина в берете, с мрачным, грозным видом, прозванный еще нашими старшими братишками Каллигулой (Каллигулой — с двумя буквами «л», а не с одной, как у римского императора) за его строгость и непреклонность. Они его не любили. А как мы к нему отнесемся? Не знаю.

Вскоре получаю известие с «родного» поселка Бож-ю-дор. Ваня в техникум не поступил и вернулся в поселок домой. Скоро с папой приедут ко мне в гости. Я обрадовалась: вот хорошо, проведает меня. Я так по всем соскучилась. И точно. Прихожу раз вечером в общежитие, а меня встречают в комнате папа и Ваня. Папа приехал вместе с Ваней в поселок Ветью, чтобы определить братишку на повторное обучение и 7-й класс. Мальчику только 14 лет, он хрупкий, совсем еще подросток, пусть еще поучится, возмужает.

Директор школы Алексей Михайлович, добрый по душе человек, так как будто казалось, разрешил моему братишке повторно учиться в 7-я классе.

— Ну, что же, — ответил он на папину просьбу, — пусть мальчик повторит курс обучения. Это никому не повредит, а принесет только пользу.

И Ваню вновь приняли в 7-й класс.

Теперь возникла новая проблема, как нам жить: я — в комнате девочек, а Ваня в другой — у мальчишек. Это на два стола? Папка задумался. И вдруг эту такую важную для нас проблему в один миг разрешил Гриша Климов. Он крикнул:

— Эх, была не была! Переходи, Люся, к нас, в комнату мальчишек! Мы тебя в обиду не дадим! Будешь у нас за сестричку! Мы жалеть тебя будем, уважать, беречь, слушаться — лучше, чем девчонки! Давай, не пожалеешь!

Я согласилась. И тут же мальчишки гурьбой в один миг перетасили мои

пожитки к себе в комнату. Так я оказалась в компании мальчиков, но зато вместе с братишкой. Эх, мальчишки, мои мальчишки! Вы оказались подлинными рыцарями начала двадцатого века! Никогда в жизни мне вас не забыть. Какими вы были хорошими, ласковыми, нежными, любящими, заботливыми — никогда после, я таких, в жизни не встречала. Где вы теперь, мои дорогие? Остался ли кто из вас жив? Знаю, что трое из вас сложили свои молодые головы в Великую Отечественную войну: мой брат Ваня, белорус Женя Рудько и Коля Апраксин. Трое оставались живы: Миша Бузин вернулся без ноги, Гриша Климов и Степа Звонарев — более или менее целыми.

ГЛАВА 32

В КОГОРТЕ СЛАВНЫХ, МИЛЫХ МАЛЬЧИШЕК

Итак, я в когорте славных, добрых, милых мальчишек. Женя Рудько и Степа Звонарев учатся, как и я, в пятом классе. Миша Бузин в 6-м, а Гриша Климов, Коля Апраксин и мой братик Ваня в 7-м.

Расположение у нас в комнате такое: начиная от двери по левую сторону стоят деревянные кровати Коли Апраксина, Жени Рудько, широкая — Степы Звонарева и Миши Бузина; по правую сторону — нары Гриши Климова, моего брата Вани и затем мои, поперек к перегородке, всех ближе к печке — самое теплое местечко отведено мне.

Над окном большой стол с двумя скамейками по бокам. За перегородкой в мешках картофель и небольшой столик для котелков, чашек, ложек. И картофель на нем чистим. Так сказать, кухонный предмет.

Над перегородкой полати, Внизу у двери печка-плита.

На столе, по середине лампа без стекла. Когда горит — коптит. Все подкручиваем фитиль, чтобы меньше коптила.

Мальчишки соорудили еще копгюлек: в обыкновенный пузырек спустили марлевый фитиль с жестяночкой. В пузырек налили керосину — и получилось у нас два светила по концам стола. А когда топилась печка, то открывали еще дверцу и садились вокруг нее в кружок. Тепло и светло, и читаем книги, учебники, готовимся к урокам.

Рядом с общежитием начальная школа, там же по вечерам работает клуб и школьная библиотека. Берем там книги классиков. Мы — пятиклашки во всем копировали семиклассников. Что берут они, то и мы. Таким образом, за один год мы прочитали великое множество книг, таких серьезных и огромных размеров, что в другой раз это было бы под силу только взрослому человеку. Так, по примеру наших старших друзей-мальчиков мы прочитали такие книги: «Айвенго», «Отверженные», «Граф Монте-Кристо». «Робинзон Крузо», «Остров сокровищ», «Война и мир», «Обрыв» Гончарова, всего Пушкина, Лермонтова, Тургенева и многие многие другие.

Этот год остался у меня в памяти, как яркая звездочка, сверкающая на темном небосклоне. Я вошла в сказочный мир книг. Прелесть их и волшебное одухотворение поселились в моей душе и никогда потом не покидали ее. Я благодарна мальчишкам за тот обаятельный мир КНИГ, в который они ввели меня, и относились ко мне, как к нежному, хрупкому созданию: не обидели ни единым словом, ни взглядом, уважали, берегли и жалели меня, несмотря на то, что жизнь наша тогда была очень тяжелой и жестокой. Во-первых, мы были очень голодны. Во – вторых, плохо одеты и потому в жестокие морозы мерзли. В-третьих, у нас в общежитии не было никаких техничек, воспитателей. Нам даже не возили дрова и воды. Всё мы делали сами.

Вот как строился наш трудовой день. Вставали мы примерно в шесть часов. Это примерно потому, что часов ни единых ни у кого не было. Во всем общежитии — ни единых. Вставали тогда, когда у жителей появлялись единичные огоньки в окнах. Я начинала растапливать печь, в которую с вечера мальчишки накладывали лучины и дров, чтобы высохли за ночь, и ставили на плиту

шесть котелков, чугунок. У нас с братишкой был один. Следовательно, шесть посуды на 7 «персон».

А мальчишки тем временем одевались, обувались, надевали рукавицы, ставили деревянную бочку на санки и отправлялись за водой к колодцу, который был от общежития примерно в полукилометре. У обледенелого колодца в студеную морозную выюгу они доставали тяжелой деревянной бадьей воду и наполняли бочку. Пока наполнялась бочка, ноги мальчишек в рванных валенках или сапогах обливались водой и примерзали к скользкому настилу у колодца. Рукавицы тоже обмерзали и становились, как железные. Ребята, хохоча и охая, отрывали поочередно свои стопы от обледенелого настила. И случалось иногда так, что и подошва у того или иного хлопца оставалась у колодца, как вещественное доказательство утреннего обряда у водопоя.

Ввалившись гурьбой в широко распахнутую дверь, заснеженные, в обледенелой, залитой водой одежде, которая на поворотах цеплялась за косяки дверей, она гремела, как жесть. Кругом обхватив бочку за обруч (даже ручек не было на бочке), они вносили ее, как священный огромный сосуд (или кувшин), из которого валил холодный пар.

Затем быстрый завтрак и бегом в школу. А в чем бежать? В той же мерзлой одежде, других смен не было.

Вечером, вернувшись из школы и пообедав, чем Бог послал, наскоро одевались и отправлялись в лес за дровами. Лес был примерно в километре от поселка. Пилили сосны, ели. Хорошо, если попадались высохшие. А когда таковых не было, то приходилось пилить и зеленные, с корня. Тут же стволы очищали от сучьев, то есть обрубали их. И пилили эти стволы на чурбаки. Чурбаки укладывали на санки и везли в общежитие, где затем рубили на поленья.

После такой нелегкой «прогулки» мои мальчишки отогревались у печи, которую опять я затапливала. Все готовили немудрящий ужин или варили картошку, или супчик постный, мяса ни у кого не было. Только Грише Климову, у которого отец работал кладовщиком, и они водили поросят, да Коле Апраксину,

отец которого жил при магазине и выполнял работу завхоза, сторожа — им, двоим, присылали родители по великим праздникам немного мяса, и эти мальчуганы варили иногда мясной суп.

После ужина принимались за уроки, читали книги. Так проходил обыкновенный будничный день.

В субботу после уроков не ездили за дровами, а занимались уборкой комнаты и стиркой. Вначале стирали. Но больше в стирке доставалось мне. Трусишки, майки, носки, чулки, рукавицы ребята стирали сами. Но вот полотенчики, рубашонки — эти, так сказать, деликатные вещи мальчишки доверяли стирать только мне или своим мамам, когда они навещали нас. Таким образом, на одиннадцатом году жизни мне пришлось быть «образцовой» прачкой. Мальчишки с вождением смотрели на свои рубашонки и с благодарностью на меня, когда я вручала им их вещи. Взяв одними пальчиками свои рубашки, они осторожно клали их на свои пары или койки, и не менее пяти минут любовались ими, поглаживая их руками, как ребенка. Потом прятали в свои чемоданчики и сундучки и принимались с бодрой энергией за мытье полов.

Полы мыли так. Я грела воду, они наливали ее в огромное ведро. Я брала тряпку и намачивала несколько половых досок, а хлопчики мои топорами по очереди скоблили доски до бела с таким усердием, что от этих досок летела стружка. Затем я смывала и вытирала пол. Так что пол иногда у нас был чище, чем у кого-то из девчонок. Мальчишки старались на славу.

Но иногда по субботам в осеннюю и весеннюю пору мы после уроков не брались ни за какую работу, а отправлялись домой, в свой «родной» поселок Божю-дор.

Пропустить какие-то ни было уроки, даже пение или физкультуру, — об этом мы и не помышляли, могли получить такой нагоняй от директора или классного руководителя, что запоминалось на всю жизнь. Иногда только отпрашивались с этих уроков.

Поэтому отправлялись всей ватагой домой после всех уроков. Целая

вереница, человек 25 — 30 ребятишек, вытягивалась по тропинке вдоль берега или в зимнюю пору черными точками шли гуськом по дороге. Не у всех были валенки и сапоги, у некоторых ботинки. В таких случаях обертывали ноги газетами, а потом надевали ботинки. Предохраняли от обморожения. И вот шустрой гурьбой мы шагали пешком после уроков все двадцать восемь километров до дома.

Вначале было весело шагать такой неунывающей когортой примерно до половины пути. Но чем ближе была цель — наш желанный поселок — тем труднее было передвигать ноги и нести такое вдруг ни с того ни с сего отяжелевшее детское тело.

Уже виднелись крыши домов-бараков нашего поселка, а ноги никак не хотели идти. А душа хотела лететь птицей к своему дому. Но, увы! 28 километров давали себя знать. Мы, малыши, начинали отставать от более старших, и ребята останавливались, поджидая нас. Никого в пути не бросали и следили за тем, чтобы ненароком кто-либо из малышей не отстал. Пропадет ребенок. Замерзнет. Никто нам по этому поводу не давал никаких «инструкций», но инстинкт доброты и сохранения жизни заставлял всех действовать именно так и не иначе. С каждым из нас могло случиться такое горе, а потому все заботились с каждым в отдельности.

Но, наконец, вот и дом, и желанная, любимая мамочка встречает нас у порога, молча целует нас и утирает набежавшую слезу. В доме ждут нас теплый угол и рассыпчатая, разваристая картошка или борщ со свежей и квашеной капустой, хотя и без мяса, но такой вкусный, какого мы еще, кажется, никогда не едали. Родители наши, особенно мама, тетя Даша и дядя Федя Лавреновы, жалеючи нас часто уговаривали:

— Милые детки, да не ходите уж так часто домой, души нет, сердце щемит, гляючи на вас, как вы еле живые приходите домой...

— Сынок, — обращался дядя Федя к своему Ване, который ходил домой почти каждую субботу, — что же ты так мучаешь себя! Не ходи ты. мой родной,

каждый выходной домой...

— У-в... папка, я хоть один раз в неделю поем мамкиных щей.

Тетя Даша, молча утирала капавшие горькие слезы.

В воскресенье, то есть на другой день, пробыв дома до обеда, мы часа в два отправлялись обратно в поселок Ветью. Пробыть дома хоть один целый день и пропустить занятия в понедельник — этого никто не осмеливался допустить. Хотя нас никто не предупреждал, мы просто сами считали недопустимым это. Сейчас поражаюсь тому, кто в нас воспитывал

такую дисциплину? Кажется, никто. Никаких нотаций нам не читали. Никаких предупреждений не давали — ни родители, ни учителя. А почему мы поступали так благоразумно и воспитывались по - спартански — до сих пор поражаюсь.

Итак, два часа дня, мы отправляемся из дома в поселок Ветью. Надо до вечера пройти опять 28 километров, и завтра уже быть на занятиях. А ноги еще не отдохнули от вчерашней ходьбы, гудели, как отбитые, и были ватными и непослушными, и не хотели двигаться в обратную дорогу. Но ничего не поделаешь! Все, как по команде, по договоренности, собирались у какого-нибудь дома и с котомками за плечами шли к реке, откуда начинали свой обратный путь, провожаемые взглядами плакавших матерей и суровыми лицами отцов.

Возвращаться в школу было труднее еще и потому, что котомки нагружены, расставание с матерями тревожное, и на душе лежала тяжесть. Поздним вечером еле живые, обветренные, а иногда и обмороженные, мы кое-как добирались в неуютные холодные комнаты проклятого общежития. И, бросив котомки, ложились одетыми сразу в постель, забыв обо всем, засыпали тяжелым сном до утра. Лишь чуть забрезжит рассвет, вскакивали, хлопая от холода ладошками по телу, по бокам, по коленям, и затапливали скорее спасительную печь.

Попив горячего кипятку с домашними пирожками с картошкой или черникой, схватив свои холщовые сумочки с учебниками и тетрадями, бежали в

школу. В этот день, я думаю, мы все, дети суровой природы и судьбы, молили Бога, каждый сам про себя, чтобы нас не спросили учителя по какому-нибудь предмету. Но учителя, разумеется, умные, добрые в большинстве своем, не спрашивали нас. Что спрашивать? Бесполезно. Трепетали только местные ученики.

А понедельник — день тяжелый — был для нас, периферийных учеников, льготным. Зато в другие дни — будь здоров! Отвечай по всем правилам: и за сегодняшнее, и за прошедшее, не зевай и не лови мух. На то она и учеба, что ты хоть после, но должен все знать.

Так и жили и учились мы, и трудились.

Что и говорить, случались и у нас необыкновенные явления, о которых опишу ниже.

Багровая заря уходит за горизонт, сковывается морозом воздух так, что захватывает дух, тогда хватаешь ртом кислород, как рыба, выброшенная на берег. Столбы северною сияния плывут по небу, набегая друг на друга, перешагивая друг через друга. Светящиеся белым огнем искры пропадают где-то там, высоко в небе.

Мы бежим из школы — скорее, скорее в общежитие. В комнате холодно и неуютно. Нет дров. Топить нечем. Вчера, в воскресенье, вернулись из дома, поселка, поздно. И потому дров не заготовили. И вот Гриша Климов, наш заводила и как бы староста комнаты, нашел выход.

— Ай - да, братва, за дровами. Только сегодня мы не в лес пойдем, так как поздно, а я... нашел куда.

— Куда? — спрашивает Женя Рудько, хитро сощурив свои умные серые глаза, поставив ногу на табурет и опершись на ладонь подбородком. Круглое его лицо с белесым чубом и добродушными пухлыми губами вытянулось в ехидной детской усмешке.

Гриша, дернув уголком рта, глянул на него исподлобья и пробасил:

— Не твое щенячье дело, сосунок... Куда поведу, туда и пойдешь!

Женя показал ему язык, засмеялся и спросил:

— А нам не дадут по шее за это?

Гришка рассердился и крикнул:

Не знаю, дадут или не дадут они тебе по шее, а я вот сейчас тебе дам... — и сделал движение к нему. Затем, махнув рукой, добавил, — Не хочешь, сиди дома, если не боишься

примерзнуть к нарам.

— Да я чо! Я так сказал... Ну, чо, собираться? — примиряющее засуетился Женя.

— погоди... Я скажу когда. А сейчас, пойдем погуляем, — сразу остыв, ответил Гриша.

И отправились.

Пришли они в начальную школу, где была библиотека и клуб. Взяли там книги, почитали, посидели, отогрелись в тепле. И когда в 10 часов вечера закрылась школьная библиотека, а потом и клуб, они вернулись домой. И Гриша дал команду идти за дровами. Оказывается он приглядел у здания этого клуба напиленные и колотые поленья, сложенные аккуратно в штабеля. И вот наш находчивый Гришенька дождался, когда закроют клуб, решил сделать набег с мальчишками нашей комнаты на эти дрова и взять по беремчику поленьев.

Когда погасли все огни в начальной школе и клубе, они побежали потихоньку, подобрались к дровам, и каждый взял себе на руки по несколько поленьев. И тут наблюдательные мальчишки заметили, что в одной из маленьких комнат горела лампа. Думали, это у технички, в ее комнатушке. А это оказалось в комнате, где играли в шахматы двое учителей-мужчин. Кто-то из них заметил мальчишек и выглянул в окно. Ребята, в глядевшем признали Каллигулу. Они побросали дрова и дали деру... Но Каллигула стал их преследовать по пятам...

А я сижу за столом перед маленьким каптюлечком и читаю книгу «Всадник без головы» — жду своих мальчишек с добычей. Слышу, по коридору странные звуки бегущих ног: ту – ту - ту... Распахивается дверь, и мальчишки, как горох,

один за другим влетают в комнату и прямым сообщением по лесенке, друг за другом, как пожарные, на полати... Только один Гриша остановился у двери, стоит, как часовой на посту, поджидает, когда все забегут. Он поднял уже руку, чтобы пропустить последнего и накинуть крючок на дверь. Но...

Рука повисла в воздухе, так как все прибежали, а Жени Рудько нет. Что с ним? Неужели попал в «лапы» грозного Каллигулы? Прошло еще несколько секунд, которые показались вечностью. И снова по коридору: ту-ту-ту... Гриша мигом распахнул дверь, и в нее вваливается Женя Рудько... с полной ношей дров. Бух их у печки — и бегом на полати... Гриша в тот же миг накинул крючок на дверь.

Ребята покатались со смеху.

— Тихо! Замолкните! — приглушено крикнул Гриша. — Люся, погаси огонь...

Я фукнула на коптюлек, а Гриша в два прыжка очутился на полатах. В эту же минуту раздался настойчивый стук в дверь. И строгий голос Каллигулы потребовал:

— Ребята, откройте!

Не тут-то было! Ребята притихли, как мыши. А Женя Рудько и в такой грозной ситуации не обошелся без юмора: он притворно захрапел во всю ивановскую:

— Хыр-р-р... А хыр-р-р... Ахырр-хыр-р-р...

Этим он как бы говорил Каллигуле:

— Чего ты ломишься? Все спят давным-давно...

Дверь мы не отворили, и Каллигулу не впустили. Еще целых полчаса после ухода учителя лежали мальчишки тише воды, ниже травы. Затем потихоньку заговорили.

— Ну ты, Женьтук, даешь! — смеялись ребята. — Вот артист!

Женя не удержался и сам захохотал над собой.

— Ну как же ты, Жень, не бросил дрова?! Ведь Каллигула буквально

наступал тебе на пятки! А шаг у него в два метра, он запросто мог бы догнать тебя и приподнять за воротник в воздух, как зайца, за длинные уши...

— Да-а-а... — виновато улынулся Женя. — Так жалко было бросать дрова. Ведь топить- то нечем! — сказал он, вздохнув. И продолжал: — И потом, когда бы он догнал меня, я бы это почувствовал и сразу обернулся бы к нему лицом, и сунул ему дрова в руки, а сам бы деру дал...

Тут мальчишки вообще схватились за животики...

ГРОЗНОЕ ЯВЛЕНИЕ ПРИРОДЫ

А на следующий день нам было уже не до смеха. Мы чувствовали, что так это нам не пройдет, и с тяжелым чувством отправились в школу...

Сидели мы на уроках, как на иголках, не только мои мальчишки-одноклассники Женя Рудько и Стена Звонарев, но и я. То же самое испытывали и старшие. Ничего не слышали, ничего не видели. Лишь только ждали: вот-вот откроется дверь, и нас с великим позором вызовут к директору... А там сами знаете, что будет...

Но вот чудо... Проходят уроки и перемены, а нас, пятиклашек, никто не тревожит, и никуда не зовут. Так просидели мы в великой тревоге все уроки, и пошли спокойно домой.

Но когда пришли все домой, то узнали, что нас-то, малышей, не тронули, а наших мальчишек-семиклассников: Гришу Климова, моего брата Ванюшу и Колю Апраксина вызывали к директору и соответствующе воспитывали — пригрозили исключить из школы. Алексей Михайлович, директор школы, сказал, что, конечно, зачинщиками и организаторами этого поступка были старшие, то есть семиклассники, а малыши- пятиклассники тут ни причем. Просто старшие подали дурной пример младшим. И рассердившись, директор обернулся к моему брату Ване и сказал:

— А ты, Минаев, больше учиться в школе не будешь. Отправляйся домой.

Как ни плакал мой братик Ваня, директор был непреклонен. Вот так вся

тяжесть беды обрушилась на хрупкие плечи моего братишки. Горе было так велико, мы были с ним в таком состоянии, как будто на нас упало небо, и жизнь для нас кончилась...

В этот же вечер мы с ним в слезах собирали его пожитки и укладывали на санки. А потом долго сидели на нарах, обнявшись, и плакали. Ребята тоже ходили, как в воду опущенные, и не знали, как нас успокоить. Украдкой тоже утирали глаза.

На утро, удрученные навалившейся на нас бедой, проводили Ваню в дорогу до самой реки. Он поцеловал меня, попрощался с ребятами и, дернув санки, махнул еще рукой и пошел, не оглядываясь, по зимней речной дороге.

А мы стояли и смотрели, пока его маленькая фигурка, как точка, не растаяла в завьюженной пургой дали...

Я плакала неутешно, но помочь мне и Ване было ни чем нельзя... И мы отправились в школу. С этого дня я на уроках ничего не слышала и не видела, сидела, как каменная... Такою я была и дома. И мои хлопчики не знали, что делать.

Как вдруг, ровным счетом через три дня, к вечеру, когда ребята поехали в лес за дровами, а я сидела в комнате и бездумно смотрела в одну точку, дверь внезапно отворилась, и в комнату вошли двое, все в снегу... О чудо! Это были мой папа и братик Ваня.

Радость была такой неожиданной, что я потеряла дар речи. А папа и Ваня целовали и что-то говорили, утешая меня.

На утро, папа отправился вместе с нами в школу и зашел в кабинет директора. Что он там говорил, нам не было известно. Только вернувшись в общежитие вечером вместе с Ваней, он сказал нам:

— Учитесь, дети, хорошо и не беспокойтесь. Никого из вас из школы не исключат. И Ваня тоже будет учиться. Будьте хорошими детьми, а за дровами вам больше в лес ходить не придется. Это я вам обещаю.

Мы изумлено переглянулись.

И, действительно, повеселевшие, мы на другой день отправились в школу, а когда возвращались вечером домой, то к великому своему удивлению у общежития увидели большую кучу привезенных дров. Тут же стоял дежурный по общежитию учитель и давал команду пилить и колоть эти дрова. Каждой комнате досталось по несколько бревен. С этих пор моим мальчишкам уже не надо было ездить в лес по дрова. Их стали возить к общежитию регулярно. Мы только сами пилили их и кололи.

ГЛАВА 33

ОСОБЫЙ РАЗГОВОР

Оказывается, наш папа имел с директором ОСОБЫЙ РАЗГОВОР, в котором отец заявил, что не может быть такого положения в школе, чтобы дети в общежитии сидели в зимнюю пору без дров. И что заставило бедных детей идти за несчастными поленьями в школу. Отец резко сказал:

— Где это видано, чтобы морозили малых детей? А ну, покажите мне, где это записано у вас, в каких школьных инструкциях? И не смейте называть детей ворами! Воровали вы у них дрова, а не они!

Директор стал белым, как полотно. А отец продолжал:

— А ну-ка, докажите мне обратное!

Директор заерзал на стуле и дрожащими руками стал поправлять очки. Возражать было нечего. И папа ему пообещал:

— Если сегодня же не подвезут детям дрова, то я завтра отправлюсь за 100 километров в район пешком и все-таки выясню, что за махинации здесь творятся. Почему у детей крадут дрова? И заставляют их мерзнуть в нетопленном общежитии... Кто этот матерый ВОР, который лишил детей отопления? А вы еще позволяете грозить детям исключением из школы! За что? Вы хотите, чтобы дети примерзли к нам в неотопливаемом общежитии, когда на дворе 30 — 25 градусов мороза? Так кто же вор? И кого следует убрать из школы?

Директор не мог в свое оправдание произнести и слова. И действительно,

что же можно сказать на это? Как возразить, когда отец говорил убийственную правду.

Это возымело такое действие, что дрова появились у общежития, как по приказу волшебной палочки. В сию же минуту, и на весь период обучения. Вот так-то. Папка кое- что быстро поставил на место.

Мы были ему до глубины души благодарны. И Ваня, наш братик, учился до конца года спокойно. И успешно закончил школу. В ту же осень он поступил в горный техникум города Ухты. Мы были этому очень рады. Счастье наше было приобретено хоть и дорогой ценой, но зато радость искупила наше горе.

ГЛАВА 34

ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ ГОД

Лето. Отдыхаю. Окучиваю картофель. Он в этом году уродился, на одном участке у клуба (700 кв. м) нарыли 38 мешков по 4 ведра.

Собрали и ягод достаточно.

В сентябре в школу я приехала не в общежитие, а к Ане в больницу. Она в этом году закончила школу медицинских работников, техникум, и ее направили работать медсестрой в поселок Ветью в больницу. И вот я у нее. Она живет с девушками: Пашей Малафеевой, Нюрой Акутиной, Зиной Онковой. Все медсестры, только Паша Малафеева — акушерка. Все они вместе поместились в двух комнатах в правом крыле больницы, отведенном для проживания медицинских работников. И вот я, довесок, прибыла в их компанию.

Мне все интересно. С любопытством разглядываю всех девушек и их комнаты, где они живут. Во-первых, девушек. Моя сестренка Аня из подростка, каким она уехала учиться в техникум, превратилась в нежную, милую красавицу: личико круглое, кожа бархатная, белая с алым румянцем, глаза синие-синие, как незабудки. Фигурка, как точеная. И русые волосы косами вокруг головы. Черты лица стали изыскано правильными, тонкими, очаровательными. Что делает юность! Как преображает человека: из худеньких хрупких детей вдруг такие

очаровательные создания!

Паша Малофеева — красивая мордовка. Степенная, внимательная, обходительная, отвечает на все мои «почему?» и улыбается мне ласковой снисходительной улыбкой. А я смотрю на ее черную блестящую челку на лбу и думаю, какое у нее молочное лицо и густой румянец, как все это оттеняется ее черными, как смоль, густыми слегка волнистыми волосами (тут уж во мне проснулся настоящий маленький художник). Лицо слегка скуластое, глаза карие, распахнутые.

Нюра Акутина — всех старше, быстрая - быстрая, как вихрь, с копной пышных рыжеватых волос и блестящими буравчиками глаз, черных, как бусинки. Приветливая, добрая, заботливая, как мать.

Зина Онкова — веселая, бесшабашная, разбитная девушка из Вологды. Говорит все на «о», и любимая ее поговорка: «Чего сияешь, как ясное солнышко?». У нее круглое, слегка веснушчатое симпатичное лицо, румяное, как яблоко, немного выдающийся вперед подбородок и русые в рассыпную светлые волосы.

Она привезла полдюжины нашитых мамой ситцевых платьев модного фасона, клешем, полу-клешем, в мелкую полосочку и клеточку, голубеньких и светло-сиреневых. Меняет их каждый день. Ее фигурка, свободная от дежурств, часто мелькает в переулках поселка, то там, то тут. Она приезжая, как и я, тоже интересуется видом поселка и его окружающим пейзажем.

Больница стоит прямо на берегу реки, рядом со школой. На горе клуб. Внизу, за бараками жителей, магазин. Вот Зина по очереди посещает то одно, то другое заведение с подружками и без них.

Ее упитанная фигурка в черном жакете, надетом на светлое голубенькое платье-клеш и синем берете набекрень носится по поселку, как ветер, и разносит веселые девичьи новости. Она почти каждый день ходит в клуб с кем-нибудь из девчат и, приходя оттуда, смело стучится в закрытую дверь. Открывать выходит всем известный ночной сторож, окрещенный Зиной в высокий чин «Граф

Побединский» (фамилия действительно его Побединский), в ночных белых кальсонах, почесывая живот и спину, кряхтя и охая, он отодвигает задвижку и выпускает веселую стайку пырсающих смехом девчат. Они не могут спокойно, без смеха видеть костлявую фигуру «графа», вышедшего к ним в нижнем белье.

ГЛАВА 35.

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Все живем в двух маленьких комнатках в конце длинного больничного коридора. Рядом комнаты врача Кукарева и фельдшера Сережи.

Девчонки, беспечные и нетребовательные медики, питаются один раз в сутки, в два часа дня. В 12 часов кто-то идет за молоком к хозяйке, у которой есть корова, берут ежедневно 2 литра, приносят это молоко, часть кипятят, а из другой части варят манную кашу. В два часа садимся за стол: завтракать, обедать, ужинать — все вместе. Едим манную кашу и запиваем молоком. Конечно, на желудок не грубо и не тяжело, но для меня, привыкшую хоть плохо, но все же питаться не менее два раза в день, такой режим для растущего ребенка не подходил. И мы с Аней решили «отделиться» от девчат в свою единоличную семью. И стали жить отдельно в комнате рядом. Наша новая светлица мне очень понравилась. Комната светлая, большая, пол окрашен блестящей красно-желтой краской, железная новая кровать, не то что нары в общежитии. У кровати подзорник кружевной, узорчатое покрывало из тонкой верблюжьей шерсти. Две подушечки, накрытые связанной, рюшевой накидушкой. На окнах марлевые занавесочки. Покрывало Аня недавно купила у эвакуированных евреев из Польши, которых Сталин «спасал» от Гитлера, и выслал туда же, куда и нас, грешных. Вот так он их спас, что половина контингента этих евреев за время войны умерли от голода и холода. Это были «чистые» интеллигенты, которые работать физически не были совершенно приспособлены. А их, как и нас, заставляли работать или в колхозе, или на лесозаготовках, что совершенно выполнять они не могли, а потому погибали, так как жить было нечем. Что имели

— распродали, так и мучились. Кто остался жив, после войны уехали оттуда.

Еще из мебели в нашей комнате были большой стол со скамейкой у окна — это для моих занятий. И печка-голландка. Слева у печки под цветной ситцевой занавеской вешалка, а внизу, под ней, большой высокий полукруглый чемодан, в котором хранились наши остальные пожитки: платица, кофточки, юбки. В углу у окна — моя полка с книгами и тетрадями. Вот и все наше богатство. Мало предметов и вещей в комнате, зато просторно, чисто. И так мне казалось красиво, как не приходилось мне еще жить.

Я была счастлива. Ну как же! Я не в общежитии, да еще с сестренкой в таком культурном, уважаемом заведении, как больница! Среди молодой интеллигенции, живу с ними и хожу рядом в школу! Чего же еще надо! Лучшего не придумаешь. И моя сестренка Аня рядом. Заботится обо мне. Теперь уж мне, крохотульке, не надо готовить и себе, и ребятам. Аня жарит нам на обед картошку на рыбьем жире, варит манную кашу и стирает как свои, так и мои платица. Теперь я уже не прачка, как была в пятом классе: стирала себе и мальчишкам. А тут от меня ушла эта забота. Иногда только мою полы, да прибираю постель. Теперь моя основная задача — учеба, и я стараюсь.

В школе мне дали новое прозвище — белорус Володька Тозик, смешной шепелявый мальчуган, зовет меня не иначе как «медицина». Я не обижаюсь, напротив, мне даже приятно, что приобщилась к этой прослойке интеллигенции, и откликаюсь на эти позывные с большой охотой. Конечно, называют меня так только мальчишки, а девочки, как и принято, зовут по имени: Люся, Люда. Среди девочек у нас нет того, чтобы мы друг друга называли прозвищами — это все мальчишки-выдумщики.

За то и мы не остаемся в долгу перед ними, тоже называем их не именами, а производными эпитетами, как-то: «Длиной» — это белоруса Давыдовича, у которого брат в войну стал Героем Советского Союза и приезжал потом на катере со своими сослуживцами в свой поселок Усть-Коин. Вот, оказывается, кем становились эти высланные кулаки, какими героями.

Наш брат Ваня тоже был награжден в Великую Отечественную войну орденом Красной Звезды за ратные подвиги. Таким же орденом был награжден и второй, двоюродный, брат Ваня Попов. Помню, приезжала я на родину в 1946 году, посетила тетя Машу с дочкой Раей. Сидим вечером, разговариваем, вспоминаем наше горькое житье-бытье, вспомнили войну и братьев. А тетя Маша поднялась, открыла сундук, вынула какой-то узелочек, бережно его развязала. И вдруг что-то засияло в ее руках: как звезда на небе. Это был Ванин орден.

— Вот все, что осталось от моего ненаглядного сыночка, — зарыдала тетя Маша. — Получила я это вместе с похоронкой, — задыхаясь, тихо произнесла она.

ГЛАВА 36.

НАШ КЛАСС

В целом, наш класс — это дружные братья славяне, так именует нас староста Сеня Селиванов. Были у нас свои артисты и юмористы. Самый выдающийся юморист, которого зовем «клоуном» — это Вовка Тозик. Правда, безобидный и безвредный, он, как выюн, никогда не сидел на месте. Как челнок, так и вертелся то тут, то там. Задевал девчат, чуть тронет за косичку, чуть толкнет или как бы ненароком заденет плечом, наступит на ногу, назовет смешным именем, но никогда не ударит, не обидит. А на перемене, когда детвора высыпет па улицу, он такие станет «кренделя» выкидывать на турнике, что мы, девчонки, умирали со смеху. Вот виртуоз, не придумаешь такого циркового артиста.

Староста Сеня Селиванов был славным парнем. Если случалось ЧП — шалуны - мальчишки окаянные ненароком срывали уроки, особенно у Валентины Ивановны, учительницы русского языка и литературы, не потому, что она их плохо вела, а просто от того, что она была очень красива. И мальчишкам-подросткам, таким, как Васька Нестеров и Гришка Ивашин, хотелось обратить ее внимание на себя. Хотели чем-то отличиться, а чем может отличиться сопливый

подросток? Какие такие у него заслуги? Никаких. Разве только тем может привлечь внимание, что надерзит или вставит неуместную реплику в ее интересный рассказ о творчестве Пушкина или Гоголя. Вот и все. А наша обожаемая, прекрасная Валя Ивановна Семенова вся вспыхнет, оскорбится, что они нагрубили, прервали ее рассказ, значит, он не интересен, а тут, наоборот, очень интересно, потому и вставили свое несуразное словечко. Да и сама учительница — загляденье (как ее не затронуть): высокая, стройная, волосы пушистые, блестящей волной выются над соболиными бровями и карими глазами. Лицо — кровь с молоком, а губы — коралловые створки над перламутровыми зубами. Никакие шедевры великих художников не сравнятся с ее портретом. Как тут усидеть спокойно, смотря на сверхъестественное божественное создание природы и не сорвать ее урок?

Да мы, девчонки, и то сидим на ее уроках, как на иголках, вертимся, перешептываемся. И порою так засматривались на ее красоту, что совершенно не слышали, о чем она говорит. Только следили за ее мимикой, выражением глаз, движением губ и витали где-то в облаках.

Ну а мальчишки, известно, творили «чудеса», что их актерские способности разбирались потом и оценивались в директорском кабинете. А наш староста Сеня Селиванов, проводя потом собеседование с отличившимися и со всем классом, говорил осуждающе:

— Так, братья-славяне, дальше не пойдет! Пора положить этому конец. Иначе я вас... — при этом он зловеще бросал молниеносные взгляды в конец класса, туда, где в уголке сидели заводилы Васька Нестеров и Гришка Ивашин, и потрясал им крепким, увесистым кулаком. Он был намного выше их, фигура у него отличалась какой-то упруго-свинцовой силой. В нем чувствовалась твердость и уверенность в своих действиях. Ребята его побаивались. А зачинщики-артисты при этом сжимались в комочек.

Больше срывов у Валентины Ивановны Семеновой не было. Но проходило определенное время, и сорванцы давали себя знать уже в другом.

С середины года к нам прислали учителем зоологии некоего Дмитрия Ивановича. Это был в буквальном смысле Михаил Топтыгин: высокий, солидный, неуклюжий. И что самое худшее, при объяснении учебного материала за каждым словом говорил «ИМЕННО». Он был по национальности коми и плохо владел русским языком. Плохо — не то слово: отвратительно. Речь его была суха, скучна, предложения составлены из скудных, повторяющихся слов, все время сопровождаемых противным «ИМЕННО» — «ИМЕННО».

Причем ударение он делал не на букву «и», а на звуке «е», отчего слушать его без смеха было невозможно.

Мы, девчонки, пырסקали смехом, едва успевали ставить ПАЛОЧКИ, считая, сколько же раз за урок он произнесет это ужасное слово «ИМЕННО»! И получалось — 70 — 80 раз! Какое уж тут ОБУЧЕНИЕ!

Настоящий БУНТ был устроен нашими мальчишками, когда этого Топтыгина поставили нашим классным руководителем. Тут уж поднялся целый хаос. Мальчишки кричали в открытую, что не хотят, чтобы этот медведь был нашим классным руководи гелем.

А Дмитрий Иванович, рассвирепев, подскакивал то к одному, то к другому (бунтовщику) и, схватив того за воротник, выносил, как зайчонка за уши выносит волк, за дверь. Маленький Васька Нестеров только успел два раза сделать некий пируэт своими ногами- коротышками. А Гришка Ивашин вообще поджал их и скрючился, как таракан, боясь, а вдруг его Топтыгин ударит.

Вся история закончилась лишь тогда, когда, услышав невероятный шум, к нам в класс заглянул директор. В эту же секунду наш класс превратился в немую сцену из комедии «Ревизор». А что же Сеня Селиванов? Почему не предотвратил он этот бунт? Да потому, что и ему этот Топтыгин ужасно не нравился, и, как староста класса, он бы не сумел с ним ладить. А потому он сохранял на этом «бунте» удивительное спокойствие и не мешал ребятам проявлять такое несогласие с предложением кандидатурой на пост классного руководителя. Какой уж из этого медведя классный руководитель карикатура, да и только!

ГЛАВА 37.

ПОЕЗДКА НА РОДИНУ БРАТА ВАНИ

По окончании семилетки в 1938 году наш брат ВАНЯ поступил в горный техникум г. УХТЫ. Этому мы все были несказанно рады.

И вот прошел год, как мой старший братишка учится в техникуме. Пишет: на каникулы домой в поселок сразу не приедет, а поедет на РОДИНУ, в Новоанинский район Сталинградской области. Оттуда приедет на поселок. Мы с нетерпением ждем от него вестей. Особенно беспокойны и нетерпеливы родители. Каждый день вечером идут у них разговоры вместе с тетей Дашей и дядей Федей Лавреновыми о том, когда же приедет сыночек Ваня и расскажет о ДАЛЕКОЙ, ДАВНО ПОКИНУТОЙ МИЛОЙ РОДИНЕ! Разговорам нет конца!

— Какова же она теперь, эта РОДИНА? Что там изменилось, что сделалось с ней? Хоть бы одним глазком взглянуть на нее, — говорили родители.

Я слушала их и хоть была мала — понимала: какой безысходной тоской болело их настрадавшееся сердце. Как велика их любовь к родному краю, где ты родился, где прошло полжизни. Как прикипел этот кусочек земли к их больному сердцу, как щемит и кровоточит незажившая до селе рана...

И вот настал долгожданный день, когда мы пошли к берегу встречать нашего ВАНЮШУ. Он прибыл с мужчинами, ездившими в район за грузом, на лодке. Из лодки нам навстречу вышел высокий, стройный, красивый юноша, в сером новом костюме, в котором я не сразу узнала милого Ванечку. Он настолько изменился за один год, что трудно было поверить, что это был он: из хрупкого, небольшого подростка за один год Ванюша превратился в высокого, подтянутого красавца-юношу.

Мама сказала: «Весь в деда Антона!»

Мы с Ваней были похожи, но не совсем. Лоб, глаза, брови у нас одинаковые, но у меня лицо круглое, рост маленький, носик курносый. А у Вани — высокий лоб, из-под соболиных бровей и немного припухших век смотрят на

нас умные, наблюдательные, темно-синие глаза. Нос прямой, изящный изгиб тонких губ и нежный подбородок напоминал еще что-то детское, неоформившееся. Лицо продолговатое, серьезное.

Мама с папой обнимали своего ненаглядного Ванюшу до хруста в костях и не могли от него оторваться. Из глаз их текли беззвучные слезы радости и счастья. А меня, малышку. Ваня сам обнял и приподнял с земли, как перышко. Разговорам не было конца.

Ваня привез дорогие подарки: полный чемодан бутылок с коровьем топленным маслом, сушеные фрукты, мед, яйца. Эти продукты я отведываю первый раз в жизни, как себя помню. Ничего этого мы и в глаза не видели на этом проклятом, постылом Севере.

А мама и папа, дядя Федя и тетя Даша все говорят и говорят с ВАНЕЙ. Мне многое непонятно, потому что я совершенно не помню родины и ее людей. А они все вспоминают и расспрашивают его: как живут там родные, кто из них остался в живых после голода 1933 года и всяких передраг, что изменилось к лучшему, а что к худшему. Как я поняла, все изменилось к худшему, деревни разваливались И все-то им, моим родителям, интересно.

А Ваня все рассказывает: как живет сестра Дуся: он, оказывается, разошлась с первым мужем (он был тяжелым и несемейным человеком). А теперь Дуся вышла замуж за другого, механизатора Федора Артемовича Пименова, который купил со своим братом Петром у колхоза наш дом и поселился в нем с пашей сестрой. Теперь Дуся живет в родительском доме. Эта новость была для родителей крайне удивительна. Не верилось, что сестра живет в том доме, откуда нас выселили.

Ваня посетил всех родных и близких. Повидался он и со своими некоторыми товарищами: Иваном Шляхтиным (Кузнецовым), Степаном Афоппным, которые тоже стали юношами.

Все говорили наперебой: папа и мама, тетя и дядя. А Ваня, на все не спеша, терпеливо и обстоятельно отвечал. Он понимал, как дорого все это им.

Только мне нечего было спрашивать и вспоминать. Потому что была вывезена с родины малым ребенком и ничего не помнила о ней. И вот судьбой мне была отведена роль только наблюдателя. Но с каким интересом я слушала этот разговор! И благодарила бога, что не уснула в тот вечер, и все слушала и смотрела на Ваню.

ЭТОТ ВЕЧЕР И ПОСЛЕДУЮЩАЯ НЕДЕЛЯ БЫЛИ ПОСЛЕДНИМИ, КОГДА МЫ ВИДЕЛИ И БЫЛИ ВСЕ ВМЕСТЕ С ВАНЕЙ.

Больше ни я, ни родители, ни Аня, ни Федя, ни Дуся — никто из родных не видели ВАНЮ. Он уехал учиться, а потом работать в Ухту. А в 1942 году весной, в мае, прямо оттуда ушел на фронт. Провоевал полтора года, а осенью 1943 года при форсировании Днепра, 2 октября, погиб.

ТАК И ОСТАЛСЯ В НАШЕЙ ПАМЯТИ БРАТ ВАНЯ ВОТ ТАКИМ КРАСИВЫМ, ВЫСОКИМ, МОЛОДЫМ ЮНОШЕЙ, КАКОГО Я УВИДЕЛА В ТОТ ПАМЯТНЫЙ ВЕЧЕР ПРИЕЗДА ЕГО С РОДИНЫ.

И вот жизнь идет, течет, как вода в речке, и скоро подойдет к концу.

А я вспоминаю дни детства и юности, и кажется, это было вчера. Прошло с того памятного вечера уже 50 с лишним лет, а я перебираю в мыслях все подробности и последующие годы.

Вспоминаю, И КАК ПРОВОЖАЛИ ВАНЮ В УХТУ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ. Ваня с папой шли впереди всех. Ваня был в том же сером костюме с чемоданчиком в руках, как - серебристый тополечек, среди нас. Рядом папа на полголовы ниже Вани, ссутулившись, несет сумку с вещами и непрерывно все говорит и говорит с Ваней. Сзади мама, дядя Федя, тетя Даша Лавреновы — идут втроем, тоже рядом. А потом мы. «хвостики» — я, Валя, Ваня Лавренов — замыкающие.

Взрослые идут степенно, как бы подчеркивая важность события — проводы. Только мы, детвора, идем не в такт — семеним или перегоняем друг друга, чтобы не отстать.

Вот и берег. Вот и лодка. Последние минуты прощания... Обнимаемся.

Плачем... Папа и мама дают последние советы сыну. А он уже стоит в лодке, и лодка отчаливает.

ВАНЯ гоже плачет и машет нам кепкой. А мы последний раз всматриваемся в дорогие черты и долго-долго провожаем взглядом удаляющийся челнок юности, челнок жизни...

А кругом зелень берегов. Кудрявые березы над крутыми склонами. И море белых цветущих ромашек прощально машут своими маленькими головками вслед уплывающему ВАНЕ...

А ПОТОМ ВОЙНА! Страшная, бесчеловечная... Короткие письма с фронта — долгожданные треугольнички, которые ждем с мамой стрепетом и с замиранием их читаем...

Недолго шли эти письма — всего полтора года. А потом все оборвалось... И все затмил какой-то черный туман... НЕТ БОЛЬШЕ ВАНИ... Только остался ОДИН - ЕДИНСТВЕННЫЙ ТРЕУГОЛЬНИЧЕК, ПОСЛЕДНИЙ. САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ. ПИСАННЫЙ ВАНЕЙ, который читаю и перечитываю БЕСКОНЕЧНО ВСЕ ЭТИ ПЯТЬДЕСЯТ С ЛИШНИМ ЛЕТ...

ГЛАВА 38

НАШ ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР

В этом году у нас открылся школьный театр. Артистами были наши сверстники и ребята постарше. Особенно большой популярностью, любовью, уважением среди детворы пользовались наши «знаменитые артисты»: Ваня Лавренов — мой двоюродный брат, и Таня Шведова.

Ваня Лавренов, небольшой подросток, русоголовый, со смеющимися светлыми глазами и курносый носом, обладал неистощимым юмором и неиссякаемой энергией, которая ни на минуту не давала ему покоя. Он был в постоянном движении. Играл исполнительных, шустрых, дерзких, сообразительных и смешных солдат, ограниченных, тугодумов-дубов офицеров,

полковников, вездесущих, плешивых дедушек с бородой, шепелявых и глухих и др. И даже пел песни. Приятный такой голос.

Но самым главным его дарованием был юмор. Роли в его исполнении приобретали какой-то своеобразный, незабываемый, талантливый оттенок. Его герои были исключительно незаурядные люди.

Мы благодарили его за отличное исполнение такими бурными аплодисментами и криками «браво!», что весь зал гудел от рукоплесканий. Ваня был доволен и рад.

А Таня Шведова, постоянная его партнерша в спектаклях, не только отлично играла, но и прекрасно пела. Симпатичная, черненькая девочка, с притягательными серыми глазами, завораживала всех своим пением. Когда пела Таня — зал весь замирал. А потом по окончании взрывался нескончаемыми аплодисментами. Ее вызывали тысячу раз. Юная певица выбегала, смущаясь, розовела, как маков цвет, и бесконечно кланяясь. Мы, девчонки, журили мальчишек:

— Хватит вызывать, замучили девчущку. Дайте отдохнуть!

Мальчишки не унимались и продолжали хлопать, Еще бы! Они ее обожали и все были в нее влюблены...

Как сейчас помню одну из ее песен. Даже мотив не забыла:

Летала Розалина —

Стрекоза золотая.

Попала в паутину,

Сама того не зная...

Прошла через долину

Мариана молодая.

Порвала паутину,

Сама того не зная....

Ура! Упал с каштана

И с треском лопнул вдруг

Под башмачком Марианы

Прожорливый паук...

Но больше всех любил пение и ее Ваня Лавренов. Не случайно он всегда старался играть в том спектакле, где была роль и Тани. Но детскую свою любовь к ней он скрывал «усердно». Лупил того, кто ненароком что-либо замечал и отпускал шутки в его адрес. Так нередко доставалось от него Мишке Родионову, маленькому, юркому сорванцу, с которым Ваня Лавренов жил в одной комнате.

А порою перепало и самой Тане, так как она не догадывалась о его детском влечении: и мало обращала на него внимания в обычно свободное от репетиций и спектаклей время.

А Ваня чуть не каждый день приходил в комнату девочек, где жила-была Таня, смешил их своими юмористическими рассказами и строил им такие рожицы, изображая всех героев

своего рассказа в одном лице, что девчонки хохотали до слез. А меньше всех реагировала Таня. Это его задевало, и он начинал к ней легонько «придираться» и легонько колотить. Танюша плакала.

А мы утешали ее, смеясь:

— Не плачь, Таня! Кто кого любит, тот того и чубит! Помиритесь на репетиции.

Ванюша, отлупив ее, тут же успокаивал каким-нибудь смешным рассказом.

Таня, еще утирая слезы, смеялась. А Ваня, довольный, сиял. Так текли потихонечку наши школьные дни.

ГЛАВА 39.

ВАНЯ ЛАВРЕНОВ

Ваня Лавренов был изумительным юмористом. Недаром он был таким талантливым нашим школьным артистом. Артистические его способности проявлялись повседневно на каждом шагу. Юмор неиссякаемой струей так и срывался с его уст.

Помню, была у нас в школе учительница по естественным наукам: зоологии, ботанике, химии — Васса Федоровна Сметанина. По национальности коми. Высокая, худая, некрасивая. Говорила протяжно, медленно, с акцентом. Писала также медленно, выводя каждую букву, а в результате получались уродливые строки письма. Буквы кривые, падающие, горбатые.

Мы смеялись: так аккуратно и старательно она выписывала их, а в конечном счете — безобразное письмо.

Но больше всего мы не любили ее за то, что она всегда приходила в школу в одном и том же платье. Все два года, что мы учились у нее: в 6-м и 7-м классе! Оно обрыдло нам! Опротивело это платье: темно-коричневое, сатиновое, с длинным рукавом, с глухим воротом, тугим поясом и чуть расклешенной юбкой. Хотя это платье ее было всегда безукоризненно чистым, тщательно выглаженным (без единой морщинки, блестящим — сатин ведь блестит), но оно нас раздражало, потому что очень надоело за два года — прямо-таки бесило, выводило из терпения — особенно мальчишек. В этот подростковый возраст, сами понимаете, нам хотелось уже видеть красоту, несмотря на тяжелую жизнь высланных. И тем паче, учи геля были обязаны по долгу службы возместить эту красоту вдвойне. А она, эта учительница, как видно, этого не понимала. А мы все возненавидели это ее платье и ее саму.

Мы срывали ее уроки, говорили ей грубости, не выполняли домашних заданий. Особенно бушевали мальчишки.

Вся беда была в том, что она ходила в школу в одном платье, и не потому,

что у нее не было других. Если б было так, то мы бы никогда не позволили дерзостей! Напротив, сочувствовали бы и считали ее близкой нам, то есть жизнь ее не баловала, а вот все-таки стала учительницей. Я думаю, даже уважали бы. А то, поди ты! Ходит в школу в строгом, темном платье, как классная дама, а, перейдя из школы домой, переодевается и наряжается в красивые, шелковые, цветные, разных расцветок платья, покрытых всевозможными букетами цветов. И сама-то она превращалась после этого в красивую, молодую, интересную даму.

А на следующее утро появлялась в классе, на уроки, опять в этом ненавистном платье, вновь превращалась в бледное, бесцветное пятно.

Мы, девчонки, готовы были заплакать от обиды, что она не показывает нам свои домашние красивые платья. А мальчишки снова срывали у нее урок.

Читала она нам материал таким же нудным и бесцветным голосом, как и ее платье, и все было до того отвратительным, что вызывало новый взрыв негодования мальчишек.

Девчонки как-то еще старались сгладить эти отношения, увещевали разбушевавшихся пацанов, но этого хватало не надолго. Помню, однажды, когда проходили строение тараканов, она принесла в класс целую спичечную коробку этих дохлых насекомых! (Мальчишки смеялись: «Наверное, целую ночь ловила»). Положив на каждую парту по особи, она приказала распознать, кто это: самец или самка. Мальчишки с нескрываемым отвращением, не дотрагиваясь голой рукой до них, в один момент кусочками бумаги смахнули со своих парт эту наглядность и прямо заявили:

Не приносите нам в класс больше эту гадость. А то вы в другой раз еще додумаетесь оделить, нас блохами или вшами.

И правда, нам было всем как-то не по себе от этой «наглядности». А она этого не поняла и, рассердившись, ушла из класса. Все последующие уроки проходили в напряженном состоянии. Мальчишки смотрели на нее со злостью и недоверием. Никак не нравилась нам такая учительница.

Только Ваня Лавренов не унывал и всегда старался как-то разрядить

атмосферу, вызвать улыбку или смех. И вот такой случай представился. Не подготовил он урока. А Васса Федоровна возьми да и спроси его этот материал. Ну и, собираясь поставить ему двойку, с сожалением произнесла певуче:

— Л-а-в-р-е-е-нов, по-о-че-му ты не ста-ра-а-ешься?

— Ну что вы, Васса Федоровна! Я так стараюсь, так стараюсь, что прямо из кожи вон лезу! Да не только я, КНИЖКА-то моя, ЗООЛОГИЯ, И ТО ВОН ИЗ КОЖИ ВЫЛЕЗЛА! ПОГЛЯДИТЕ, — и развернул кусочек материи, который оказался действительно обложкой зоологии.

Весь класс УМЕР ОТ СМЕХА.

В другой раз Васса Федоровна журила Илюшу Бромберга тоже за неподготовленный урок.

Илюша был сыном нашей новой медицинской сестры, еврейки по национальности, 45-летней Юлии Ильиничны, нашей соседки по квартире. Жили мы с Аней в одной комнате, а они рядом — в другой, в больнице.

Я хоть и в 7-м классе, а совсем пацанка — маленькая, щупленькая, и всего-то мне 14-й год, а Илюше уже 17 лет (в некоторых классах сидел по два года), потому уже выглядит парнем, высоким, стройным, красивым, с черными густыми вьющимися волосами и красными, как маков цвет, пухлыми губами, над которыми уже пробиваются чуть заметные усики.

Моей сестре Анушке 18 лет. Она нежна, мила, красива по-русски, с короной русых кос на голове и лебединой шейкой. Возможно, Илюша и заглядывался на нее, я тогда ничего такого не соображала. Ходила Аня со своими подружками Пашей Малафеевой и Зиной Онковой в клуб в кино и на танцы. Ходил с ними и Илюша туда. И домой шли вместе. Ну вот и пошли слухи, что Илюша ухаживает за моей сестренкой.

И вот однажды на уроке ботаники Васса Федоровна и скажи Илюше:

— Ты, Бромберг, вместо того, чтобы за Минаевой Аней ухаживать, лучше бы урок подготовил.

Илюша покраснел и не мог ничего возразить.

Но нашелся Ваня Лавренов, он воскликнул:

— Васса Федоровна! Ну разве можно так! Ведь вы тоже были молодой!

— Я не была такая! — глупо отпарировала учительница (вероятно, она имела в виду, что училась хорошо).

— Что вы говорите! —делая удивленную мордашку, воскликнул Ванюша. — А откуда же Сметанчик? — сострил Ваня, подрезав под корень довод учительницы.

Пацаны, как подброшенные, повалились с парт от смеха, схватившись за животики. Взрыв смеха был таков, что в испуге прибежал директор. И никак не мог установить порядок.

Сметанчик — это сын Вассы Федоровны. Двенадцатилетний мальчик. А мужа в тот период у Вассы Федоровны не было. И никто не знал —был ли он у нее вообще. Вот такой парадокс, после которого Вассе Федоровне уже было просто стыдно глядеть в глаза Ване Лавренову, Илюше Бромбергу да и всему классу вообще. У нее было на лице какое-то кислое выражение. А мальчишки после этого за глаза стали называть Вассу Федоровну — Кваксой Федоровной.

Осень 1943 года. Мы получили известие, что наш брат Ваня пропал без вести 2 октября. Значит, погиб при форсировании Днепра. В сентябре мы получили от него письмо, где он писал, что гонят фрица с Украины и что подходят к Днепру. А вот в октябре все сразу оборвалось. А Ваню Лавренова как раз только взяли в армию в октябре. Я как-то пришла на поселок к маме, наверное, к 7 ноябрю и в это время Ваню Лавренова провожали в армию.

Вскоре он попал на фронт и воевал до августа 1944 года. Писал, что воюет в родных краях, на Дону. Едят арбузы и дыни на бахчах, лакомятся яблоками и сливами. После этого сообщения оборвались. Значит, погиб.

ГЛАВА 40.

ПАЛАЧ

Я на каникулах. Работаем в колхозе, но иногда вырываемся в лес за ягодами. В это лето мне что-то не везло со здоровьем, и я выглядела какой-то измученной девочкой.

По ягоды ходили порой далеко, и за речку, приносили по полному ведру. Тащить мне, нездоровой девочке, это ведро было очень тяжело. Однажды мама после моего болезненного перерыва сказала:

— Сегодня и я пойду с вами в лес за ягодами. Осточертела работа каторжная, дыхнуть не дают. А есть нечего. Пойдем, нарвем ягодки, пирожков каких ни на есть испеку и посушим немного на зиму.

И вот с нашей детской ватагой мама переехала на ту сторону реки, и мы углубились в лес. В тот день была удача на ягоды. День был солнечный, светлый. Поля ягод в лесу попадались осыпанными плодами, и ягоды черники были отменно крупными, сочными, сладкими.

Мы с мамочкой нарвали два полных ведра: ведро она, ведро я. Веселые, довольные, под вечер двинулись своей группой домой. В этот раз мне вдвойне было радостно: нарвали целых два ведра! И к реке их несла сама мама. Мне нести не позволила.

Тугарь уже начеку. Везет лодку с той стороны, так как «навар» (то есть оплата) будет богатым.

Когда нас еще вез Тугарь, мы заметили, на берегу стоит Шамрай — новый председатель колхоза в военное время. Дядю Сашу Звонарева, бывшего председателя, забрали на войну, а этого поставили; маленький, кривоногий, но шустрый, а главное — службистый. Хохлы вообще службисты, особенно в армии. Из кожи вон лезут — угодить командиру, авось, потом в полковую школу попадет. И попадали. Выслуживались. Недаром ходил по тем временам такой

анекдот: «Прислали служить в армию еврея, хохла и русского. Еврей первым долгом спрашивает старослужащих:

— А ПФС у вас в полку есть?

— Есть, есть! — отвечают служивые.

Еврей ухмыльнулся и тихонько, вздохнув, изрек, перекрестившись:

— Ну, тут служить можно.

Затем спрашивает хохол:

Я хочу у вас спытаты, а полковая школа у вас е? Или нема?

- Есть, есть! — опять весело отвечают бывалые.

- Ну, я кажу, туточки служить можно! — обрадовался хохол.

Ом был теперь уверен, что уж в полковую школу постарается попасть.

Дошла очередь до русского. Русский надвинул пилотку на лоб и громко спросил:

— А гауптвахта у вас имеется?

— Имеется для твоего брата. Имеется! — смеясь, успокоили служивые.

— Ну тогда горевать нечего. Служить можно! — усмехнулся русский.

Вот такова доля службы для разных народов (Шутка)».

Вот и Шамрай, Попав на должность преда, ухватился за нее мертвой хваткой. Узнал, что Минаева Пелагея Ивановна не вышла сегодня на работу (утром всех по бригадам в конторе проверил), и вот теперь решил самолично наказать. А как же будет наказывать? Не знаем.

Лодка толкнулась носом в берег, мы стали выходить из нее и отдавать Тугарю дань. Мама опять взяла оба ведра, и мы с ней стали подниматься на берег. Надо было мне взять свое ведро и самой нести. Но кто же знал, что нам бесовестный Шамрай уготовил страшное наказание. Когда мы поднялись на пригорок, он перерезал нам путь.

— Ставьте ведра на землю, — приказал он. — Я их у вас забираю за то, что вы, Минаева, не вышли на работу, совершили прогул.

И отобрал у нас оба ведра, собранных таким тяжелым трудом ягод. Как мы

с мамой плакали, когда шли домой! Никому из добрых людей не желаю это испытать. А я себя в душе ругала, что тут, в лодке, не догадалась взять свое ведро: хотя бы одно у нас с мамой осталось. Ведь мое ведро с ягодами он не посмел бы отобрать у ребенка.

Но было поздно что-либо исправить. Мы были тогда совершенно бесправными: что наши родители, что мы, дети. Над нами как хотели, так и издевались палачи всех сортов и рангов. И вот мы идем с мамой домой, без единой ягодки, искусанные за день безжалостной мошкаррой до крови, в прыщах и подтеках, с распухшими лицами, руками и ногами и рыдаем...

Я молю бога (про себя, вслух нельзя этого говорить), чтобы этому проклятому палачу Шамраю не было счастья в жизни. Чтобы он или утонул, или сгорел (детское желание!). Но моя молитва не доходит до Бога. Шамрай спокойненько вернулся жив и здоров в контору колхоза. А вечером смеялся и веселился в кругу своих товарищей, рассказывая анекдоты.

Наш брат Федя тоже был ему товарищ. Он сказал:

— Зачем ты отобрал ягоды у моей матери и сестренки?

— Разве это была твоя мать? — притворно вскинув брови, осведомился он.

Вот ведь лицемер! Какая ехидная скотина! Федя, брат, — единственный тракторист в колхозе. И уж то, что его фамилия Минаев знал не только председатель, а весь поселок. Больше в поселке такой фамилии ни у кого не было.

Всю жизнь я вспоминаю этот случай плача и проклиная подлого Шамрая. Хочу: пусть хоть на склоне лет настигнет его жесткая кара за издевательства, которые он чинил над нашими матерями и нами, детьми. Не может быть, чтобы это осталось судьбой безнаказанно — ударит какой-нибудь паралич и сдохнет, как собака.

Знаю, был на войне под конец и каким-то образом по методу того хохла (ну известно каким) подхалимством, наушничеством выскочил в офицеры, хотя образование имел 5 классов, женился на молодой Таньке Будановой, нашей

поселочной девке, и укатил на Украину.

А я все время твержу, что рано или поздно, Бог его накажет. Мама после того случая стала какой-то каменной, после плача начала успокаивать меня:

— Не плачь, дочка, наши ягоды попали в детсад. Значит, детки их поедят и помянут этими ягодками всю погибшую от голода, войны и страданий нашу родню! И особенно наших маленьких умерших девочек: Настеньку, Машеньку, Маню и Шуру.

Только после этого я немного успокоилась.

Позже, спустя много лет, я все-таки прослышала, что этот палач Шамрай понес заслуженную кару от Бога за наши обиды.

Еще одна горькая правда. Мой брат Иван Николаевич Минаев, имея среднее образование, на фронте был командиром расчета батареи 120-мм минометов в 748 стр. полка 206 стр. дивизии, был награжден орденом Красной Звезды и имел звание только сержанта.

Шамрай же, имея всего пятиклассное образование и никакого специального, каким-то образом выскочил в офицеры. Какого может быть? А только подхалимством к начальству. Другого пути для таких безграмотных людей не может быть. То, что имел он пятиклассное образования, это я сама лично знала, так как за эти 5 классов он приезжал в Ветью сдавать экстерном и ночевал у нас в комнате, когда я жила с мальчиками. Возможно, он выпросил филькину грамоту у директора за 7 классов? Возможно, но что он сдавал только за 5 классов — это факт. Больше он никогда ничего не сдавал и ушел с этим на фронт.

Вот так бывало тогда в жизни, как по анекдоту.

ГЛАВА 41

7-Й КЛАСС

Осенью, когда мы прибыли в школу, со мной было несчастье. У меня еще летом заболели глаза, покраснели и слезились. Потом еще на работе, когда мы

сгребали сено, мне в глаз попало семя овса, и совсем стало плохо.

Я вернулась с работы домой, и всю ночь мама промучилась со мной: боль в глазу была настолько отвратительной и режущей, что не было никакого спасенья. Мама и я всю ночь не спали, только к утру я немного забылась, а когда очнулась, то почувствовала какое-то облегчение. Посмотрела в зеркало, оказывается, зернышко овса выпало из глаза и торчало теперь в уголке у переносицы. Я быстро умылась и мне стало намного легче. Но на работу я уж больше не пошла.

Скоро мы уехали в школу, и больничный доктор меня быстро вылечил. Он сказал, что у меня конъюнктивит. «У тебя, Люсенька, наблюдается недостаток витаминов». Ну, ясно, какое уж у нас было питание там, многого кое-чего не доставало, питались одной картошкой — какие уж тут витамины!

Прейдя в школу, я как в былые годы, по привычке, села на заднюю парту. Теперь уже у нас были не столы, как раньше, а появились новенькие парты. Но, увы, я почти ничего не разбирала, что было написано на доске, чему очень удивилась. Раньше я с заднего сиденья видела отлично. А теперь буквы и цифры у меня расплывались, и еще все перед глазами затягивалось какой-то пленкой, слезами. Тут еще один глаз, в который попадало семя овса, был у меня забинтован, так как краснота еще не прошла у него совсем. И одним глазом смотреть вообще была мука.

Зинаида Ивановна, жена директора школы Алексея Ивановича, вела у нас математику. Высокая, строгая, в больших очках и синем, английского покроя, костюме — наша классная руководительница, внимательно оглядев класс, тут же пересадила меня на первую парту к Шуре Безруковой. Так я с этих пор оказалась в числе тех, кто сидит перед носом учителей и боится лишний раз пошевелиться. Это меня не очень устраивало, хоть и была я послушной и скромной девочкой и все время «ходила» в ударниках учебы.

Но все-таки сидеть перед столом учителя как-то было неприятно: чувствуешь себя постоянно скованной, напряженной до нервозности. Это уж мальчишкам-хулиганам все равно где сидеть. Вот и сажают их перед носом

учителя, особенно тех, кто еще способен на исправление, чтобы лишний раз не вертелся. А я-то ведь не хулиганила, зачем мне сидеть перед носом учителя и смотреть ему в глаза? Куда лучше на задней парте, где чувствуешь себя человеком раскованным, а не напряженным и слушаешь объяснения учителя естественно, зная, что тыне в центре его внимания, что он и ты не смотрите друг на друга в упор. Хотя на задних партах немало отпетых сорванцов, которых сажают туда и от которых не ждут уже ничего хорошего, а просто так, чтобы не мешали остальным. Но они частенько мешали нам, девчонкам, так как нередко задевали то за косички, то требовали дать им списать контрольную и т. д. Но все равно: лучше бы сидеть сзади, чем впереди.

И я оказалась в новом положении, которое меня не очень-то обрадовало. Но ничего не поделаешь, пришлось смириться. Глаза мои зажили, а видеть я все-таки стала значительно хуже, чем раньше. И мое положение в классе не изменилось, то есть я осталась сидеть на первой парте среднего ряда рядом с Шурой Бсзруковой, прямо перед учительским столом. Правда, это имело некоторое преимущество, не донимали мальчишки, и за нашими спинами сидели моя любимая подружка Надя Малышко и Катя Пономарева. Это несколько компенсировало мне судьбой мое новое месторасположение в классе по сравнению с удобным предыдущим. И я смирилась.

С Надей Малышко нас связывала крепкая дружба. Я часто уходила к ней в гости в общежитие. А когда были дома, на поселке, то — домой. Мы вместе читали с ней в этом году книгу Ги де Мопассана. Эту книгу в подарок прислала ее старшая сестра Рая. Она училась в сельскохозяйственном техникуме в каком-то северном городке на агронома и была великой модницей. Приезжая на каникулы в поселок, она ходила в кино в нарядных платьях, которые нашла старшая сестра Соня, жившая в поселке Мещура, и была замужем за хорошим человеком.

Итак, в свободное время мы с Надюшей читали новую, какую-то

особенную книгу, присланную ее сестрой, и удивлялись тому, что там было написано, и тому, как это Рая решила прислать в подарок младшей сестренке Надюше такую ОЧЕНЬ «СТРАШНУЮ» книгу, которую мы прятали от других, боясь, как бы ненароком ЭТА «БЕССОВЕСТНАЯ» книга не попала в руки нашим старшим, то есть родителям или сестрам и братьям. Мы читали ее и здесь, участь в школе, и дома, будучи на каникулах, и от всех прятались, когда читали. Читали и перечитывали одни и те же произведения по несколько раз, потому что нам многое у него, у этого Ги де Мопассана, было непонятно и потому, что все написанное в ней нам казалось страшным и бесовским. И хоть мы были очень скромными девочками, мы не бросили ее, эту книгу читать, так как считали, раз прислана в подарок, то хорошая она или плохая, ее надо прочитать, то есть принять, как принимают и те подарки, которые не нравятся. И потом мы в ней увидели то, о чем еще в жизни совершенно не знали.

А незнакомое, плохое или хорошее, всегда влечет. Вот и читали мы ее, эту книгу, сосредоточено, молча, смотря в одну страницу и пробегая ее глазами, вслух мы с Надей не отваживались читать Ги де Мопассана, где уж там нам, 13-летним девчушкам, произносить такие слова в голос, что написал автор... Невозможно это! Итак, мы Молча и внимательно прочитали вместе с Наденькой все большие повести и романы Ги де Мопассана: «Милый друг». «Жизнь», «Монт-Ореоль» и др. и добрались до его коротких рассказов. И вот тут- то и попались...

Однажды в весенние мартовские каникулы мы с Надюшей, когда ушли наши родители на работу, уютно устроились перед раскрытой дверцей горячей печки и зачитались у нее в квартире. И... не заметили. как ее мама, Маркелевна, пришла на обед, разделась неслышно в первой маленькой комнатке, увидела в раскрытую дверь пылающую печь и две маленькие фигурки девчушек, увлеченных чтением. Она подумала: «Что же они так внимательно читают? Неужели учебники?» И подошла неслышно сзади, и

заглянула в книгу. Хотя и была она украинка, Надина мама, и говорила на украинском языке, но в данном случае все-таки разобралась в русском тексте и, как на грех, из прочитанных ею нескольких строчек она поняла, что речь шла о любви, причем не очень скромной любви, которую описывал Гиде Мопассан. И мама Нади, возмущившись таким содержанием прочитанного, тут же вырвала книгу из наших рук (чему мы просто удивились несказанно). Представьте себе, перед нами лежит книга, мы уткнулись в нее буквально носами, и вдруг... эта книга неизвестно как выпорхнула из наших рук, как птица, и... полетела в ярко пылающую печь,

где вспыхнула, как факел, и через минуту от нее осталась только горка черного пепла необыкновенной конструкции, который тут же рухнул и рассыпался. Только гут мы опомнились и оглянулись назад... Позади стояла мама Нади, выражение лица ее не обещало нам ничего хорошего:

— Ось яки вы книги читаете! А я-то думала, стара, шо вы учебниками интересуетесь... А вы — романами.

Мамочко. — взмолилась Надя, — так цу книгу мини Рая прислала! А вы ее в печь... и заплакала..

— Ось, Я ЕЙ ОТСТРОЧУ И ПОСОВИТУЮ. ЯКИСЬТОБИ КНИГИ ПРИСЫЛАТЬ!, — не унималась Маркелевна.

На этом кончилось наше чтение Ги де Мопассана, которое возобновилось только лет десять спустя. Подвел нас Ги де Мопассан! Основательно подвел!

После — спустя некоторое время, мы уже с Надюшей не плакали, а смеялись очень, вспоминая, как «застукала» нас ее мама и чем это кончилось. Жаль только книги, первой подаренной и такой необыкновенной книги. Видно, Рая сама ее не читала еще, высылая сестренке подарок. Иначе такую книгу такой еще малышке, она не отважилась бы отослать. Но дело было сделано. А что Бог не делает, говорят — всё к лучшему. И у нас в воспоминаниях остался яркий момент такой, как факел, горящей книги! Спасибо судьбе и за это!

ГЛАВА 42

О НЕГОДЯЯ ПАЛАЗНИКЕ

Вот и колхоз организовали у нас в поселке и закупили и лошадей, и коров. В лошадях я не знаток — какие они, а коровы и невооруженному глазу видны, какие они. Никудышные. Видно, назло подсунули нам — на тебе, Боже, то, что нам не гоже: высокие на ногах, прогонистые и длинные, худые, а вымени совсем не видать. Что это за корова — на быка и то не похожа. Быки обычно кряжистые, крупной, широкой кости, мясистые. А у этих ни мяса, ни молока. Но других не смей заводить! Каких всучили, такими и пользуйся. И вся молодежь от них такая же — без вымени. А молока и масло по объемистым налогам отдай сполна.

Вот и собирали на налог кое-как, а больше от них, этих коров, не было никакого проку. Быки, да и только. Еще хуже — на быках пахали, а тут ни жару, ни пару. Так и мучились с ними десятилетиями. Коровник на отшибе, у ручья. Вечером мы, стайка детворы, отправлялись туда с пол-литровыми бутылками за обратом. На каждую семью выдавалось пол-литра обрата. Стояли мы там часами во дворе коровника, кормили своей последней кровью несметное количество комаров и мошкар, дожидаясь, пока подоят коров доярки, да пока пропустят молоко через сепараторы, а затем начнут уж нам отпускать сепарированное молоко, наливая через воронки наши бутылки. Пока дождешься этой белой воды, изъедят тебя тучи комаров и мошкар в кровь, бежишь оттуда, как в огне горишь, а мама уже ждет, берет бутылку, выливает в чугунок, добавляет еще столько воды и кипятит. Когда закипит, бросает туда самодельные черные галушки. И вот похлебка готова. Все дружно садимся за стол и хлебаем горячие галушки в молоке. Кажется, ничего вкуснее в жизни не едала... И забываешь, что за жидкую похлебку, забеленную молоком, в которой редко плавают галушки, ты заплатила своею кровью, тебя всю изгрызли до волдырей и кровоподтеков комары и проклятая мошкара... Забываешь, а назавтра опять бежишь к коровнику — в этот ад... И начинается все сначала.

Сегодня в коровнике услышала интересную новость. Как известно, и в коровнике, и в конюшне, и в овчарне имеются ночные сторожа. Так вот, в коровник на должность ночного сторожа устроился белорус ПАЛАЗНИК. Подлый человечиска. Взрослые его называют, извините, зассатиком. У него не держится моча, и потому от него всегда прет вонюю, так как он ходит постоянно в мокрых штанах.

Но дело не в его внешнем облике. А в том, что он сам по себе человек подлый. Так и прислушивается: где, кто, что сказал, и затем ни за что, ни про что предаёт этого человека. Людей этих сажают, и от них потом ни слуху, ни духу. Таким образом, этот идиот посадил в тюрьму уже не один десяток добрых работников, а сам лодырь из лодырей.

Вот этим предательством и промышляет. Его постоянно перекидывают из одной бригады в другую, с одной должности на другую. Все равно от него, как от работника, толку никакого, а «врагов народа» ловит, хотя добрые люди считают, что ОН И ЕСТЬ САМЫЙ ПОДЛЫЙ ВРАГ НАРОДА, самый паршивый и низкий человек, которого следовало в первую очередь стереть, как гадюку, с лица земли.

А поди ж ты! Этот слизняк ползает по земле и уничтожает добрых людей и работяг. А ему, этому мокрому вонючему червю, все ни по чем.

Теперь он определился поближе к молоку, сметане и маслу. И как этого вонючего подлеца допустили к такому продукту — все диву даются.

Но, Боже мой! Чего в то время противоречивого не было! Итак, вонючий Палазник — сторож в коровнике. И вот проходит по поселку слушок: в коровнике, в комнате, где сепарируют молоко, хранят сметану и бидоны с маслом, стало пропадать масло. Значит, кто-то ворует. Но ведь на ночь эта комната закрывается на массивный замок, и, кроме того, по коридору вдоль коровника ходит ночной сторож, Палазник. Так кто же вор?

Заведующая МТФ тетя Наташа АМОЧАЕВА обратилась с бедой к председателю колхоза дяде Саше Звонареву и коменданту поселка. Посоветовавшись, они решили поймать этого вора простым способом. Взяли и

посадили на ночь в комнату, где стоят бидоны с маслом, боевого дядю Илью БОЧАРОВА — сорви голова: великан, силища богатырская, за воротник любого человека с земли поднимает. Ну вот, сидит себе этот атлет ночью под столом, загороженный досками, и ждет, какой же вор придет за вкусным свежим маслом?

И вот далеко за полночь загремели замком... Ага! Кто-то, значит, открывает замок ключом! Входит в открытую дверь, в темноту и затем, выждав минутку, чиркает спичкой, подходит у бидону и открывает его.

Дяде Бочарову надо было бы подождать, когда этот вор наберет масла, а он не у терпел, выскочил из своей засады и... хватать вора за воротник. А вором-то оказался вонючий ПАЛАЗНИК! Когда дядя Илья приволок его в комендатуру ночью, то хитрый Палазник повернул все дело наоборот, с ног на голову. Говорит: «Я, сторож, услышал шорохи в комнате, значит, кто-то забрался туда воровать масло. Вот я и зашел. И комнату, дескать, он не открывал, сделал это кто-то другой. Вот, дескать, он и поймал вора. А не его поймали.

Вот так-то! Поторопился дядя Бочаров. А зассатый Палазник вышел сухим из воды.

И его опять перевели на другое место — сторожем в конюшню, где он начал воровать овес. Тут был уж пойман с поличным: нес пол мешка овса на плече домой, а из стога сена, что был у конюшни, вышел дядя Семен МАКАРОВ, и на этот раз вору - Палазнику отпереться не удалось.

Но что бы вы думали? Вора не отдали власти под суд за злостное воровство, как других матерей сажали за несколько картофелин, а перевели на другой поселок и ставили на такие же должности, где не надо было тратить физическую силу. И он снова воровал и предавал людей.

ГЛАВА 43

ДЕТСКАЯ ОЛИМПИАДА

Конец мая 1941 года, кончился учебный год. Общешкольное собрание в актовом зале начальной школы. Со сцены выступают учителя, дают напутственные советы.

Последним выступал директор школы, попросил нас, детей, когда начнется детская олимпиада в районе и нам будет на все поселки сообщено, чтобы участники прибыли к определенному дню в школу, разумеется, пешком. Никто нам никакого транспорта не представлял.

Вам явиться в школу самостоятельно. А отсюда уже с учителями двинемся в район, тоже пешочком.

Выходит, что надо пройти от нашего поселка до района 80 километров.

Напрасно директор нас уговаривал, чтобы все явились, и даже пригрозил, что если кто сорвет олимпиаду, то есть не явится, то будут приняты какие-то дисциплинарные меры. Я, например, удивлялась этому. Мне казалось, что каждый с удовольствием будет ждать вызова, как я. Ну и действительно, все явились в срок, и никто не опоздал и не отказался участвовать в олимпиаде, даже больных не оказалось.

И вот актовый зал в районном Доме культуры жужжит, как наполненный пчелами улей. Рядом в другом зале — выставка, где висит и мой рисунок: «Анка-пулеметчица» из чапаевской дивизии. Собственно, рисунок удался на славу. Кроме рисунка, что попал на выставку, я еще буду рассказывать на этой олимпиаде поэму Лермонтова «Мцыри», от начала до конца, а это четыре печатных листа из учебника по литературе. И еще я участвую в танцах.

За рисунок и поэму «Мцыри» я удостоилась премии — сатинового отреза на платье. Лучшего подарка по тем временам не придумаешь. Такими же подарками были награждены и мои любимые подружки: Надя Малышко и Катя

Пономарева. Катя, как и я, маленькая художница, отлично рисует.

Нас было только две девочки в школьном кружке рисования, я и Катя, остальные все мальчишки, человек двадцать пять. А рисовали мы с ней лучше всех. Даже лучше учителя по рисованию и руководителя кружка. У него, например, не получались лица детей и взрослых естественными, а выходили какими-то напряженными и некрасивыми. А у нас с Катей все отлично получалось: и цветы, и люди, и природа. Наши рисунки всегда признавались лучшими, как в школе, на выставках, так и на детских олимпиадах.

Наш поселковый фельдшер Барченко, увидев как-то мои рисунки дома, а я ими украсила не только свою комнату, но и комнату дяди Феди Лаврснова, так вот, Барченко очень советовал мне после окончания школы поступать в художественное училище. Но я знала, что не пойду туда потому, что не тянуло, как на литературный. Но в литературный мне в жизни тоже не посчастливилось по обстоятельствам поступить. Мечта осталась на всю жизнь мечтой.

По окончании олимпиады мы вернулись домой тоже пешком — еще прошли 80 км. Обратное шли трудно: устали, маленькие девочки отставали, мы их с учителями поджидали, а они, бедненькие, плакали. Но домой добрались все, никто в пути не остался без присмотра и помощи. У слабеньких брали узелки, развлекали их смешными рассказами. Отдыхали почаще, чем положено, и так потихоньку добрались до дому, уставшие, но счастливые. Сколько впечатлений осталось в детских душах!

ГЛАВА 44

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ

Вернулись домой с олимпиады веселые, жизнерадостные, А ТУТ НА ДРУГОЙ ЖЕ ДЕНЬ ОБЪЯВИЛИ, ЧТО НА НАС ВНЕЗАПНО НАПАЛА ГЕРМАНИЯ, и началась жестокая война.

Очень четко помню этот злосчастный первый день войны. Объявлено:

работу закончить в четыре часа — чего никогда не было. А в пять всему взрослому населению собраться на площади между магазином и домом, где раньше была начальная школа.

Вынесли скамейки из клуба и установили на поляне.

День был ветреный, холодный, рвал платки с голов женщин, нес пыль и откуда-то солому, с гумна, что ли, которое расположено у конюшни.

Комендант с кобурой на боку, уполномоченный, приехавший из района, и председатель колхоза открыли собрание.

Уполномоченный взял слово и объявил:

— Сегодня, в четыре часа утра немецко-фашистские войска вероломно напали на нашу Родину. Бомбили Киев, Брест и другие города. Вторглись на территорию Советского Союза без объявления войны.

Хмурые лица баб с малолетними детьми на руках, с надвинутыми платками на лоб, выражали такую скорбь, при взгляде на которые холодело сердце.

Боже мой! Опять неминуемые тяжелые потери и утраты, жестокие, голодные, кровавые годы войны и бесконечное горе, и миллионные смерти людей, как в годы выселения.

Когда же кончатся эти напасти на нас и на мой народ?

ГЛАВА 45

ГНИДА, ВОНИЮЧАЯ ЖАБА — ПОДЛЫЙ,

БЕСЧЕЛОВЕЧНЫЙ ГАД БЕКИШ

Все никак не налегает рука описать самую отвратительную, низкую, поганую, самую подлую личность в нашем поселке идиота - палача, мучителя и душителя нашего поселкового народа БЕКИША.

Он прибыл в 1935 году с высланными белорусами. Его семья — шестеро детей, все сыновья, и жена — молодая, лет 37, высокая, тонкая, стан, как у девушки, ходила всегда в ярких холщовых юбках и ситцевой светлой кофте.

Сам, гад - хозяин Бекиш, дюжий великан, холенный, мордатый, безбровый,

лысый. В отличие от других работающих белорусов славился среди своих земляков, а теперь и наших русских, такой до умопомрачения бессовестной ленью, лодырничеством, увиливанием от всякой работы, что люди просто диву давались, как можно было при такой богатырской силе воспитать в себе непробудную лень.

А наши две семьи — Лавреновых (дяди Феди и тети Даши) и нашей, Минаевой (папка с мамкой), сразу именовали его АРСЕНИЧЕМ № 2.

Портрет был схож на все 99 процентов.

Если наш всеобщий хуторской лодырь АРСЕНИЧ № 1 в былые единоличные времена хватал подушку и бежал спать в погреб, когда казаки лили семь потов в поле, то нашего поселкового БЕКИША тактика боя с физической работой почти не отличалась от тактики Арсенича. БЕКИШ, будучи не единоличником, а уже членом сенокосной колхозной бригады, хватал косу, и первый бежал в кусты, якобы выкашивать там сено. А на самом деле, помахав раз пять косою, выбирал погуще траву и сплетенные ветки кустов, подождав, когда товарищи, размахивая косами, уходили все дальше от его персоны, ОН ЗАБИРАЛСЯ В НЕПРОНИЦАЕМЫЕ ЧАЩИ сплетенных ветвей, листьев и трав и, накрывшись пиджаком с головой, спал там до конца дня, блаженствуя и вдыхая кислород во всю мощь легких.

А почему бы ему не спать?

Работа коллективная, по коммунистическому стилю: сколько накопили всей бригадой к вечеру — учетчик обмерял площадь и делил поровну на всех, а затем записывал в ведомость, каждый заработал по 1, 25 трудодня. ВОТ И ВСЯ АРИФМЕТИКА. А что на эти палочки будет выдано в конце года, одному аллаху известно, вернее, давно всем известно — НИЧЕГО! Ну а Бекишу это невыгодно, вот и спит он за эти палочки, отсыпается на коммунистическом коллективном груде, все не даром, как другие дурни идут к этому светлому будущему в поте лица своего. Пусть тешатся, что построят это утопическое общество, он-то, Бекиш, знает, что с такими персонами, как он, и в миллион лет не доехать до

этого КОММУНИЗМА, так как таких, как он, миллионы, и, следовательно, ждать нечего — значит, с лихой собаки взять хоть шерсти клок— сон, и то доход: здоровье сбережешь и не упашешься, а палочки пусть себе идут, как у всех.

Господи! Сколько бед навалил этот палач-Сталин и его приспешники на головы этих несчастных колхозников — мало что на трудодни ничего не дают, так еще всякие бесчисленные налоги плати. Семья ничего из живности, даже цыпленка, не имеет, а 50 килограммов мяса отдай, полторы шкуры с кого-то сдери, денег 200 рублей выложи, а откуда их взять? Если на трудодни и копейки не дают.

Вот и молятся колхозники на председателя колхоза дядю Сашу Звонарева. Спасибо хоть налог натурой он уплатит из колхозного фонда животных за каждую семью, что хоть он их души пожалеет и уплатит из колхозного добра все эти злосчастные шкуры, мясо и сотни рублей. А сами колхозники как-нибудь проживут на своей картошке, которую и сажают, и убирают в весенние и осенние ночи — другого времени на эту «роскошь» не дано свободной, вольной жизнью, завоеванной революцией. Хорошо, хоть ночи на этом проклятом Севере светлые, иначе как бы убирать картофель в кромешной тьме?

Шайка негодяев, во главе с маньяком Сталиным по сути дела изолировала всех трудоспособных, крепких мужчин в лагеря, где уничтожала их голодом, холодом и расстрелами. А женщин и стариков, которые оставались в колхозах, душили непосильными налогами и непосильным трудом — фактически тоже уничтожали. Как же они, эти палачи, думали кормить страну, уничтожая крестьянский род?

А ни о чем они не думали, кроме того, как, шагая по людским костям и трупам, уничтожая еще и своих соперников, добраться до вершины власти. И опять, гноя в тюрьмах и лагерях, и расстреливая миллионы, держаться на вершине этой пирамиды власти.

Пишу эту книгу потому, что нигде никогда не читала про наше житье-бытье, никто не написал, так как писать было нельзя.

Солженицын написал об АРХИПЕЛАГЕ ГУЛАГ, но это о взрослых заключенных. А вот о высланных, так называемых кулаках, не написано. А какие там кулаки, когда на 90 % были дети, старики и старухи. А это никого из государственных мужей не касалось. И правительство, и элита, то есть исполнители этих изуверских замыслов, хорошо ели и пили, преспокойно спали с наганами на боку, когда сотни тысяч, миллионы детей и стариков гибли от творимого этим правительством произвола, голода, эпидемий, непосильного труда, издевательства.

А в наших пап и мам эти «революционеры» и постреливали, и сажали в тюрьмы их. И все ими содеянное считалось законным. А мы, дети этих несчастных родителей, умирали сотнями тысяч, миллионами. А те, немногие, которые остались живы, не могли десятилетиями заявить о своем таком существовании, которое преподнесло нам активное поколение революционеров, именуя это передовым учением Маркса-Ленина-Сталина, которое добивало последних хозяев на славянской, русской земле.

Вот теперь, спустя полусотни лет, я пишу об этом, но когда эта книга увидит свет — еще тоже неизвестно.

Итак, о гаде Бекише Иване Николаевиче. Он спал в кустах, а ему записывалось каждый день энное количество трудодней. Когда мужики стали догадываться, а потом и прямо находили его в кустах спавшим, и выложили это бригадиру, то комендант вызвал его к себе. И что бы вы думали? Через несколько дней бригадиром... стал Бекиш, только не в этой бригаде, а в другой. А в этой бригаде недосчитались... нескольких мужчин, их посадили. Оказывается,

Бекиш не только спал в кустах, но и сочинял в свое оправдание доносы на людей бригады, дескать, в кустах он не спал, а наблюдал за «врагами народа»: кто как работает, кто что говорит... Весь его донос на 100 процентов составляло вранье. Но тогда на все эти же 100 процентов верили доносчику. И что бы он ни плел на людей, все принималось к сведению, как неопровержимое доказательство, и люди погибали в тюрьмах. Не было о них никаких известий, ни

строчки — как в воду канули. Что там с ними происходило, оставалось страшной тайной: умирали ли они от голода и пыток или их расстреливали - никто ничего не знал. Никакой переписки с родными и близкими не допускалось.

И нельзя даже было об этом с кем-то говорить и кого-то расспрашивать, нельзя было даже обмолвиться словом с семьями пострадавших, так же как и им нельзя было обратиться ни к кому с вопросом — что же произошло с их близкими. Вот какие страшные времена...

Объявили о колхозном собрании. Все взрослое население, смертельно уставшее, шло после работы на него.

После сообщения результатов работы за определенный период начинались выступления (прения) коменданта, затем, подхалимов-предателей народа: Барченко, Бекиша, Дьяконова и им подобных.

Особенно изощрялся Бекиш:

— Я кажу, що если мы будемо ударно робыть, то мы добьемось таких результатов, що СКОРО БУДЕМО РЫС ТУТОЧКИ СЕЯТЬ.

Кто-то с задних рядов негромко подтвердил:

— Точно, у нас на болотах рис будем сеять. И поливать не надо. Воды как раз о-ей-ей!

Комендант вскинул голову, стараясь отыскать говорившего. Недовольно хмурился, что переборщил Бекиш. Но возражать, разумеется, никто не смей. Даже в мыслях не держи! Вон и аплодисменты жаркие сидящих подхалимов подтверждают, что много говорить не дано! Хоть чушь, хоть бред несет идиот и лодырь, мерзавец и негодяй, а в ладоши хлопай, иначе тебя... ухлопают, запекут туда, где не снилось. И... крышка.

Только нам, малым детям, еще разрешалось в кругу своем посмеяться над дураками - подхалимами. которые изощрялись в своих выдумках при выступлениях на колхозном собрании. Да, эти предатели-палачи, действительно враг и народа, всегда активно нагло выступали на всяких собраниях и смешили честной народ. Но народу, упаси Бог, засмеяться

— живым сгноят ни за что ни про что в тюрьме.

А мы, малыши, под крылом безгрешного ангела могли еще позволить себе посмеяться.

Наша юмористка-белорусска Варя Коваленко выходила перед нами, усевшимися на траве, на полянке в лесу, где мы собирали ягоды, и представляя, что мы — собрание, а она

— Бекиш, начинала свое выступление:

— Я кажу, сотоварыщи, шо таким лодырям, я к я, треба поменьше храпеть в кустах коло болота, та разгонять своей пулеметной очередью у тим болоте лягушок с погаными мордами, як у мене. И если все эти лодыри, як я, возьмутся за работу, то мы, я кажу, горы звернем и добьемось того, шо у тим зеленом болоте, кое протухло от газив, мы научимся рыс сеять, и ни тольки у болоти. но и на моей лысине, — заканчивала Варя и хлопала себя большим листом по темечку.

Мы катались на траве от смеха. Варя — ну артистка — хоть бы улыбнулась, когда декламировала этот монолог. Зато потом, упав на траву, хохотала вместе с нами до слез.

Только мы успевали отдышаться от смеха, как Варенька, наша бледнолицая красавица с черными, как сливы, блестящими глазами, алыми губками и волнистыми, как смоль, волосами опять выходила в круг и на этот раз представлял другого гада — зассатика Палазника.

Подвязав мокрый платок концом назад у пояса, который поливался ею незаметно из консервки, она поддергивала мнимую мокрую мошню-платок, с которого стекала струйка воды, и, прохаживаясь между нами, черпала ягоды из наших ведер кружкой, приговаривала:

— Я вор и жулик, вонючий Палазник, не могу жить без маслица и сливок колхозных. Это вы проживете без хлеба на траве да картошке. А мне нужно молочко, маслице, сметанка. Я ем и пью и, как видите, — сикаю... день и ночь, — и опять Варенька поддергивала мокрый платок, с которого лилась тоненькая

струйка воды.

Ну тут уж мы просто помирали от смеха. А Варенька, как Райкин, представляла уже нового героя комедии. На этот раз тетю Машу Решотко.

Взяв у какого-нибудь мальчишки не по росту рваный пиджачок, она подпоясывала его веревочкой (лозиной), укутывала одну руку в широкий лопух, представляя якобы рукавицу, на ходу мастерила подобие второй рукавицы из другого лопуха, клала эту «рукавицу» в первую и начинала новое представление.

— А де ж ты, моя драна голица? А куда ж вона сгнула? — вертела головой Варюша и заглядывала во все ведра и нам за спины. — А шоб ты сгорела, а шоб тебе подняло та хлопнуло! А шоб тоби, драной, паршивой, на пузи до Киева повзти! — при этих изречениях она поднимала кого-нибудь из мальчишек за воротник и, прихлопнув по кепке, с сердцем опускала на землю, затем, хлопнувшись животом на траву, ползла по-пластунски, загребая руками.

Этот спектакль доводил нас до изнеможения, мы так смеялись, что не могли подняться с земли.

Итак, мы, детвора, смеялись на полянке в лесу, над подлыми предателями народа, а они, негодяи, продолжали свое черное дело. Уже посажен не один десяток людей в тюрьмы, а им все мало. Все снуют по поселку, на работе, в бригадах, выискивая, вынюхивая «врагов народа». Сидят ли или лежат в кустах, подслушивают ли у дверей барачков, прислушиваются к разговорам на собраниях: кто как сказал, что ответил — все фиксируют, перевирают в бесконечных доносах...

НАЧАЛАСЬ ВОЙНА. Тут уж предатели и вовсе удвоили свои силы. Авось за такую активную работу бронь наложат, и можно от фронта увильнуть.

Поехали колхозники за 200 километров вверх по течению реки Вынь сено косить. А чтобы сплавить его оттуда на плотках, под конец сенокоса послали на подмогу еще бригаду людей. Попал в эту бригаду и мой отец, и Бекиш.

Приехали. Косари рады без ума. Больше месяца не видели своих поселковых людей. Изъеденные комарами, измученные, худые, истощенные

бежали, спотыкаясь, гурьбой к берегу, обнимались с приезжими, целовались, плакали.

— Ну, как вы тут? — спрашивали гости.

— А как вы там? Много ли ушло на войну мужиков? Что слышно-то? Как воюют? Кто кого пересилил? Неужто наши все отступают? Ах, горе какое...

— Мы тут истинно, как в лесу — не слышно и не видно.

— Ну, Николай Антонович, скажи правду, что там творится?

— Да что творится, отступают наши. Пока вы приедете, ей-ей где немец будет. Прёт.

Казаки и бабы заохали. А Бекиш прилег заранее в кусты и срисовал всю эту картину в том духе, в котором ему надо было. Кое-что в уме перефразировал, поддав другой аспект. Например, последнее предложение записал в своей башке так: «Пока вы приедете, немец уже наверное у нас будет». Ну и так далее, в том же духе.

А люди просто по-человечески сокрушались, горевали, забыв в этот миг встречи свое горе, свои нужды. Ведь у многих были на передовой свои дети. Зато у Бекиша там никого не было, и чтобы спасти свою шкуру от передовой, он теперь готовил к пропасти новые жертвы.

И ВОТ ОДНОЙ ИЗ ТАКИХ ЖЕРТВ ОКАЗАЛСЯ МОЙ ОТЕЦ.

По приезду Бекиш, не мешкая, отнес донос к коменданту.

Пришла зима, и опять стали исчезать из поселка люди, один за другим — уже нет Каната и Чигиря, не стало и нашего отца. Вот только днем видели Каната и Чигиря в магазине, а отца в сапожной мастерской, а за ночь их кто-то языком слизал.

Отец пришел с работы, ничего не подозревая, сел ужинать, вдруг приходит посыльный из колхозной конторы и говорит:

— Антонович, тебя вызывают к председателю.

Ну, к председателю как к председателю, всякого приглашали, если что нужно насчет наряда или еще какие-либо вопросы решать. Уходили к

председателю колхоза спокойно. Вот и отец поужинал и со спокойной душой пошел. А чего бояться-то ему? Ничего не украл, ни былинки. Ничего, кажись, не болтал. Видно, насчет каких-то колхозных дел приглашает к себе Александр Иванович Звонарев — дядя Саша (для нас, детей). Ну и пошел наш батька, сказав нам с мамой на прощание:

— Я скоро вернусь, ложитесь спать.

Мы с мамой и легли. Прошло немного времени, вдруг опять стук в дверь. И снова посыльный, но теперь сказал такое, от слов которого захолонуло сердце.

— Ивановна, собирайтесь с дочкой, пойдите попрощайтесь с Антоновичем, его забирают.

Слово «забирают» всем было известно, что оно означало...

Маму сразу затрясло, как в лихорадке. зуб на зуб не могла попасть.

Мы в спешке метались по комнате, как ненормальные, и ничего не могли понять, что с нами происходит и что нам надо предпринимать. Затем, как по команде, сели сразу за секунду на табуретки и сидели, как онемевшие, с остекленевшим взглядом, неподвижно, как деревянные. Потом очнулись. Мама приказала мне спешно одеваться, а сама взяла холщовый мешочек, положила туда круглый хлебец, который оказался в единственном числе в доме, несколько картошин варенных, что оставались на завтрак, сумочку с крупой, которой у нас было примерно с килограмма. И еще всыпала туда ведро сырой картошки. Больше класть в мешочек было нечего. С Этой ношей мы отправились в комендатуру. Нас встретил у входа какой-то незнакомый дядя и проводил в комнату, где были отец и еще двое мужчин.

Он сказал:

— Прощайтесь с хозяином.

Мы оцепенели. Отец заплакал и бросился ко мне. Обнял, поцеловал. Затем они попрощались с мамой. И нам тут же было приказано оставить помещение и идти домой.

Мы с мамой в невменяемом состоянии покинули эту мрачную комнату,

плача пошли домой. Нас все время трясло, лихорадило и страшно болела голова. Дома мы не раздеваясь легли в постель, так как нам все время казалось, что в комнате холод, как в неотапливаемом помещении.

Я чувствовала, что маме очень плохо, и мне тоже, но ничего сделать было невозможно. Мы тряслись до утра, пока не забрезжил рассвет. Мама поднялась через силу и затопила пригрубок. Я тоже привстала с топчана и, приоткрыв дверцу печки, присела на корточки, стараясь согреться печным теплом.

Обе мы молчали. Не могли говорить. И когда мама сгондобила какой-то завтрак и сказала мне: «Ешь, дочка» — ни я, ни она к завтраку не притронулись. Я даже не поняла, что она сказала, только посмотрела на ее измученную фигуру, лежавшую плашмя на нарах, и заплакала.

На работу мама идти не могла, так и лежала на топчане с отрешенным взглядом, с немигающими глазами.

Вскоре к нам явились незваные гости: оперуполномоченный, конвоир Андрющенко (тот, который ловил беглых заключенных). Мы его именовали конвоиром, а как он значился в тех рангах, мы не знали. И еще третий мужчина, якобы, понятой. Пришли делать обыск.

Ох, Господи! Что искать-то? Вначале они произвели уже обыск в колхозной сапожной мастерской, где папка работал в единственном числе на весь поселок. Разумеется, ничегошеньки не нашли у этого «злостного врага народа», никаких прокламаций и листовок, призывающих к свержению советской власти или диктатуры коммунистов, как в былые царские времена печатали и распространяли боевые революционеры. А тут «враг народа» — и в мастерской, и дома ни четвертушки чистой или неписаной бумаги. Нашли у него на рабочем столе обрывок куска грязной бумаги и или газеты, на который он клал гвозди и шпильки, шило для подбития подошв. Вот и весь обличительный докматериал. Говорят, на обрывке этой бумаги оказалось два стихотворения собственного сочинения. Отец наш в душе был еще писатель и поэт.

В юности, на родине, он писал книгу про земляков нашего казачьего хутора.

Но это было давно, в прошлом, и книга была им же лично уничтожена по той причине, что ему не понравилось. А вот два стихотворения о любви, видно, носил в сердце и чтобы не забыть к старости он перенес их на клочок бумаги и иногда читал, с грустью о давно прошедших годах юности. Ну и что? Какой в этом великий грех? Кто из нас не заучивал наизусть несколько понравившихся стихотворений? И кто из нас не вспоминал о них, когда вдруг взгрустнется? А тут не чужие — свои стихи! Почему о них не помнить и не хранить?

Ну вот эти несчастные клочки бумаги были забраны, как что-то «значимое». Смешно и глупо, но факт.

И вот пришли обыскивать нас. А что искать? Ищите. В комнате только и всего «богатства» — два деревянных топчана, стол, три табуретки, плита, да у окна между топчанами маленький, старенький, весь разохшийся, со скрипучей крышкой сундучок, в котором всего и богатства — на донышке мои учебники и тетрадки да два платица ситцевеньких, в цветочек. И рыться-то не в чем. У революционеров, бывало, царские жандармы поднимали столб пыли от бумаг, книг, вещей, выбрасываемых из комодов и шкафов. А тут... при такой свободной и светлой жизни, вольной воле и нос-то сунуть не во что. Кругом голые стены и нары, прикрытые мешочным тряпьем.

Поглядел сыщик, округлил глаза и изрек:

— Спрятали! Не может быть, чтобы у вас ничего не было. Разве так живут? Чтобы ничего не было — не может быть!

Андрющенко и понятой усмехнулись. Переглянулись и вздохнули.

Андрющенко сказал:

— А у него, у Антоновича, действительно ни хрена не было. Да и не у нею одного, у многих так.

Уполномоченный строго и удивлено посмотрел на Андрющенко. Но тот не смутился и снова подтвердил:

— Да, да! Я правду говорю — ничего и не было.

— А что у нас может быть? — осмелев, спросила мама. — Вот, учим

детей — в них и наше богатство. А у нас с хозяином ничего нет. Что было, все давно на родине забрали.

Сыщик после этих слов, кажется, поверил, но все-таки не совсем успокоился, так как его преследовала мысль, которая не давала ему покоя: «А что же я запишу в протоколе обыска?» Он вышел на кухню, оглядел ее — тут и вовсе искать было нечего, так как в ней, кроме вешалки с рваными бушлатами и фуфайками, ничегошеньки не было. Ни единого предмета.

Сыщик полез на печку. Там он нашел поношенное ситцевое одеяло ватное, которым укрывались те, кто залезал на печку после того, как замерзал в сосульку от сорокаградусных морозов. Вот это одеяло он и занес в протокол обыска, как собственность нашего отца. И еще под скамейкой, на которой стояла деревянная бадья с водой, он увидел рабочие кирзовые сапоги. Их уполномоченный тоже записал в протокол.

Итак, собственность «злейшего врага народа», которая подлежала конфискации, состояла из двух предметов, занесенных в протокол, так:

1. Сапоги — одна пара.
2. Одеяло — одно.

Другого имущества не имеется.

Под чем стояли их подписи.

Оперуполномоченный подал этот злосчастный листок бумаге маме и сказал властно, на полном серьезе:

Почитайте и распишитесь.

На том и окончился один из «исторических» обысков, по которым «очищали» нашу любимую родину от вымышленных «злейших антисоветчиков».

Я смотрела на всю эту, комедию обыска, как на какую-то глупую детскую игру и удивлялась тому, что великовозрастные дяди принимают в ней такое активное участие с такими серьезными минами. И думала, вот какие в жизни бывают артисты!

Уполномоченный совал маме листок, а мама даже не подняла руку, чтобы

его взять. Она устало повернула голову в направлении листа и тихо проговорила:

— Читать я не умею и расписываться тоже. Я неграмотная.

Наступило какое-то замешательство среди серьезных дядей, делавших, как им казалось, «серьезное, государственное дело», уполномоченный непроизвольно вскинул брови. Наступило тягостное молчание. Вот у кого, оказывается, делали обыск — у бедной, несчастной, неграмотной женщины с малолетней дочкой. Вот какие «враги» существуют, даже неграмотные, а ведут, как им приписывают, «антисоветчину»! Как же быть? Кто подпишет «такой важный» документ?

Трое дюжих мужиков вертелись вокруг двух несчастных «антисоветских объектов» женского пола, одна из которых была ребенком, и не знали, как им выйти из такого тупика. Уйти с неподписанным протоколом? Да их самих за такие дела «любимый» вождь всех народов, дорого товарищ Сталин расстреляет, как пить дать. Сотрет в порошок. Вот что они думали в этот момент. И волосы дыбом стали подниматься у них под их шапками.

Нашелся Андрющенко:

— А вот девочка, очень даже хорошо читает и пишет. Я слышал, что учится она отлично! Распишись, милая.

И подал мне листок. Я взглянула на него, не беря в руки, и увидела в нем сквозь слезы только две строчки, а именно те, которые привела выше:

1. Сапоги — одна пара.
2. Одеяло — одно.

Больше я ничего не читала. И чтобы они больше нас не мучили, взяла из рук Андрющенко пишущий предмет и расписалась, где указали.

Так впервые в своей жизни в возрасте 14 лет мне преподнесли вот такой «документ», который требовали даже подписать. Доселе я никаких документов в глаза не видела и не могла представить, что листок обыкновенной бумаги, написанный какими-то глупыми дядями, может быть таким страшным, убийственным, обвинительным документом, по которому наш отец больше никогда не вернется в семью.

Над столом висело два предмета: большой конверт, сшитый из старой желтой бумаги конторских счетов, в нем хранились квитанции уплаченных налогов всех мастей и за все годы, что мы там прожили во вновь созданном колхозе, и фотокарточка — папа сфотографировался с двумя товарищами на службе в Новочеркасске. Это было примерно в 1912 году. Отец наш 1891 года рождения, и в эти годы 10-12-е служил.

Уполномоченный только сейчас ее увидел и обомлел:

— Это кто на фотографии?

— Хозяин со своими товарищами по службе, — ответила мама.

— Ага! Значит он служил в белой армии? — сыщик сдернул портрет со стены и сунул его в портфель.

— А тогда была одна армия, царская. Иной не было, — ответила мама.

Но это заключение не смутило уполномоченного. Он прямо-таки торжествовал, что ему в руки попал такой «вещдок», который, по его мнению, все ставил на место. И он с облегченной душой наконец-то успокоился: «Наконец-то в руках то, что надо. Пожалуйста! Враг в казачьей форме, при лампасах, фуражке, и хоть рядовой, но с шашкой на боку. Чего еще надо? Как это я при обыске не взглянул на стену? Удивительно. Самое важное чуть сквозь пальцы не пропустил».

А мы с мамой всю жизнь не могли понять, что же в этом он увидел вражеского? Действительно, в те 1910 1915 годы ведь не было Красной Армии, а была одна, государственная, белая или черная, но государственная и, следовательно, все были обязаны исполнять воинский долг, и в этом нет ничего предосудительного. А вот дядям с наганами казалось, что люди и в 1912 году были обязаны служить не в белой, А ТОЛЬКО В КРАСНОЙ АРМИИ. И ни в какой иной. Вот ведь парадокс какой.

«Гости» наконец-то оставили нашу несчастную нищую комнатушку и удалились, забрав с собой один-единственный предмет — «вещдок», портрет отца с товарищами в действительной, обязательной, солдатской службе тех далеких

царских времен, тогда меня и на свете еще не было. А вот забрали портрет, и не стало в нашей семье отца.

С ЭТОГО МОМЕНТА Я ПОПОЛНИЛА РЯДЫ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ ИМЕНОВАЛИСЬ «БЕЗОТЦОВЩИНОЙ».

Теперь уже Надя Малышко не завидовала мне, как раньше:

— Хорошо, Люся, тебе, — говорила она. — У тебя есть отец. А я — «безотцовщина». У меня папа давно умер.

Вот теперь и я... хоть и не умер у меня папа, а... «безотцовщина», да еще хуже. Нади Малышко не чураются. А меня теперь даже подружки стороной обходят. Боятся, лишний раз со мной общаться. И с мамой взрослые тети тоже боятся поговорить. Жалеют люди, но поговорить лишний раз, посочувствовать — боятся. Очень боятся, чтобы не увидел это кто-либо из сексотов, предателей, таких, как Бекиш, Палазник или еще кто. Упаси Бог!

Мы все это видим, чувствуем с мамой, но изменить что-либо в своей жизни нам невозможно. Мы живем среди людей, но они нас сторонятся, и мы чувствуем себя совершенно одинокими, как на необитаемом острове. Даже наши близкие родственники дядя Федя и тетя Даша Лавреновы тоже боятся, что живут рядом с нами. И боятся не без основания: уже гад Бекиш подбирается к ним, где-то обмолвился:

— Этот Лавренов, брат жены Минаева, как мне думается, одного поля ягодка. Надо пощупать его хорошенько.

А какого поля ягодка? Чего щупать-то? Что сделал мой отец? Что сказал, так или иначе, какое-то предложение? О войне? А что нельзя, что ли, ничего говорить? Что. неправда, что ли, что наши отступали, а немцы перли во всю? Да за это было надо первым посадить в тюрьму Сталина, вот кто действительно ВРАГ НАРОДА № 1, так как ОН И ТОЛЬКО ОН обезглавил армию перед войной, пересажав и расстреляв весь боевой командный состав армии, ее лучших боевых, одаренных командиров. Вот и стали отступать и понесли неисчислимые потери. Его бы. этого палача народа, с необузданной дикой звериной кавказской натурой

и надо было казнить, как предателя, эту гадину Джугашвили вместе со всеми его сподвижниками: Берия, Молотова, Кагановича, Ворошилова и других извергов. Всю его шайку идиотов. И всех прихлебателей вонючих, таких, как Бекиш, Палазник, всю эту шваль крысинуую.

А отец мой не радовался, а сокрушался, что отступают наши. И весь народ горевал по этому поводу. И если даже допустить, что отец сказал точно такую фразу, какую ему Бекиш приписал, так и в том нет ничего предосудительного. Какое в том преступление? А никакого! Сажали просто людей за безвредное простое слово, и все. Теперь этот мерзавец Бекиш расставил сети над следующей безгрешной душой — дядей Федей Лавреновым.

И представьте себе, появился однажды поздно вечером к нам в блок и направился без приглашения прямо в комнату Лавреновых. И нагло, просто по-звериному, начал травить дядю Федю. Сел, так же нахально, без приглашения на стул и хамски изрек:

— Ты смотри, Лавреиов, я до тебя доберусь, ты такой же враг, как и Минаев.

— А какой я враг? Кому враг? — встав перед гадюкой, спросил дядя Федя. — Воевал в гражданскую в Красной армии за эту жизнь. А ты воевал? Ты чего пришел? Тебе выпить надо? На, пей! — и поставил перед ним четвертушку водки.

В те времена в семье имелась, на всякий случай, то есть в случае внезапной сильном простуды или болезни - - четвертушка. Пол-литра не имели возможность приобрести, не было никаких денег, а вот четвертушку припасали.

И вот эту единственную четвертушку, спасительницу от простуды или злой болезни, дядя Федя выставил перед гадом. ПУСТЬ ПОДАВИТСЯ!

Гад не сконфузился. Где уж такому подлецу застесняться! он обрадовался, тут же одним махом откупорил эту четвертушку, вылил ее всю до капли в кружку, приподнял и залпом опрокинул ее в свою звериную утробу, только слышно было: «клык, клык». Утер своим грязным рукавом какого-то паршивого

плаща зеленные вонючие губы, скосоротился и ехидно произнес:

— Ну ладно, Лавренов, живи спокойно — не трону.

Ишь, гадюка, какой «покоритель» людских душ нашелся. На костер инквизиторский тебя, сволочь, поместить бы, да изжарить живым за такие злодеяния, как еретка - хриstopродавца. Ну да видно БОГ БУДЕТ ВЕРШИТЬ НАД ТАКИМИ КАЗНЬ, на том свете.

Мы с мамой всю эту сцену прослушали через перегородку. И нас снова трясло, как в лихорадке. ЖИТЬ НЕ ХОТЕЛОСЬ...

ГЛАВА 46.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ДАЛЕКИЙ ТРЕВОЖНЫЙ ПУТЬ

Идет, шагает по северу трескучая от морозов холодная зима. А от отца никаких известий. Как в воду канул.

Апрель, снег лежит сугробами, но на тропинках по поселку и у крыльца подтаивает. И вдруг неожиданно известие от отца. Вот уж не помню, кто принес нам эту весточку или сам он написал, но хорошо помню, что сообщил так: «следствие закончилось, осужден, можно ему теперь отвезти передачу в Княжепогост».

Легко сказать — передачу: Княжепогост за 80 километров от поселка, на дворе зима, снег по поясу, а сообщения с Княжепогостом никакого, только если пешком. И еще, что бы маму отпустили — и говорить нечего. Комендант и на день не отпускает с поселка. А туда надо добираться пешком дня три по распутице, да там день или два. Да оттуда... Итак — не менее недели. На такие «шикарные» отпуска высланные люди и на том свете не могли рассчитывать, не то чтобы на поселке, да в военное время. Значит, в такое путешествие может отправиться ТОЛЬКО РЕБЕНОК, над которым еще не висел домолов меч коменданта. И этот ребенок еще мог свободно передвигаться между поселками до

самого района.

И вот ранней весенней зарей, когда чуть забрезжил рассвет, я с нагруженной котомкой за плечами ступила на лед реки Вымь и отправилась в далекий путь в полном одиночестве. Мама проводила меня до реки по пути на работу на овощной склад. Там они перебирали картошку. Она перекрестила меня на прощание, поцеловала и долго горестная стояла на берегу, пока я не скрылась из ее глаз за поворотом...

Пройдя с версту, я с тревогой обнаружила, что по дороге начали встречаться глубокие лужи, которые не обойти стороной — там можно утонуть по пояс в рыхлом мокром снегу.

И оставался один вариант пересечения темных, грязных, глубоких луж с ледяной водой — это идти через них напрямую.

Господи! Сколько же ты нам приносишь бед, да еще таких неожиданных, непредвиденных... Я шагала через лужи по колено в воде. Она лилась ледяная мне в сапоги обжигающей струей через край и в дырки, которые были в этих дранных сапогах диаметром в толщину пальца. Таких дыр в каждом сапоге насчитывалось не менее двух-трех. Может быть, поизносились, и дыры, вероятно, появились. Ноги мои леденели, становились деревянными и ничего уж о г холода не чувствовали.

В таком кошмаре я прошагала 28 километров и еле живая добралась к ночи до поселка Ветью.

Аня так и ахнула, увидев мою озябшую, до пояса мокрую, хрупкую, бледную, измученную до смерти фигуру. Она тут же передела меня в сухое, повела в больничную кухню, придвинула табурет к печке и велела засунуть ноги в духовку. А сама быстро стала кипятить чай и готовить ужин. Накормила жареной картошкой, напоила горячим чаем с сухарями, разобрала кровать, велела лечь мне и укутала всеми одеждami, какие нашлись в комнате, дала мне таблетку аспирина. Я отогрелась и уснула.

Наутро Аня пошла просить главного врача отпустить ее туда, куда я

держала путь. Но не тут-то было. Главврач, узнав причину просьбы, не дал согласия на отпуск Ани. Он так и сказал:

— Ты — комсомолка, и ходить с передачами к заключенным, хотя это и твой отец, не разрешается. Тебя исключат из комсомола, да и неизвестно, оставят ли после этого на работе.

Вот такой оборот получила наша беда.

Делать было нечего. Следовательно, дальше путь продолжать могла только опять я. Меня еще не решалась рука карателя исключить из школы и посадить в тюрьму за то, что я несу кусок сухаря отцу. И я отправилась далее.

Дорога становилась еще хуже. Уже лужи доходили мне не до колен, а порой, чуть ли не до пояса. Да и не было ничего удивительного: в 14 лет я была ростом с десятилетнего ребенка, большинство детей на поселке по тем страшным годам так и выглядели — меньше своего возраста.

Я вконец измучилась и до посинения замерзла. В этот день я прошла всего 16 километров и заявила к брату Феде в Турью, когда уже засветились вечером огоньки в домах. Федя охнул, увидев меня. Мигом раздел, стащил с ног сапоги, из которых лилась вода, и немедленно отправил меня на русскую печь. Я тряслась, как в лихорадке, от холода.

Наутро он сказал мне:

— Никуда ты дальше не пойдешь. Оставляй сухари. Возможно я их как-нибудь отцу отвезу.

Но его тоже не пустили, и сухари пролежали до лета.

Вернувшись в поселок, я слегла. Горела день и ночь, как в огне, теряла сознание и вскакивала с постели, крича несвязное. Мама плакала надо мной и сходила с ума от горя. В плаче и причитаниях она проклинала нашу жизнь, судьбу, подлого гада Бекиша и длинный язык отца:

— Черт глупой, дурак, сидел бы и молчал, как другие молчат всю жизнь, и сам был бы цел, и дите не покалечилось бы. Так нет! Вечно вылезает со своими дурацкими рассуждениями вперед. Сколько уже мы горя через тебя, непутевого,

горластого, перенесли и в ту власть, и в эту: и сюда попали, и отсюда тебя убрали, а теперь вот дочка лишусь... Что буду делать? И к кому, и куда головушку свою преклоню?, — и наклонившись ко мне, трогая мою горячую голову, умоляла: —Дочка, милая, не покидай меня...

На этот раз видно дошла до Всевышнего мамина молитва: я не умерла, отошла, поднялась со смертельного ложа, но навечно покалечилась — с этого времени у меня часто пухли ноги, поднималась высокая температура, я задыхалась. Ревматизм меня угроблял.

И все равно летом я отправилась в далекий, грустный путь у отцу с котомкой сухарей.

Прошла все эти 80 километров до Княжепогоста пешком, как один метр. Заночевала у Ермиловых, мне дали на поселке их адрес. А утром отправилась в районную комендатуру за разрешением на свидание с отцом.

Районным комендантом оказался Савин, наш бывший комендант поселка. Моя мама была мастерица солить северные грибы: грузди, волнушки, сыроежки, белые грибы, подосиновики и др. Жена коменданта, хоть и была по национальности коми, но не обладала таким даром, она ходила каждую неделю к моей маме за грибами и с удовольствием уплетали наши грибы, принося нам за это объедки кусков черного хлеба, что было дорого для нас в те 1932 — 1934 годы.

Итак. Савин был теперь районным комендантом, который плохо или хорошо, но помнил нашу семью. Его наши люди поселка считали человеческим.

«Человечный» комендант принял меня, но... разрешения на свидание с отцом не дал... Ну, куда там! Как бы чего не вышло! Как у чеховского «Человека в футляре» — а вдруг ребенок, то есть я, при свидании с отцом поднимет бунт среди заключенных, или того хуже, подбросит гранату в помещение конвоиров... Что тогда будет с ним, комендантом, давшим такое опасное свидание с арестованным? Упаси Бог! Разумеется, следует гарантировать себя от всяких непредвиденных обстоятельств и не давать никаких свиданий даже ребенку.

Я видела, как рыдала молодая, красивая женщина, прилично одетая, сидевшая у него, коменданта, в кабинете, как она умоляла его о чем-то. «Человечный» комендант был непреклонен. Она рыдала, а он, чтобы отвязаться от нее поскорее, тут же пригласил следующего просителя в свой кабинет, дав ей понять, что разговор с ней окончен.

Следующим посетителем... была я. Со мною он вообще не церемонился, сухим голосом сказал несколько отрывистых фраз:

— Свидания не разрешаю. Передачу отнесите в лагерь, в приемную. Вот сопроводительная бумага.

Все это я выслушала стоя у двери, держась за ручку. Никаких больше слов и эмоций. Я не успела вымолвить ни слова, как нас выпроводили с этой плачущей женщиной и поскорее закрыли за нами дверь.

Фактически в доли секунды нас вытолкнули из этого «важного государственного объекта — секретного объекта». А как же! А вдруг мы там с этой женщиной у этого государственного мужа, пока он отвернется на секунду, подложим мину или бомбу замедленного действия с часовым механизмом? Разве можно с нами долго разговаривать? Упаси Бог! Тем более выслушивать наши горькие просьбы. Еще чего! Разводить сырость. Столь человеческие слабости не должны вызывать сочувствия у рьяных охранителей свободной, вольной, коммунистической жизни народов.

Они за «счастливую жизнь всех народов, но не за каждого в отдельности». А этих «заклятых врагов народа» и их потомков для спокойствия коммунистов вообще бы не мешало всех стереть с лица земли (к чему они собственно и стремились на практике), а не внимать их рыданиям.

Так я отправилась в лагерь на другой конец Княжепогоста. Дошла. Колочая проволока преградила мне путь, пошла вдоль нее. Вижу вдалеке какое-то приземистое строение с окошками наружу. Это приемная. По углам лагеря вышки, на них часовые с винтовками. Подала в окошечко котомку и сопроводительную бумагу. В приемной два военных с наганами на боку. Забрали

котомку, и... поворачивай обратно. Ни слова, ни ответа, ни привета. Никаких разговоров не допускается.

Иду опять вдоль колючего высокого забора по дороге, которая примерно в метрах пятидесяти от него. И вдруг крик, откуда-то сверху:

— Люся! Дочка!..

Я вздрогнула... Что это, мне почудилось? Или я схожу с ума? Я оглянулась — на крыше отец и другие заключенные кроют барак. Значит он узнал меня и окликнул.

— Папа!.. — кинулась я опрометью в его сторону, к бараку.

— Назад! Стрелять буду! — заорал на вышке часовой и дал залп в воздух, а потом направил на меня винтовку.

Я так испугалась, что остановилась, как вкопанная, и не могла сдвинуться с места. Но отчетливо видела, что отца с крыши уже убрали. А на меня все орал часовой, наставив винтовку:

— Я кому сказал? Назад! Стрелять буду! — и дал залп.

Уж не знаю, точно в меня стрелял или целился мимо, только тоже помню, что выстрелил в мою сторону...

Господи! Дай мне силы, чтобы сдвинуться с места и уйти, убежать от этого звериного ада... Я стала пятиться, глаза мои были полны ужаса, а ноги стали колодами деревянными, душа ушла... вышла из меня. Я смотрела безумными, немигающими глазами на стражника, стрелявшего в меня, и медлен о пятилась... Потом кое-как вобрала в себя воздух, это прибавило мне силы, я повернулась и стремглав побежала от этого ужасного места. Сердце готово было выпрыгнуть из груди...

Не помню, как я добежала до реки, как переправилась через нее, как добралась до квартиры Ермиловых и тут же без чувств упала на топчан, отвернулась к стене и разрыдалась...

Тетя Таня Ермилова кинулась ко мне, стала расспрашивать, что случилось, а я ничего не могла объяснить, только ужас стоял в моих глазах, и слезы градом

катились из детских глаз.

Еще одно чистилище ада коммунистов пришлось познать мне в свои детские 14 лет. Еще одно потрясение оставило незаживающую рану в душе... С этого момента в моей душе поселилось какое-то безразличие к окружающему меня миру, отрешение от земного бытия. Мир мне казался совсем не нужным, и человеческая жизнь на земле бесполезной. Это чувство не покидало меня десятки лет. Что бы я не делала, чем бы не занималась, где бы не находилась: дома, в школе, копала ли картошку, согребала ли сено с подругами на лугу, — я не слышала, что говорили, что отвечали, не видела зеленого леса, колыхавшихся под солнцем зеленых трав, не слышала журчания ручья. Мир отсутствовал перед моими глазами. Я все делала машинально. И все время у меня перед глазами стояла колючая проволока, вышка и... часовой, целившийся из винтовки в меня...

и я задавала себе один-единственный постоянный вопрос, на который не могла найти ответа: «Для чего человек живет на земле?» Неужели для того, чтобы целиться из винтовки в другого? Или вести другого под дулом пистолета? Или сидеть за колючей проволокой? Или выбрасывать младенцев на ледяной берег? Или жить в постоянном страхе, терпеть голод, холод, нищету и работать, как на каторге? Или погибать на войне? Неужели только для ЭТОГО? Иного ему, человеку, пока было не дано. Так разве стоит из-за этого жить? Зачем такие муки? И такой ад? Где выход?

Выхода не было. И не было желания жить...

ГЛАВА 47.

ЧЕРНАЯ И БЕЛАЯ ВОЙНА

Грустная осень. 1942 год.

Я приехала в Княжепогост, в районный центр, чтобы продолжить учебу, то есть поступать в 8-10 класс. Здесь десятилетка. Это в 80 километрах от поселка. И здесь работает сестра Аня. Ее перевели сюда из Ветью. У нее от воздействия

лекарств появилась экзема на руках, и ее перевели в район обслуживать юношеские ремесленные училища.

Подходящую квартиру в войну найти было невозможно. Вначале мы поселились далеко от работы Ани и от моей школы, за рекой, в деревне. У молодой женщины - коми с грудным ребенком и старушкой-матерью. Муж ее был на фронте, а она, чтобы прокормиться пускала в свою одну комнату-кухню с полатами квартирантов до 6 человек. Сама с ребенком спала на единственной кровати у двери, бабушка на печке, а мы — все горе - квартиранты — на полатах.

Ох, и вшей же в войну развелось! Просто шагом ходили и по постели - тряпья, и по людскому телу. И не было на нее никакой управы: мыла не было, других моющих средств тоже, каких-либо химикатов на ее наглую морду и тем более не существовало. Только к концу войны появилось некое мыло «Ка», которое целиком и полностью уничтожило это нахальное насекомое.

А пока нас морил голод, изводил холод и жрала без всякого зазрения совести вошь. Мы голодали, мерзли и мучились, но выхода не было.

Аня получала по своей карточке 400 граммов хлеба, а я, как учащаяся, — 200 граммов. Но и этот хлеб мы не ели, а собирали, и за неделю у нас получалась буханка. Ее мы в воскресенье, как передачу, относили отцу в лагерь. Иногда нам разрешали видеть его. Он приходил к окошку, куда мы передавали узелок, и брал его сам у конвоиров, принимающих передачи. Он там работал уже в сапожной мастерской и шил кое-что конвоирам, поэтому они иногда и разрешали нам видится с ним.

Отец был совсем седой и пухлый от голода. Нам нестерпимо страшно было видеть его таким. И мы каждую неделю бегали к нему с передачей, чтобы хоть немного поддержать его. Постелено пухлость у него стала спадать, и это нас несказанно радовало.

А с фронта шли письма брата Вани. Он воевал и храбро воевал. Все время радостно писал: «Гоним фашистов со своей родины», «Фриц уносит ноги», «Мы бьем их беспощадно».

Шли письма и от мамы из поселка, написанные кем-нибудь из детей Лавреновых, чаще это писала Валя или Надя.

Чем же мы жили, если хлеб относили отцу? А маминой картошкой. Когда я ехала к Ане, то привезла мешок картошки и немного ячменной муки. Картофельные оладьи обваливали в муке и пекли. Вкусно-о! Вот и хлеб, и картошка! Сразу два блюда в одном предмете.

Вскоре получили весточку, что мама наша послала еще небольшой мешочек картошки — 4 ведра — с Дьяконовой тетей Мотей, которая переезжала с поселка в Княжепогост на жительство к мужу. Ехала она на плоту по реке: забрала всю свою картошку (40 мешков), и весь свой багаж погрузила на плот. И плывет. Как прибудет на место, то сообщит нам. Ей дали наш адрес.

И вот, не помню каким образом, мы получили известие, что плот застрял в дороге, не доплыл до Княжепогоста. А доплыл только до деревни Отлы. Это за 28 километров от Княжепогоста. В дороге морозы подморозили картошку у тети Моти, в том числе и наш мешок.

Картошку свою она выгрузила в этой деревне, и наш мешок там. Мы с Аней размышляли, что делать? Ехать или не ехать? Все равно картошка теперь мерзлая и от нее мало проку. Но голод диктовал свои законы. У нас кончалась та картошка, которую привезли в начала осени, и скоро есть будет совсем нечего.

Я отправилась в эту несчастную деревню Отлы за мешком мерзлой картошки. Была уже зима, и как я доставлю эту картошку — целый мешок — представить было невозможно. 14-летний ребенок отправился пешком за 28 верст за злосчастливым мешком мерзлой картошки! В надежде каким-то чудом его привезти. На чем? Уму непостижимо! А на руках ведь его не донесешь?

Иду — на пути глубокие овраги с крутыми склонами пересекают дорогу. Спускаться легко, а как мне придется подниматься с грузом? Прошла 16 километров до деревни Шошки. Затем 10 км до деревни Онежье. А деревня Отлы совсем на другом берегу реки, по ту сторону от деревни Онежье. Спуск к реке — головокружительной высоты. Как я вывезу наверх несчастную картошку? Уму

непостижимо! Но голод постоянно толкает меня в спину и говорит: «Иди, несмотря ни на что!» И я иду в деревню Отлы.

Нахожу злосчастный дом, где остановились Дьяконовы, и вижу в сарае гору мешков с мятой мерзлой картошкой. Наступила оттепель, и мешки, как жвачка, сплющились. Вот и мой мешок жалкий, мокрый, грязный, как же сплющенный, так как на него навалены другие такие же мешки. Но как я его доставлю в Княжепогост? Подсказывает сознание — надо достать санки.

Я иду по дворам и прошу продать мне санки. Никто не продает. Сжалились над бедным ребенком один дедушка с бабушкой. Отдали мне даром поломанные санки. У одного полоза отломан передок, где полоз загибается, и потому этот полоз едет и чиркает обломком о мерзлую землю, тормозит движение.

Но делать нечего. Беру эти санки, рада и таким. От души благодарю смилостивившихся стариков и желаю им здоровья и многих лет жизни.

Ночую кое-как, и раним утром выезжаю на дорогу с несчастным мешком и несчастными санками-калеками. Еду плохо, с частыми остановками и передышками, все поправляю: то полоз зарывается в снег, то мешок съехал на бок. Но все-таки еду. Выехала к реке, спустилась под гору, проехала поперек реки. И надо подниматься теперь на высочайший берег. Как я поднималась — одному Богу известно... Раз десять санки вырывались из рук и сползали вниз. А я стояла на полпути горы и безутешно, очень горько плакала.

И проклинала войну, жизнь и эту злосчастную картошку. И особенно кляла санки - инвалиды, а бросить не могла их, потому что понимала, что если не привезу санки с картошкой, то нас с Аней ждет страшный голод, а за ним может и смерть...

И я обессиленная, вконец измученная, все-таки вывезла эти санки на гору и привезла их в Княжепогост. И некоторое время мы пережили этой картошкой, утоляя страшный голод, который свирепствовал в то трудное военное время по стране.

Позже, вспоминая эту свою поездку за картошкой, мне невольно на память

приходила такая странная картина: везу я санки с мешком на гору, а на самом верху этой горы стоит белокаменная церковь, и Христос печальными глазами смотрит на меня, а помочь ничем не может...

Наша мама, собственно, не особенно верила в Бога и не молилась, как иные прочие женщины, и не принуждала нас молиться и веровать. Она говорила: «Вырастите и сами во всем разберетесь».

Она, в общем-то, и права, как без раздумий было верить в Него? Был бы Бог. говорили в нашем поселке женщины, он бы не допустил такого надругательства над нами извергов- палачей.

Вскоре после моего путешествия за мешком мерзлой картошки мы с Аней ушли с этой квартиры, невозможно так далеко было ездить: мне в школу, а Ане на работу. Северные дни коротки, а вставать надо было ни свет, ни заря. В кромешной тьме пробираться к реке. Осенью, а также и весной переезжать через нее на лодке. Платить каждый раз по 25, а то и 50 копеек. А где их мне, ребенку, взять в военное тяжелое время? Да и Ане, разве хватит зарплаты: на нее и на меня, зарплаты медсестры на двоих? Да плати четырежды в день за перевоз: ей туда-сюда, да и мне, то же самое. Да еще за квартиру. Аня пошла к заведующей райздравотделом и все свои печали ей выложила.

Тамара Александровна Ефимова была умной и доброй женщиной. Так как иной квартиры пока не предвиделось, она разрешила нам жить пока временно в райздравотделе, во второй комнатке. Райздрав в то время занимал две малюсенькие комнаты. И вот во второй в углу лежат наши пожитки.

Днем Аня на работе, я в школе. Благо школа прямо напротив. Мы райздраву днем ни капельки не мешаем. А вечером, когда уходят тети домой, я прибегаю из школы, а Аня приходит с работы. И мы одни в двух комнатах. Ах, как мне нравилась эта наша «квартира». Я с удовольствием раскладываю свои книжки и тетрадки на столе Тамары Александровны, не надо готовить чернила — они тут рядом в стеклянной массивной чернильнице. И ручки с перьями к твоим услугам.

Аня кипятит чай на плитке, и мы садимся чаевничать. Пьем чай без сахара,

но зато с молоком. На шкафу имеется мешочек сухого молочного порошка, и нам Тамара Александровна разрешила понемногу брать для чая.

Жили мы в райздраве до тех пор, пока не нашли квартиру на территории бывшего спецлагеря, у жены военного, муж которой был на фронте. А она с двумя малыми детьми и сестрой жила в двухкомнатном саманном домике, которых, было немало на окраине лагерной зоны.

Жена офицера получала приличную сумму денег по аттестату фронтовому на детей и на себя. Вишь, воюющим офицерам и их семьям платили прилично, на эти деньги могли жить целые их семьи. Они воевали за деньги, а солдаты — за Родину. Офицеры в действующей армии не так уж воевали, так как были от передовой линии за несколько километров. Воевали и умирали солдаты. Это они, солдаты Родины, всегда смотрели смерти в глаза. Это их часто из-за бездарности и непродуманности боя посылали сотнями тысяч на верную смерть, брать ненужную высоту в лоб, идя на врага в открытую, прямо под смерч пулеметных очередей. Болваны - командиры посылали на верную гибель и отдавали дебильные приказы. Враг расстреливал солдат в упор.

Совсем недавно, 9 мая 1989 года, один из бывших солдат Великой Отечественной войны рассказывал, как их бездарный тупица - командир, провозившись ночи с проститутками, послал солдатиков брать никому не нужную, незначительную высоту, небольшой деревеньки и уложил на этой высоте за полтора часа 700 человек верных родине солдат. И этому идиоту - полковнику вместо того, чтобы его расстрелять, за подобную «победу» присудили, а скорее всего он сам взял награду — очередной орден. А солдаты гибли миллионами, оставляя детей, матерей сиротами и без копейки денег, так как ни солдату, ни матери-кормилице бедной семьи, родившей и воспитавшей, и отдавшей последнего сына родине — не платили ни гроша.

Нам часто, как маленьким несмышленишкам, проповедовали в истории по радио и в книгах, дескать, царь был изверг, у пего была наемная армия. А у нас — народная. В детстве я не понимала смысла «наемная», только став взрослой, я

разобралась: оказывается, царь платил солдатам за службу, платил и его семье. И правильно делал, ведь семье как-то надо было существовать без кормильца, когда он в армии. А у нас, у народной армии, и солдат без копейки, и семья его без гроша. Даже в войну не платили! Какое издевательство...

Как должна жить молодая солдатка с грудным младенцем, оставшись одна? Пойти работать не может, куда денешь грудное дитя?

Как может существовать старушка-мать в войну без копейки? Сын которой защищает своей грудью Родину? Об этом кто-либо из правительства задумывался в те времена?

Мало того, что старушка-мать оставалась без копейки, в колхозе ничем не платили, да еще драли с нее налоги всех видов: денежный, сельскохозяйственный, военный, натуральный — мясо, масло, молоко, шкуры, картофель и так далее и так далее...

Интересно, у нашего правительства в те времена хоть одна извилина мозга работала на этот счет? Или в мозгу у них была одна вода?

Молодая офицерская жена не работала и обеспечивалась государством целиком и полностью, а старушка-мать погибала от голода. Где равенство, где коммунистическая правда? Кого обманывают? Хвалимся, что у нас армия народная — и тем до безумия рады, душим головы честному народу — ах, как мы умны, а эти жены и матери солдат проживут святым духом, когда кругом такая страшная война. Зато жены офицеров получали приличные денежные аттестаты и жили припеваючи, не работая, а занимаясь блядством со всякими военными в тылу. Ходили в шубах и песцовых воротниках, и пили водку. А их мужья и на фронте не особенно подставляли свои лоб под пули, заслонялись солдатскими спинами.

И теперь солдат-участник Отечественной войны не имел 50 лет никакой надбавки к пенсии за участие в войне. Опять одаряли приличной пенсией офицеров, а солдату показали кукиш. Только спустя пятьдесят лет после войны догадались увеличить пенсию, когда солдат уже почти не осталось. 'Зато

генералов у нас хоть пруд пруди. Если в Америке их только 28 человек, то у нас 1991. А офицеров меньшего ранга и не сосчитать — вот, сколько нахлебников, нашее народа. А какую пенсию получают — до пятисот рублей, а солдат только 200. А мало ли таких офицеров, которые не участвовали в войне и пороха не нюхали, а на пенсию идут с сорока пяти лет и пенсию гребут до 400 рублей и больше.

А мало ли их в войну этих офицеров старались держать себя подальше от передовой, где-нибудь в нескольких километрах от фронта, в землянках. Да еще ночью с бабами возжались. Проведет такой горе-командир ночку с проституткой, тактику боя обдумывать некогда, вот и ведет утром солдат на верную гибель в бой, а сам отсиживается в землянке.

Вспомните фильм «Военно-полевой роман». Его начало. Баба-проститутка перед началом боя гарцует на коне и хохочет до умопомрачения. Чему она так рада на передовой? Что провела весело ночку с комбатом? Что он теперь с оплывшей тупой мордой пошлет солдат на верную гибель? Всю свою жизнь она потом вспоминает, как ее комбат носил на фронте на руках. Вот он чем там занимался на это? фронте ее разлюбезный хахаль-комбат, не стратегией и тактикой ведения боя, а носил на руках проститутку. Вот как он здорово воевал этот офицер. И она — эта женщина — извините за вопрос: чем занималась на войне? Не воевала, а блядовала. За такими делами ни ему, ни ей не следовало уходить на войну. Сидели бы дома и лежали на печке. И занимались своей проституцией сколько влезет. Представляю, как этот комбат пробыв ночку с такой кралей, затем посылал солдат без всякого продумывания в бой, в лоб на врага, сколько он уложил жизней этих солдатиков, сколько крови людской на нем и на этой проститутке.

А нам, как дурачкам, показывают этот фильм и стараются вызвать сострадание к этой проститутке, благодаря которой с помощью комбата они убили сотни тысяч невинных солдат, которые могли бы остаться живыми, если бы не было на фронте такое повальное блядство. А нам показывают подобный

фильм и просят сочувствовать и плакать над неудавшейся судьбой этой фронтовой шлюхи. Нас приучили не называть вещи своими именами.

А почему, собственно, ее судьба не удалась после войны? Потому что не хочет вкалывать

— молодая, а торгует какими-то пирожками, да иди на завод и паши, вот и будешь хорошо зарабатывать и квартиру получишь.

Матери солдатские пухли от голода в войну и умирали, что-то про них фильмы не показывают, а вот про проституток — пожалуйста, плачут о их несчастной судьбе. Да не дурите народ. Не так уж много погибло комбатов — единицы. А вот солдат и их матерей

— миллионы.

Вспоминаю, как недавно, стоя в очереди за куском мяса, который некоторое время отпускали участникам войны в несчастные понедельник, мы с Федей разговаривали с одним ветераном. Бывалый умный солдат заключил:

— Нечего бабам было мешаться на фронте. Они только развращали командиров, и те возились с ними ночами, а тактику боя никогда не разрабатывали и вели солдат на верную гибель. Сколько душ они таким образом погубили из-за этих фронтовых проституток — не сосчитать. А солдату не смей ни слова сказать против. Не смей возражать, хоть подлец - командир из-за своей подлости губит их миллионами. А надо бы вещи называть своими именами, говорить правду в глаза. И чем раньше, тем лучше. Вот теперь можно кое-что сказать, а раньше не смей подлецов называть подлецами, а проституток и шлюх — проститутками.

Но теперь мне ничего не страшно — жизнь прожита и хотя бы перед смертью я скажу то, о чем думала всю жизнь.

Итак, мы в квартире у жены офицера, которая обеспечена государством полностью, потому что ее муж — офицер, а мы, младшие сестры солдата и наша мама старенькая, у которой сын на передовой, никак не обеспечены государством, за то, что наш брат Ваня грудью защищает Родину и проливает

кровь в борьбе со злейшим врагом-фашистом.

Мы должны жить, как сумеем. Государство ни нам, ни маме не платит ни копейки, потому что наш Ванюша не в наемной, царской армии, а в народной. А наши советские офицеры, извините, в каком другом царстве-государстве служат? Почему они наемные? Почему они и их семьи обеспечены, хотя эти офицеры не торопятся проливать кровь, а ночуют ночки на фронте в землянках с проститутками, а утром посылают впереди себя солдат.

Живем, терпим нужду и страшный голод.

Подходит Новый год. Жене офицера — нашей хозяйке — принесли подарок по линии военкомата: свежемороженые, как из сказки, краснобокие яблоки, коробку конфет, банку сгущенного молока, печенье, конфеты, тушёнку американскую и что-то еще такого вкусенького. Яблоки красно-янтарные, покрыты морозным инеем, казались небесным чудом, спущенным от Бога.

Нам же, сестренкам солдата и нашей маме — матери солдата — не подарено ни куска хлеба, ни конфетки.

Да и сестра хозяйки — ученица ФЗО — не увидела ни кусочка яблока: старшая сестра не удосужилась ее угостить. Младшая Феня так же голодала, как и мы, в отсутствие старшей офицерши она шарила по углам шкафа в надежде найти хоть сухарик, но все было под замком в ящиках кладовой в коридоре. Не найдя ничего, Феня брякалась на раскладушку, что стояла у двери, и бессмысленным немигающим взглядом глядела в потолок, на лице отражалась какая-то безысходная печаль злость.

Да, действительно, я тогда, будучи ребенком, уже понимала, как жестоко относилась старшая сестра-офицерша к своей младшей сестренке. Воистину: сытый, голодного не понимает. Могла бы эта офицерша как-то помочь вечно голодающей своей младшей сестренке? Могла, конечно, но не хотела. Хоть та умри от голода.

Эта ненормальная обстановка нам с Аней не понравилась, и мы пробыли у офицерши всего полтора месяца и ушли. Аню перевели в детсад медсестрой. Это

на другом конце поселка, и нам разрешили жить прямо в детсаду, так же, как когда-то мы жили в райздраве.

Мы днем всяк себе: Аня на работе, а я в школе. А вечером, когда пустеет детсад, мы стелем постель в углу на полу, я сажусь за детские столики делать уроки, Аня кормит меня ужином — иногда остатком от детской кухни. Здесь нам жилось легче, чем у офицерши. Но не долго длилось это облегчение. Аню перевели в лесной участок на работу по какой-то необходимости. Не оказалось там медицинского работника, и Тамара Александровна упросила Аню выручить ее на месяц-два, поработать на участке.

Вот где нам пришлось хлебнуть горя... Участок находился за восемь километров от Княжепогоста. Дорога к нему шла вначале мимо лагеря заключенных, по кладбищу, где были похоронены десятки тысяч людей. Я бегала в школу, петляя между крестов, по тропинке, затем дорога углублялась в лес, и так до самого участка. Участок лесной состоял из нескольких домов барачного типа, магазина, медпункта, начальной школы, детского садика и столовой.

Здесь рубили, валили лес лесорубы, из которых немало было женщин, высланных, эвакуированных, осужденных и прочее...

Нас поселили в крайний барак в одну семью, которая состояла из четырех человек: хозяйка — тетя Вера, ее сыновья — Петя и Коля и сестра хозяйки — Тамара, да нас двое

— это уже шестеро. Все ютились в крохотной комнатке, где стояли три деревянных кровати

— две хозяйкины и одна наша.

Маленький четырехлетний Николашка презабавно до смешного веселил нас своими проказами. Придя из детсада, Коля снимал штанишки (они мешали ему) и оставался в одной рубашечке. Он находил губную помаду Тамары, рисовал себе румяные щеки и подкрашивал и без того свои алые губки. Надевал длинные тетины бусы и становился на скамейку, чтобы давать нам концерт. Пел песенки, что слышал из уст тети Тамары, читал стишки. А порою рассказывал какие-то

истории, которые сочинял сам.

В общем, отменный артист, маленький арлекин и больше ничего. Мы хохотали до слез над ним и забывали в такие минуты обо всем: о войне, о голоде, о холоде, о своей нищете... Песни он пел такие, какие не услышишь нигде, разве только в определенном мире...

И вот за пением такой из них и застала его воспитательница из детсада. Коленька пел, а мы смотрели на него во все глаза и смеялись, когда за нашими спинами тихонько открылась дверь и бесшумно вошла воспитательница. Никто ее и не заметил. Все внимание было направлено на концерт, который давал наш маленький артист, причем тщательно загримированный...

Летит паровоз по долинам и горам,

Летит он неведомо куда...

Назвалась девчонка и жуликом, и вором,

И с волей простилась навсегда...

Тут-то и ахнула воспитательница. Все обернулись и... увидели ее. А Коля дал стрекача... под мамину кровать в самый дальний угол забрался. Откуда и был извлечен дотошной воспитательницей, которая начала допрос: кто тебя научил таким безобразным песням? Тамара? А как ты одет? А это что такое? Почему без штанишек? И почему у тебя бусы?

— Это у него артистический костюм, — отвечали мы. — Что тут такого особенного?

Но воспитательница ахала, ужасалась, и в конце концов заразительно смеялась, как и мы.

ГЛАВА 48.

ЖИЗНЬ В СЕЛЕ ТУРЬЯ

Осень 1943 года.

Я приехала к брату Феде в коми деревню Турья. Буду учиться здесь в

девятом классе. Никогда не писала про деревни коми, что они из себя представляют, а теперь опишу.

Деревни построены, как видно, давно, так как все деревянные дома почернели, как галки. Улицы не прямые, а виляют туда-сюда. Дома странные, очень удивили меня тем, что углы неровные — бревна торчат: одно длиннее, другое короче. Такая же картина и у крыш: концы торчат как попало. Интересно, почему их не подпилить под линеечку? Поверье, что ли какое? Но построены дома с таким расчетом, чтобы было тепло и удобно. Обычно они у них состоят из двух этажей. В нижнем несколько отделений: для скота (коровы, овец), под кухней — подвал для картофеля. Над постройками для скота (второй этаж) — сеновал. Здесь хранится сено, заготовленное на зиму. Снаружи это отделение обложено поленницами дров.

Жилые комнаты, не более двух-трех, кухни и светлицы, у некоторых есть третья маленькая, прилегающая к светлице, у других вообще одна жилая комната.

Федя стоит на квартире, дом из двух комнат, но мы занимаем только одну. Две нам ни к чему: мебели у нас никакой, да и зачем зиму топить две комнаты, если свободно и тепло в одной. Федя с женой спят на кровати, я — на полотах. Кто замерзнем, может отправляться на русскую печь. Вскоре Федя уезжает на ремонт тракторов в деревню Шешки, в МТС, а Марию мобилизуют в лесной участок возить лес. Я остаюсь одна.

Искусству топить русскую печку и готовить шаньги из ячменной муки меня научила Мария. И я вполне удовлетворительно, а может быть и на оценку «хорошо» с этими необходимыми для меня обязанностями справлялась. Но вот беда, дров оставили мне немного. Скоро они кончатся. Что буду делать в декабре?

К счастью, попросилась на квартиру ко мне Уля Неськина, моя подружка по парте. Она жила у санитарки в медпункте, но что-то не поладила с ней. И теперь перешла ко мне. «Живем, не тужим». А дрова тают, как свечи. И вот уже их нет.

Мы берем санки, пилу и топор и в выходной отправляемся в лес за дровами. Едем по дороге, но вот надо и сворачивать в лес. Свернули. И... бух по пояс в снег.

Барахтаемся. Продвигаемся медленно, по-черепашьи.

Вот и столетние ели и сосны. Все зеленые, сухих не видать. Выбираем, какая потоньше, и пилим ее. Подпилили. Ухнула сосна со всего маху и вся утонула в снегу. Опять барахтаемся, подпиливаем и подрубаем сучья. Еле-еле подпиливаем часть ствола на чурки и укладываем в санки. А как вывезти их по снегу на дорогу — одному Богу известно.

Полозья зарываются носом в снежную подушку. Мучаемся, но медленно продвигаемся вперед. Как выехали на дорогу — один Аллах знает. Обе мы по грудь в снегу, а санки плыли, как по перине.

Приехали. Накололи дров. Перетаскали их в сарай. Охапку принесли в комнату и положили в печь, чтобы поленья подсохли, а то сырые совсем не будут завтра гореть. Затопили печь только на другой день, то есть в Понедельник вечером, после школы, когда немного отошли.

А сейчас завалились на печь, которая была еще теплой и еле отогрелись и обсохли на ней от такого путешествия и проснулись утром. Съели по кусочку, что Бог послал, запили водичкой и скорее в школу.

Учились мы хорошо. Наш класс в школе учителя называли «сливками». Уж больно он им нравился почему-то. Спаянный был класс, дружный.

К весне пришло однажды с поселка письмо от Лавреновых, которые писали, что наша мамочка Пелагея Ивановна сильно-сильно заболела, у нее высокая температура, лежит в больнице. Барченко - фельдшер — такой идиот, положить положил в больницу, так как деваться ему некуда — у мамы высокая температура — а лечить не лечил и не кормил. Мама потом рассказывала, что лежала она, как в огне горела, а он никакого лекарства не давал, чтобы снизить температуру, вообще ничего не давал. Видно считал, что человек все равно умрет, вот и не тратил лекарств и не кормил. Надо же быть таким жестоким зверем и идиотом! Вот как бывает в жизни — палачи и звери идут в медицину.

Кормили маму Лавреновы. Тетя Даша каждый день варила маме суп и картошку и несла ей в больницу. Дай Бог, тетечке Дашеньке жить на том свете в

раю, душевная и человечная была женщина.

Валя, ее дочь, написала нам письмо и послала телеграмму Ане. Вскоре Аня пришла в Турью. Федю тоже отпустили из Шошки, но не дали еще лошадей, чтобы привезти маму. И Ане пришлось идти пешком до самого поселка от Княжепогоста. Через три дня Федя с Марией на двух лошадях с санями поехали за мамой. Напрасно Аню отправили пешком одну в такой далекий путь.

Привезли маму в Турью совсем больную. А вместе с ней привезли много мешков картошки и большую кадку с соленой капустой. Теперь уж брату с Марией пришлось еще съездить в лес за дровами, чтобы больная мама не мерзла без дров, как мы с Улей. Аня оставила маме лекарства, и мама стала поправляться. Поправке способствовало еще и то, что мама обрадовалась, что снова оказалась среди своих детей и успокоилась, воспрянула духом. А это очень большой стимул к возрождению человеческого организма — уверенность, что все теперь беды остались позади, и что все теперь будет хорошо.

ГЛАВА 49.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ ГОСТЯ

Дверь открыла, и вошла неожиданная гостья. Заиндедевшая, засыпанная снежной порошей Уля Неськина. Снег белый пеленой покрыл ее платок, алмазными блестками висел на ее длинных ресницах, из-под закутанного платка виднелись только угольки глаз. Мы с Аней бросились к ней, раздели, напоили чаем и уложили в постель.

Обратились с вопросом: в чем дело? Что заставило ее пуститься в такое дальнейшее путешествие в лютый мороз? Оказывается, получила приглашение из РОНО от бывшей нашей классной руководительницы Тамары Александровны — есть возможность поехать на десятимесячные учительские курсы в педагогический институт. А наша Тамара Александровна прекрасно знала семейное положение каждого своего питомца, и вот написала Уле. Она любила

нас, девочек и мальчиков своего класса. И если была какая-то возможность, всегда стремилась помочь.

Вот и сейчас, зная, как бедствует Уля с мамой, решила помочь лучшей ученице выбрать путь в жизни и посоветовала заехать ко мне. Мой адрес Тамара Александровна не знала. И теперь Уля, согрешившись и счастливая, приподнявшись на локоть, «агитирует» меня ехать с ней в Сыктывкар на эти самые курсы.

— Завтра, — говорит она, — сходим в районо, возьмем направление и отправимся в Сыктывкар. А через какие-то 10 месяцев — мы учительницы! Это же такое счастье!

Мы с Аней раздумываем: я учусь в 10-м классе, а дальше что? Война еще идет. Специальности никакой. Что буду делать? А в институт и думать нечего. Кто меня будет учить целых пять лет? Об этом лучше не мечтать. А что если и вправду поехать на курсы? все-таки заманчиво. Учиться недолго, притом стипендию будут платить и паек будет даваться, как взрослым, 500 граммов хлеба, а это не 200 иждивенческие. Жить можно. А там — работа и заочная учеба. Все в норме — по-военному времени.

Итак, решено. Завтра идем в районо и едем на курсы. К тому же, поговаривали наши учительницы, у нас с Улей они усматривали какие-то педагогические задатки. Помню еще в 9-м классе весной, по окончании, меня учительница по литературе Любовь Александровна, уговаривала ехать в литературный учительский институт.

— Учится там всего два года, — говорила она, — стипендия платиться. А ты, Люся, обладаешь прекрасными данными, чтобы быть учительницей литературы. Я тебе дам отличную правдивую характеристику.

Я поговорила с братом Федей, но он категорически отказал:

— Кончай 10-й класс, — сказал он.

А вот теперь пришлось задуматься: кончать? Или лучше не кончать 10-й класс, а ехать на курсы?

И мы с Улей поехали. Получили все соответствующие документы:

характеристики и направления и в студеную пору, в 30-градусный морозный день вы пальто и валенках, укутанные шерстяными платками, с чемоданчиками в руках мы взобрались на попутную грузовую машину и отправились в далекий, за 250 километров, путь.

Машина, нагруженная какими-то мешками и людьми до отказа, ныряла с холма на холм, по рытвинам и заснеженным ухабинам, юзжала, урчала, фыркала, буксовала и наконец совсем стала.

Случилась какая-то непредвиденная поломка, и мы вконец измученные, замерзшие и испуганные слезли с нее и стали оторопев: отрешенные, безучастные смотрели равнодушно на застывшую на дороге черную глыбу — отвернулись от нее и... пошли куда глаза глядят...

Дело было к вечеру. В короткий зимний день быстро сгущались сумерки спускалась ночь, которая страшила нас. И мы зашагали своими застывшими ватными ногами побыстрее, в надежде дойти хоть до какого-либо селения до большой темноты, чтобы не пришлось, не дай Бог. ночевать в зимнюю стужу на дороге.

К нашему счастью вскоре впереди сквозь стволы вековых сосен засветились тусклые огоньки какой-то деревушки. И мы прибавили шаг. Среди нас оказалась женщина, высокая, с взметнувшимися бровями над серыми быстрыми глазами. Она оказалась корреспондентом какой-то северной сыктывкарской газеты. Когда мы вошли в деревушку, на дороге встретился старичок в рыжей ушанке и таких же унтах. Женщина-корреспондент заговорила с ним на коми языке, и шустрый старичок привел нас к какому-то необыкновенному строению, которое оказалось местной баней.

Отличное помещение для ночевки. Баня оказалась хорошо натопленной, в ней люди уже помылись и убрались. Мы расположились в первой комнате, то есть в предбаннике. Разделись и поужинали, чем Бог послал, улеглись на скамейках на ночь. Кто сильно замерз, пошел во вторую комнату и расположился на полках, по ярусам, некоторые даже залезли на верхотуру к самому потолку.

Кто-то пошутил:

— Парку поддать? Печка горячая, и камни, как огонь. Могем и парку шипучего сыпануть! Ну как?

— Премного благодарны! Обойдемся пока без березовых веников. Как-нибудь в другой раз.

Утром встали рано. Тяжело было на душе. Длинная дорога предстояла впереди, километров 180. Попадется ли машина?

Машина попутная нам так и не попалась, и пришлось шагать по трескучему морозу все 200 километров до самого Сыктывкара. Шли пять дней. Ночевали все время в банях. Спасибо женщине-журналистке, не оставила нас в беде и всеми силами стремилась как-то облегчить наш путь. Договаривалась с жителями о теплом ночлеге. В дороге все время следила, чтобы никто не отстал от группы, не обморозился. Поддерживала настроение внезапной какой-нибудь шуткой или интересным небольшим рассказом. А нас с Улей особенно полюбила. И все хвалила за терпение и выносливость, и за серьезное решение стать учительницами.

— Ну вы, девочки, по всему видать хорошими педагогами будете.

— Почему? — спрашивали мы.

-Уж по одному тому, что не хнычете и мужественно переносите, как говорится, первое боевое крещение и упорно идете к намеченной цели, не повернув назад — это уже о многом говорит.

Мы переглянулись с Улей. А ведь и правда, у нас в мыслях даже не мелькнуло бросить все к черту и вернуться домой можно было сразу, как только машина сломалась, ведь проехали мы на ней не более 30 км. Но мы даже и не вспомнили про дом, а взвалили чемоданы на спины и упорно пошли, не оглядываясь, вперед.

Дорога-грейдер тянулась по лесу, вековой тайге, высокие сосны и ели утопали в рыхлом пушистом снегу. Солнце тоскливым оранжевым блюдцем дрожало в синем, граненом стволами сосен, воздухе и медленно опускалось за

горизонт. К вечеру мороз крепчал, слышался треск замерзающих деревьев, и под ногами сильнее скрипел снег и рассыпались, словно бисер, крупинки снега.

От усталости и холода клонило ко сну. Ноги становились тряпичными и не хотели больше передвигаться. Хотелось вот прямо здесь, на этом месте, сбросить с плеч чемодан на дорогу, а самой повалиться в снег, как в мягкую перину, и уснуть сию секунду. Больше никаких желаний не было. Не было сил, не хотелось даже есть. Хотя питались мы один раз в день (вечером), когда приходили на ночлег в баню. Мне Аня взяла на всю мою карточку, на которую выдавалось 200 граммов хлеба в день, как иждивенке-учащейся, и получилась одна буханка хлеба на всю дорогу, на все пять дней. Думали, доедем быстро на машине, а оказалось надо было шагать 5 дней. У Ульяны не оказалось ни куска хлеба. Не понимаю, как ее проводила мать в дорогу. Наверное, она все съела до Княжепогоста. На что она рассчитывала дальше ехать, вероятно, на мои харчи. По старой памяти, думала, у меня хлеба навалом, так как брат был тракторист. Но брат был далеко, и у него своя семья. Нам он с Аней ничем в этом году не помогал. И мы не смели что-либо от него требовать. А жили на спои хлебные карточки. Ане давали 400 граммов в день, а мне 200.

И гак, одна буханка хлеба на всю дорогу, и ее порезали на 10 частей. Мы с Улей съедали по одному куску хлеба в день. Отощали, потеряли силы, но взрослые подбадривали нас, обещая скорый привал на ночлег, и мы плелись за ними, как пленники, еле переставляя ноги. Всем усилием воли заставляя дотянуть, не упасть, дойти до желанного теплого угла в бане.

ГЛАВА 50

НЕЗНАКОМЫЙ ГОРОД

На пятый день часа в четыре мы вошли в город, и женщина-журналистка показала нам здание, где находился наркомпрос Коми республики. Здесь нас приняли две женщины. Они дали нам направление в общежитие пединститута для

проживания и сказали, что занятия на курсах еще не начались, так как не все еще прибыли курсанты. Мы, собственно, как потом стало ясно, явились одними из первых. Просили денька через три-четыре заглянуть.

— А пока, — сказали они, — отдыхайте, знакомьтесь с городом и пединститутом, где будете учиться на курсах.

Снабдили нас хлебными карточками по 500 граммов в день и дали направление, чтобы нас прикрепили в студенческой столовой при пединституте. В счет аванса немного выдали денег. Мы отправились в общежитие. Нам с Улей отвели целую комнату на двоих. Сказали, приедут еще курсанты, подселим кого-нибудь.

В комнате, как и во всем общежитии, оказалось очень холодно. Батареи почти не топились. Еле-еле теплилась в них жизнь. Дали по два матраса нам с Улей, но и это не спасало от холода. Мы с ней легли на одну кровать одетыми, постелили под себя два матраса, а сверху накрылись еще двумя матрасами и двумя одеялами. Только в таком состоянии можно было спать с уверенностью, что ночью не замерзнем от мороза, так как в комнате чувствовалась не плюсовая, а минусовая температура. Итак, мы легли в первую свою ночь на новом месте, основательно забронировавшись от мороза и без всяких мыслей в голове. Ибо думать было не о чем. Занятия в ближайшие дни не предвиделись и, следовательно, забот тоже.

Единственное, что мешало жить нормально и отдохнуть от трудного пути в свое удовольствие, то есть отоспаться, отлежаться, чтобы не болели и не гудели ноги от хождения, это было постоянное чувство голода и страшного холода. Мы надеялись, что придем в теплое помещение и, как говорится, отогреемся и душой и телом от всех невзгод, свалившихся на нас, потеплеем душой и телом, а тут такая холодина, что сводило скулы от напряжения и крушились всякие надежды.

Но делать было нечего, и мы улеглись спать в холодном, неудобном помещении, с замерзшим громадным окном, пустыми стенами и высоким потолком, к которому от нашего дыхания поднимался белесый, кудрявой струей,

воздух, как из кипящего чайника. Да-а-а... не мешало бы попить горяченького чайку с такой дороги. Но, увы! Сказали, что кипятик бывает только раз утром в конце коридора на кухне, которая была одна на весь этаж, и только в 7 часов утра, если не проспичь и выстоишь громадную очередь.

Мы не проспали. Поднялись вовремя и побежали. Чайник нам дали еще с вечера, вместе с матрасами, вручили, как приложение к бытовым услугам. Постарались не забыть. Достался чайник такой увесистый, пузатый, литра на четыре, из чистой красно-зеленой меди. Пришлось еще вчера пойти во двор, отковырять палочкой в углу общежития из кучи песка кусочек и очистить его до блеска. Иначе стыдно было идти с таким неухоженным «самоваром» за кипятиком. Непорядок.

А пока — бегом за кипятиком, а то уже зуб на зуб не попадает от холода.

Слава Аллаху, очередь быстро двигалась, потому что дежурная студентка, наловчившись, быстро наполняла тоже стоявшие в очереди пузатые, как буржуи, чайники кипятиком, черпая увесистым ковшом из огромного котла.

Насыпав холмик соли на газету посередине стола и вынув свои пайки хлеба, мы с Улей сели за такую долгожданную трапезу с благоговением. Наконец-то насытившись и согрившись, мы так разомлели, что вспомнили и сняли платки и расстегнули пуговицы на пальто. Такого удовольствия давно мы уже не испытывали, считай, с того времени, как выехали из дома. Да, жизнь, ты наша тяжелая, военная, и нет тебе конца.

После завтрака пошли в пединститут. Шли неторопливо, осматривали город. Сыктывкар — городок небольшой, всего три километра в длину и полтора в ширину. Общежитие пединститута как раз расположено перпендикулярно центральным улицам, то есть институт на одном конце перпендикуляра, а общежитие — на другом. Расстояние между ними всего 0,5 километра. Центральная улица состоит из двух -трехэтажных домов из красного кирпича. Только само общежитие и сам пединститут — четырех -пятиэтажные здания из белого кирпича.

Вход в пединститут украшают высокие стройные белые колонны, которые придают ему парадный, какой-то театральный вид. Просторный входной зал, у потолка красивые люстры, налево пустующая гардеробная, так как в такой холод никто не раздевается. Направо — вход в столовую, куда мы и направились.

Столовая кормит студентов два раза — утром пол-литра жидкого капустного пустого супа и на второе — ложка каши или прозрачный толщиной чуть ли в тетрадный лист кусочек голландского бледно-желтого сыра, которого не укусишь природными юными зубами, разве что железными...

Студенты на все 99, 999 процентов — девушки: бледные, худенькие, но все-таки в большинстве своем красавицы. Ведь такой возраст — 18 — 22 г года: русые, рыжие, брюнетки и блондинки, нежные и стройные. Все естественные, никакой косметики, никакой краски волос, так как тогда ни красок, ни помады ни для лица, ни для волос не было. И девчонки блистали своей истинной красотой. Хоть и бледненькие, хоть и худенькие — это не портило их, наоборот, они казались еще более обаятельными, так как среди них не было ни одной толстопятой, неуклюжей. А были тоненькие, стройненькие, изящные принцессы, рыцари которых были далеко — на переднем крае войны и бились насмерть с заклятым врагом. А принцессы и золушки страдали; учились и терпеливо ждали конца войны, чтобы потом встретить своего рыцаря и обнять со слезами на глазах. А пока учеба.

Я написала, что девушек было 99, 999 процента потому, что во всем институте было только два студента-инвалида.

Будущие воспитатели, будущие педагоги, строители добрых прекрасных, красивых, сердечных душ.

И мы с Улей теперь тоже в их числе. А потому надо как-то внутренне перестраиваться — ведь мы теперь не дети, не ученицы школы, где нас воспитывали и учили. А мы теперь, страшно подумать! выговорить — сами будем учить и воспитывать себе равных. Это накладывало, возлагало на нас что-то совсем до толе неизведанное и не испытываемое нами чувство — называемое

долгом.

Мы как-то по-новому взглянули друг на друга и посмотрели на себя в зеркало, которое находилось в вестибюле, посмотрели молча еще друг другу в глаза и... шагнули в новый мир, на второй этаж. С этой минуты мы с Улей стали взрослыми!

Те годы и наш длинный, тяжелый путь к намеченной цели я выразила в следующих стихах:

Вспомним юность нашу мятежную
в те суровые годы войны,
и таежную вьюгу заснеженную, и высокий серп луны,
что светил нам сквозь хрусталь сосен, елок
на дорогу в далеком нуги,
осыпая иней иголок,
помогая до цели дойти.

Вот и цель — незнакомый город,
первый в жизни и судьбе:
неприветлив, холод и голод
здесь гуляет в каждой избе.

Общежитие пятиэтажное
стынет айсбергом в белом снегу
и наводит на мысль однозначную —
то ли выдержу, то ль убегу.

Но бежать нам с Улей некуда,
на обратный путь большой
нет ни грамма хлеба по карточкам
т ни копейки за душой.

В наркомпросе нас встретили ласково,
рады девочкам славным таким:

нос не вешать, мы вам хлебные карточки

не по двести, по пятьсот дадим... »

ГЛАВА 51

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ

НАШ ДЕВИЧИЙ ИНСТИТУТ

Наше заиндевовшее окно комнаты в фантастических узорах листьев деревьев и снежинок смотрит с высоты 4 этажа на заснеженный огромный парк, который раскинулся над берегом застывшей в безмолвии реки.

Высокие, могучие сосны, лиственницы, пышные зеленые пихты и ели белоствольные, нежные с оголенными ветвями стыдливые березки замерли в неподвижном стылом воздухе, еле заметно качая вершинами — дремлют убаюканные колыбельными песнями зимы. Спят непробудным сном под вой вьюги и метели до самой весны. Скучно, тоскливо и одиноко.

Занятия идут своим чередом — в день 4 — 5 лекций по два часа каждая. Мерзнем и в институте, и в общежитии. На лекции сидим одетыми: в пальто, валенках, платках, варежках. Чернила застывают. Алгебру и высшую математику преподает Лидия Ефимовна — еврейка, картавая, неряшливая женщина средних лет. Слово Брадис звучит у нее как Бгадис. Уля копирует ее — и очень удачно — я смеюсь от души. Очень неопрятное, на наш взгляд, это существо.

Волосы всегда грязные, кажется, как пудрой, посыпаны перхотью, а застиранный неопределенного цвета берет кокетливо надвинут на левое ухо. Юбка в модных складках спереди и сзади, приподнята выше колен, вечно помятая и не глаженная сто лет. Ботинки запыленные, со стоптанными задниками и облупленными носками — тоже не чистились около 200 лет, и переданы по наследству. А туда же! — берет набекрень. Перед кем форсит? Ах, перед нашим

новым заведующим курсами Борисом Михайловичем Киреевым!

Он ее лет примерно и приехал один из Москвы, живет бобылем. И вот, надеясь на чудо, Лидия, почти уже старуха, ударяет за ним. Тщетное занятие, Борис Михайлович ни на кого не обращает внимания и только пьет горькую водку. Вот это он любит до безумия, а берет набекрень ему ни к чему, так как на закуску не годится.

На самом деле наша Лидия не Ефимовна, а Самуиловна. Но приказано, звать Ефимовной. Зовем. А родство между Ефимом и Самуилом такое же, как между бычком и ослом.

Арифметику ведет тридцатилетний Петр Семенович Янычевский. Не то поляк, не то белорус. Холостяк. Инфантильное, близорукое существо с худым, смуглым лицом, недоверчиво и с опаской смотрящее на нас из-под надвинутого на лоб треуха, через призму огромных с мутными стеклами очков, с трудом обозревая наш девичий контингент.

Его в общежитии с иронией называли «старой девой». Станным было то, что живя в общежитии, где были студентами все 100 процентов девушки, он, являясь фактически единственным молодым мужчиной, не проявлял никакого интереса к женскому полу, у него не было девушки, ни с кем не дружил, жил в полном одиночестве.

Девушки были в недоумении — чему эту его странность приписать: то ли его застенчивости, то ли инфантильности. Скорей всего правдой было третье. Отсюда и родилось определение: «Старая дева». Знал бы он, как за глаза называют его юные красавицы, — удавился бы с горя.

Жили в общежитии преподаватели и более пожилые: одинокие и семейные. Наш руководитель курсов из Москвы — Борис Михайлович Киреев — мужчина 45 лет, высокий, сутулый, лицо избородили продольные глубокие морщины, цвет лица землисто - коричневый. В выходные дни он запирался на ключ и беспробудно напивался. До самого понедельника его никто не видел. Если я по неотложным делам была вынуждена его беспокоить, то он открывал мне дверь на

вопрос «Кто?» Я отвечала: «Это я, секретарь курсов, Люся Минаева». Гремел ключ, не сразу попадая в скважину, дверь распахивалась, и на пороге появлялась раскачивающаяся фигура, небритая, с всклокоченными волосами и мутными глазами, которая, говорила:

— Входи, входи, Люда, я рад тебя видеть. Что, срочно? Пожалуйста.

Я мельком замечаю в комнате Бориса Михайловича ужаснейший беспорядок: на полу под столом гора мусора из рваной и мятой бумаги, куча бутылок, на столе все засыпано окурками и над головой дым коромыслом. Пршел слушок, что из Москвы его и прислали на «исправление» в далекий северный городок. Но тут он не очень-то исправился, хотя и старался прятаться в часы запоя. Но шила в мешке не утаишь. Исправления не было. Однако это не помешало одной юной блондинке влюбиться в такого «героя» и выйти за него замуж. Хотя, говорят, что в Москве у него остались жена и дочь. Но может быть жена была рада расстаться с таким мужем.

А для нас, курсантов, он, как начальник курсов, был добрейшим человеком. Любую просьбу он выслушивал с человеческим участием, и не было случая, чтобы он в чем-либо отказал. Всегда старался помочь чем мог и находил возможные варианты исполнения просьбы. Мы были довольны им.

Жила в общежитии еще пара очень пожилых преподавателей — муж и жена Богомолы.

Он — Дмитрий Иванович, величественный, с седой волнистой гривой волос, зачесанной назад, с волевым подбородком, крупный, горбоносый стремительно врвался в распахнутую дверь и раскатисто громыхал:

— Добрый день, девушки!

Мы всегда были рады его видеть и, улыбаясь, отвечали:

—Здравствуйте!

Он читал нам психологию, педагогику, методику. Мы слушали его, не шевелясь. Так приковывал он наше внимание. Называли мы его «Академиком». И нам было очень печально узнать, что вскоре после победы, когда мы разъехались

по школам, он умер. Весь институт провожал его в последний путь.

Основы марксизма-ленинизма читал кандидат исторических наук Потапов Дмитрий Федорович — очень высокий, с тонкой девичьей талией, перехваченной широким черной кожи ремнем. Черноусый, черноволосый, с бледным продолговатым лицом и пристальным взглядом печальных карих глаз. В темно-синей или темно-коричневой новой (типа гимнастерки) рубашке, в сапогах и галифе он не был похож на преподавателя, скорее всего на военного интенданта. Возможно, в недавнем прошлом он и был военным, возможно, он был на фронте и вернулся раненным? Мы не знали, но что-то болезненное проглядывалось в его бледном непрозрачном лице и вялой походке. Читал он лекции всегда сидя. И это сидячее положение наводило нас на мысль, что он болен. Но читал он лекции хорошо, как-то доступно.

Все было понятно, но о многом можно было спорить. А спорить в то время было нельзя. Надо все было принимать как должное, бесспорное и обязательное для всех, хотя ты и не согласен с этим учебником. Например, Маркс разделяет труд на простой и сложный. Труд технички - уборщицы, по его мнению, простой, а труда врача — сложный. Но Маркс не учитывает того, что труд уборщицы не простой, а физически тяжелый, гораздо тяжелее, чем, скажем, у врача-терапевта, да к тому ж еще очень грязный. Надо санитарочке в больнице убирать всю грязь и заразу, да еще подносить судно больным. Не всякий возьмется за эту работу. А оплачивается она, как простой труд, то есть за мизерную плату — 80 рублей. Гораздо ниже, чем труд врача. А вывозить грязь надо все 8 часов. Поэтому у нас теперь в больницах совершенно не стало санитарочек, и больные, и больницы погрязли в грязи.

Вот тебе и простой труд по Марксу, который выполнять никто не хочет. И еще. Коллективный коммунистический строй. Бытие определяет сознание. Коммунистические идеалы. Давайте немного пофилософствуем. Коллективный труд. Разве может иметь отличные результаты, если в одной упряжке будут и добрый человек, и пьяница, и лодырь, как Арсенич? Это же лебедь, рак и щука.

Вот за семьдесят с лишним лет воз и ныне там.

Далее: говорят, бытие определяет сознание. А в жизни больше бывает наоборот, то есть сознание определяет бытие. А как же! Тот же самый Арсенич своим сознанием определял, что лучше спать в прохладном погребе, чем упахиваться на поле. Вот его сознание и определяло нищенское бытие. А хозяин-работник думал о том, что если он хорошо и вовремя не обработает поле, то доброго житья ему не видать. И у него бытие было совсем, отличительным от Арсенича.

Коммунистические идеалы хороши для идеальных людей. Но как известно, идеальных людей на свете не существует, и следовательно коммунизм построить невозможно. Это как ученики в классе — учитель один, а ученики получаются все разные и учатся по-разному, люди из них тоже не похожи друг на друга, идеальных никого нет.

Гак что из коммунизма, кроме утопии, ничего не будет. Это мартышкин труд. Социалистический строй — это возможно.

Возьмите сейчас ту же Москву. Восемь миллионов человек там живет. Ну а какой там коммунистический труд? Да никакого. На фабриках и заводах работать не желают. Все нанимают лимитчиков. Дворы убирать — выполнять простой марксистский труд — тоже нет охотников, а все метят в доктора наук, да в великих ученых и артистов, или просто перебирать бумажки в различных конторах. Упахиваться не желают. Да все митингуют и демонстрации проводят, а картошечку выкопать — пусть колхознички им приготовят обдутьенькую, ручки маран, они в грязи не могут. А ведь считают себя головным мозгом государства. А хотят прожить за чужой физический труд. Вот вся тут коммунистическая идеология и выразилась.

Физику у нас на курсах вели два преподавателя — полная, противоположность один другому: Башкиров Иван Семенович и Балин Геннадий Николаевич.

Первый мужчина — неопределенных лег, мешковатый, сутулый, с

широкой, простецкой деревенской походкой, в полу - растрепанном сером пиджачке и черных неглаженных брюках, имеющих выпуклую форму на коленях. Зимой в ветхом поношенном с вытертым воротником пальто и такой же шапкой, весной в приплюснутой выцветшем синей кепке.

Он всегда, почти всегда, опаздывал на лекции, и мы в ожидании его сидели и смеялись, гадали: какую сегодня наш дед (так за глаза мы его называли) принесет в аудиторию ношу? Так как дед был хозяйственный человек и всегда по дороге в институт он заворачивал на базар и приобретал там соответственно времени года нужный товар и инвентарь.

Если это была зима на закате, то есть март, то он, открывая дверь в аудиторию, первым делом впереди себя, как тросточку, выставлял лопату, так как в другой руке, под мышкой, придерживал портфель. И закрывая дверь, здоровался:

— Здравствуйте, товарищи!

А какие мы ему товарищи — Аллах его знает. Первые ряды дружно вставали и собирались произнести ответное приветственное слово. Остальные, сзади, спрятавшись за спины передних, только чуть приподымались и прыскали от смеха.

Но он, рубанув по воздуху лопатой, успокаивал:

— Сидите, сидите, товарищи!

Мы садились, улыбались и кивали головами:

— Здравствуйте!

— Зачем ему лопата? — на ухо, сквозь смех, спрашивала у меня Аня Яковлева.

Я пожимала плечами, затем, подумав, соображаю:

— Весна скоро. Надо будет землю копать.

— Подо что? Под могилу? — смеется Аня.

— Нет, под картошку с морковкой.

— А-а-а!

И действительно, к концу мая пригревало солнышко, и мы, как воробьи на веточке, отогревались на институтских скамейках у окна. Засиделись, дожидаясь нашего деда на очередную лекцию физики. И вот, наконец, послышались скрип двери и побряхтывание за ней. Все взоры обратили к ней. Но что это? В половину двери на уровне середины, вися в воздухе, протискивался... мешок с картошкой.

Что это? Мираж? Ничего подобного! Мешок благополучно (правда, обдирая косяки и планки крашеной двери) сузился в середине, но протиснулся. А за ним уже потом появилась фигура запыленного «деда». Мы не удержались и запрыскали смехом. «Дед» не смутился, широко улыбнулся и произнес:

— Прошу прощения, девушки! С вашего позволения я этот мешочек в уголок, вот сюда, поставлю, чтобы не мешал, и приступаем к занятиям.

Мы, разумеется, не возражали. У «деда» нашего оказалась на редкость обворожительная и очень молодая жена. Она не любила нашего «деда», даже не уважала, как уважали его мы, за его простоту обращения с нами, за его хозяйственность.

Мы все были деревенскими детьми. И хотя мы посмеивались над его хозяйственными домашними заботами, которые он вперемежку с институтскими хлопотливо, но по-деловому исполнял их для пользы семьи — мы знали им цену по тому трудному военному времени. И хотя у него получалось и смешно, мы все равно ценили в нем это, как положительное качество взрослого человека.

Жена этого не ценила, наоборот, он вызывал у нее чувство отвращения, так как ей казалось, что он потерял достоинство интеллигентного, высокообразованного человека, элегантного, который не умел поставить себя высоко и нести гордо свое «я». Ни умел

жить, как другие, приобщаясь к высокой материи и путем подхалимства и угодничества иметь много часов лекций и получать огромные деньги, то есть быть чистеньким, обуеньким интеллигентом и вкусно кормить свою жену.

А муж, наоборот, казалось ей, опустился, не обращает внимания на свою внешность и ведет столько часов, сколько дают, и сам сажает картошку, чего,

конечно, не делают такие преподаватели, как красавец, щеголь Балин.

Скажите, откуда нам стали известны такие секреты про жену деда? Да из простых источников. Достаточно один раз нам стоило побывать на квартире у него в качестве посетителей на одну минуту, как стало всем ясно, как божий день.

Нас встретила холодная красивая фигура сидящего манекена — его жены. Она не повернула даже головы ни на наше «здрасьте», ни на приход мужа. Лишь чуть заметный кивок нам следовало принять за ответное приветствие. Ее лицо ничего не выражало, полное отсутствие мыслей или каких-либо эмоций на наш счет. Она не пригласила нас сесть, так как не считала нас за людей или хотя бы за взрослых. Видно, мы ей еще казались какой-то шантрапой, бездомной, которой не обязательно уделять знаки внимания. Она как сидела молча за столом в пол-оборота к нам, глядя прямо перед собой, так и осталась сидеть, делая вид, что занята очень серьезной работой, устремив взгляд в книгу. Она даже не приподнялась и не вышла из-за стола, не повернула голову в нашу сторону, как будто нас не существовало, как будто мы не присутствовали в данный момент в ее «исторической» комнате.

На ее лице были написаны только неприязнь и холодное отчуждение к пришедшему мужу. Какая уж там любовь к нему! Он был просто вещью, которая надоедливо маячила у нее перед глазами. Но этот манекен не понимал, что эта «вещь» ее поит и кормит, одевает и обувает, а главное, согревает, вернее, спасает ее жизнь в это трудное военное время. И «манекен» позволял это ему делать для нее, но не ценил этого ни в грош. Все это мы, будущие педагоги, прочитали за одну секунду на ее лице.

Зато наш талантливый «дед» из-за слепой любви к этому холодному манекену ничего этого не видел и не мог видеть и выбивался изо всех сил, чтобы угодить этому выродку красоты. Нас это потрясло, и мы много вечеров говорили па эту тему и удивлялись нашему открытию. Нам было жаль «деда», но помочь мы ему ничем не могли. С этого времени мы забывали про свои невзгоды и считали нашего «деда» самым несчастнейшим созданием, хотя «дед» этого

абсолютно не замечал (к его счастью) и был всегда в хорошем настроении..

Но однажды наша самая умная Аня Сазонова высказала первую «великую» мысль, как педагог:

— Оказывается, — сказала она, — иногда лучше быть нелюбимым и не счастливым и не знать этого, чем быть любимой и не любить — и знать это.

В другой раз, когда опять зашла беседа о «деде» (которому было, как мы узнали, только 38 лет), Аня Сазонова вновь высказала еще более гениальную по нашему уразумению мысль, которая просто шокировала и коренным образом изменила наше отношение к «деду». Облокотившись на стол, подперев подбородок своей стройной с длинными пальцами рукой (в другое прекрасное время Аня, вероятно, могла бы быть отличнейшей музыкантшей с маникюром на красивых ноготках, она вдруг спокойно, без каких-либо эмоций на лице произнесла:

А может «дед» притворяется таким простачком? Перекрасился, как хамелеон, специально превратил свою внешность в 38 лет в деда, хорошо пристроился к здешнему институтскому миру и уваливает в таком виде от войны, от фронта, где гибнут миллионы молодых мужчин? А? А мы жалеем его, сочувствуем ему, что жена его не любит, ненавидит... А его, возможно, и следует ненавидеть?.. Как вы на это смотрите?

Мы остолбенели... Мы потеряли дар речи от такого открытия и в немом молчании недоуменно смотрели друг на друга. И вдруг задумались. И каждый подумал, не произнося ни слова вслух: «А ведь в заявлении Ани есть какая-то подсознательная доля правды, которая дотоле скрывалась от нас»... Действительно, почему «дед», работая преподавателем в таком престижном институте, являясь воспитателем молодого поколения педагогов, не стремится быть примером внешнего обаяния? Всякий педагог школы, и тем паче института, обязан это делать. И понятно, что «дед» это отлично понимал и знал, что кроме того, что он должен дать нам определенную сумму знаний, он обязан воспитывать нас всем своим внешним обликом, как человек. А наш «дед»,

напротив, так паршиво одевался, как не позволил бы себе всякий уважающий себя человек, кроме только того попал в беду. Но наш «дед» ведь не был в беде. Напротив, работал в институте преподавателем, подрабатывая на наших курсах. Так неужели действительно он не имел ни одного порядочного костюма, хорошей рубашки и какого ни на есть галстука? Это такое нищенство при молодой красивой жене? И все то, что имел, было в таком неряшливом виде, что стыдно было глядеть на него. Что-то в его поведении было действительно из ряда вон выходящее.

Это что-то смахивало на притворство, рассчитанное на то, чтобы выглядеть как можно старше. А следовательно, не привлекать к себе внимания и стараться смахивать на деда, когда тебе нет еще и 40 лет. Очень даже удобная позиция для тех, кто ухитрился увильнуть от призыва в армию с прямым попаданием на фронт. Ну, Бог с ним, с этим «дедом». Может, он уже побывал на фронте и даже ранен был, мы ведь этого ничего не знаем. Но что-то не видать ни ран, ни разговоров о фронте. Если человек хлебнул этого лиха, то он обязательно порасскажет об этом людям. От «деда» мы таких историй военных не слышали.

И я вспоминаю брата Ваню, который к этому времени уже погиб в 21 год на фронте. Воевал он бесстрашно, мужественно, перед самой гибелью был награжден орденом «Красной Звезды», отдав свою молодую жизнь за Родину, за нас, за наших матерей... Отдал жизнь, не успев полюбить, жениться, иметь детей... Да какое там! Не успев узнать радость, первого поцелуя и не утолив чувства голода, не наевшись ни разу досыта какого-либо хлеба. Вот так...

Может быть «дед» ни в чем не виноват? Но почему он в 38 лет подгримировался под деда? Надевал всякую ветошь? Это все-таки подозрительно. Нередко тогда так поступали те, кто хотел всеми способами увильнуть от призыва в армию с прямым попаданием на фронт. Всеми способами, дозволенными и недозволенными, старались достать, приобрести себе бронь, чтобы остаться живым да еще постараться попридержать при себе молодую красивую жену.

А у меня, сколько уже к этому времени погибло двоюродных братьев, тоже Ваней. Кроме родного, еще четыре. Таких же молодых, таких же несчастных, как мой родной брат Ваня: Ваня Лавренов. Ваня Попов, Ваня Соловьев и Вася Минаев.

А «дед» живет и здравствует и кушает вдоволь хлеба и картошки... И, разумеется, доживет не менее чем до 90 лет, благо война кончается и скоро будет победа. Значит, говори, «дед» уцелеет.

Но иногда ко мне приходили минуты сомнения. Я начинала раздумывать и ко мне наведывались такие мысли: а может «дед» болен? Или уже был на фронте. И ранен. И потому теперь его не берут. Но это оправдание расшибалось при виде того, как «дед» таскал мешочки. И ран никаких не было видать. А потом я узнала такую неприятную новость, которая характеризовала его, как недостойного человека: он требовал от заведующего курсами приписки больше часов, чем он давал их на самом деле нам, чтобы получать большую сумму денег. Значит, человек этот способен на обман, на подлог? И это в военное время?

Значит, способен. А раз так, то способен увильнуть от попадания на фронт. Такой человек способен на все.

С тех пор у меня в душе получился перелом в отношении личности «деда».

ГЛАВА 52

БАЛИН

Балин Геннадий Николаевич, как я уже сказала, представлял полную противоположность Башкирову. Всегда одет «с иголочки», отутюженный, обдутьский, красивый высокий брюнет, в очках с позолоченной оправой, всегда при галстуке и в белой рубашке, в строгом темном костюме, в новом зимнем пальто с богатым меховым воротником и норковой шапке. Строгий, требовательный — глядел на нас, из-под нависших темных бровей через призмы, блестящих позолотой очков, внимательным, изучающим и я бы сказала после

некоторых наблюдений, недоверчивым взглядом.

В чем его недоверие к нам? А в том, что он не видел в этих молодых девушках, смахивающих на подростков, с бледными, худыми, а порой зелеными лицами, с посиневшими от холода руками, да, именно не видел в этих озябших, хрупких фигурках, кутавшихся в платки, ослабевших физически (а следовательно и морально — как он понимал) будущих педагогов-воспитателей. Слишком молода и слаба была смена!

Откуда я узнала его мнение? А у него все было написано на лице. Достаточно было посмотреть на него внимательно полчаса, как все можно было понять, прочесть. И потому, как отрешено, но с сознанием долга, читал нам лекции, думал при этом, все, что он читает, ни высокие премудрости физических законов и формул — не впитываются в наши юные головки, а идут куда-то вверх, в пустоту, и потому как он недоверчиво со вздохом смотрел на нас и спрашивал: «Понятно?» Услышав в ответ «Понятно», отворачивался к доске и продолжал писать быстрым почерком далее премудрые строки с формулами. Было видно, что он не верит нашему ответу и думает: «Где уж вам, зеленым птенцам женского пола, понять! Пиши дальше, губерния! А что из этого выйдет — одному Аллаху известно!»

Мы все это понимали и прозвали его «Баринном». Однако это не помешало нам его уважать по-настоящему за добросовестное исполнение долга, то есть за хорошее чтение лекций, хотя он и не верил совершенно в наши детские девичьи силы. Но он не опустил руки и никогда ни одной лекции не прочитал нам не подготовившись к ней основательно. Все лекции были прочитаны на высшем уровне и дали свои плоды.

Мы к его зачетам и экзаменам, так же как и он, готовились основательно и решили дать ему бой, то есть доказать, что хотя сейчас перед ним действительно желторотые слабенькие птенцы, но из них в будущем выйдут настоящие педагоги, и физику мы ею отлично понимаем. Это доказали первые его зачеты и экзамены.

Барин, то есть Балин, вслушиваясь в наши ответы, всматриваясь в чертежи, в длинные записи формул па доске, просто растерялся, удивленно протирая свои очки, недоуменно тер вески и даже краснел, когда смотрел на отвечающую девушку, то ли от смущения, то ли от смущения, то ли от радости, что труд его не пропал даром, не ушел в пустоту, как он думал.

А смущался он видно от того, что ему стало внутренне стыдно, за то, что так плохо думал о нас. Вот и педагог педагогов, оказывается, иногда ошибается в оценке действительности. Он с удовольствием ставил нам четверки, а некоторым и пятерки, хотя и был очень строг на счет оценок.

Близился Новый год. Объявили будет нарядная елка и студенческий вечер. Бал — не то слово в военное время. Что-то не радовали нас ни елка, ни приближающийся праздничный новогодний вечер. Какое-то внутреннее чувство подсказывало, что не будет веселья, нам, одним девушкам.

И действительно. Огромный зал.. Посредине возвышается до самого потолка сверкающая нарядная елка. А кругом на скамейках по всем четырем стенам сидят одни девушки. Льются звуки задумчивого вальса, но никто не танцует. Почему? А с кем танцевать? Шурочка с Машурочкой? Ведь нет ни одного парня. Вот как грустно прозвучал вальс.

Музыкантша перешла на веселые польки и падеспань. Но и тут не оказалось желающих танцевать. Девушки с девушками, как сговорились, не танцевали.

Перешли на песни. Вот тут немного разрядились. Грустные и веселые — военные. Спели и «Синий платочек», и «Любимый город», и «на позицию девушка провожала бойца»... и другие. На том и закончилось наше празднование.

Перед уходом на середину зала вышла Тамара секретарь комсомольской организации педагогического института. Она сказала на прощание:

— Милые девушки! Дорогие подруги! Не надо грустить, что нет с нами наших дорогих братьев и милых друзей, наших мальчишек. Они воюют и хорошо воюют! Враг бежит. И теперь наши парни добивают фашистов в его же логовище.

Скоро кончится война. Победа наша уже недалеко! И не надо грустить. Будем радоваться новому наступающему году, году наших побед! Будем ждать своих друзей и пожелаем им великой победы, большого счастья и скорейшего возвращения к нам, к родным, любимым, матерям и невестам, женам и детям.

До свидания! Желаю всем счастья в новом 1945 году!

Так и остался в нашей памяти этот новогодний вечер — печальным, с красивой сверкающей холодной елкой — несмеяной.

ТРИ ПОДРУЖКИ

Мы, то есть Уля Неськина, Аня Яковлева и я, три неразлучные подружки, очень сдружились, ходим все вместе в институт, сидим рядышком за одним столом, всеми радостями и печальями делимся, как сестры. И вот решили поселиться вместе. Комнат пустых в нашем общежитии много. Одну облюбовали — окнами на солнышко — и в пять минут с разрешения коменданта переселились в нее.

Аня Яковлева тоже русская, высланная с родителями в тридцатые годы в Коми, была из другого района. Оказывается, по всей Коми-республике были высланы «кулаки». Она немного постарше нас с Улей, ей уже 20 лет. Но выглядит нашего возраста, небольшая, худенькая и с замечательным артистическим голосом. Бывало как запоем перед раскрытым весенним окном: «Есть на Волге утес»... или «Там, где ятрень круто вьется»... или «Распрягайте, хлопцы, коней», так на душе станет легко-легко и радостно, как будто и нет войны, холода и голода...

Мы с Улей как могли подтягивали ей. Садись на подоконник и получалось трио: Аня — высоким, красивым голосом вела песню, я чуть пониже, а Уля — настоящим вторым. И получалось даже здорово. У меня тоже был неплохой голос, но не такой сильный, как у Ани. Улин голос был, как нельзя кстати — низкий.

И мы часто певали, хоть жизнь была такова, как говорят, не до песен. Однако ж вот пели...

ГЛАВА 53

СЕВЕРНЫЙ БАЗАР В ВОЕННУЮ ПОРУ

Северный базар бурлит своей, никем не писанной. жизнью. Сорокаградусный мороз на дворе, все застыло в этой пространной атмосфере: и деревья, и дома, и облака. Только базар кипит, парит, шумит.

Фигурки человечков снуют туда-сюда, выискивая что-то, присматриваются, торгуются, ругаются. Все хотят купить съедобное, хоть как-то утолить вечный голод. А те, кто стоят за прилавками и торгуют молоком, овощами, картошкой, чувствуют себя более бодрее, да и взгляд у них совсем не тот, что у голодного, затравленного войной, неуверенного в себе человека.

Есть еще и другая категория продавцов — они стоят не за прилавками, где-либо в сторонке, в углу каком-нибудь, робко и несмело предлагая свои товар: пайку хлеба, которую просто держат в ладони на газете, или еще какую-нибудь мелочь. Это продают свой товар от нужды. Не достает денег на что-нибудь, возможно, на соль, а может, на табак. У этих горе - продавцов цены пониже. И потому к ним подходят люди менее обеспеченные.

Вот и мы, три подружки, решили прицепиться к продуктам таких продавцов. Купить что-либо на один завар, как тогда говорилось, ради воскресенья. А не повезет, в смысле не хватит денег, просто потолкаемся, посмотрим на базар, ведь молодым все интересно.

Ну и шагаем, весело перебрасываясь остроумными словечками — реакция на виденное. И вдруг впереди, в углу, замечаем мужчину в шапке-ушанке, в осеннем пальто. Стоит к нам спиной, а на вытянутой руке с полотенцем красуется стакан с мелкой ячменной крупой. Стоп! То, что нам надо: купим крупы и один раз все кашки покушаем. Мы к нему. Убыстрили шаг. Аня обогнала нас с Улей, первой подскочила к торгашу и хлоп его рукой по плечу:

— Почем, дядя, крупа?

Вопрос прозвучал в тот момент, когда мы с Улей, запыхавшись, приблизились к дяде. Дядя, обрадовавшись, тут же повернулся и солидно произнес:

— Тринадцать (значит, рублей).

Но в ту же секунду и у него, и у нас лицо вытянулось в таком испуге, как будто и его и нас ошпарили кипятком. И мы, и он оказались в таком шоке, что с минуту смотрели друг на друга, выпучив глаза, и не могли произнести ни слова.

Наша боевая Аня Яковлева первая очнулась от этого шока, круто повернулась и бросилась бежать к выходу. Мы за ней. Выбежав на воздух и остановившись от усталости, мы разразились таким истерическим смехом, который долго не могли унять!.. Дело в том, что дядей с крупой оказался наш преподаватель института, который читал нам лекции по арифметике, алгебре и другим точным наукам. Он вообще-то отличался от всех, какими-то непонятными особенностями: лет 35-ти, а неженат, несмотря на то, что в войну женщин и девушек было хоть пруд пруди. Жил все время в общежитии отчужденно. Никто не заметил, чтобы у него были какие-то друзья: по работе или по общежитию института. Никто никогда у него не бывал — ни из мужчин, ни из женщин, значит, не приглашал. Сам себе все делал: готовил, мыл, стирал.

Еще был один такой странный старик-педагог института, который жил также холостяком в этом общежитии один в комнате, где тоже делал всё сам для себя. Но это не помешало ему жениться в конце войны на молоденькой красавице-блондинке.

Она ходила в черной блестящей шубке, в белой пуховой кроличьей шапке и скрипучих белых фетровых ботах в институт. Каждое утро мы встречали ее по дороге и любовались этой «снегурочкой».

Знали даже подноготную ее автобиографии, то есть, что ей только 21-й год, что у нее есть папа и мама, а главное — что у нее имеется такой же, как и она, красавец - жених, офицер, который сейчас на фронте, и она ждет его.

Но не дождалась эта снегурочка своего суженного — вышла весной 1945

года за старика - отшельника замуж. А буквально, через три недели, явился жених с фронта (отпуск или совсем уже не помню) и предстал перед очами родителей невесты. Отец и мать ее обомлели, и ничего не могли рассказать вразумительного, что случилось с их дочерью. Жених хорошо запомнил только новый адрес, по которому живет его невеста. Не придав особого значения этому, он стрелой помчался по указанному адресу. В голове не возникало плохих мыслей. Дело в том, что из рассказа родителей он понял — новый адрес есть ни что иное, как общежитие студентов, вернее — общежитие девушек педагогического института. Мальчишек там не было, и быть не должно в войну.

И офицер летел на крыльях. Каждая прошедшая секунда времени приближала долгожданную встречу, которую он ждал столько лет!

И вот найдена нужная дверь! Постучался. И... не услышал своего стука, так билось его сердце! Дверь открылась, и на пороге... появился старик. А в глубине комнаты у окна, возле стола сидела его божественная красавица, смотрела в какую-то книгу и не повернула головы. Ее не могли интересовать друзья старика — такие же деды и старухи преподаватели. Поэтому она не увидела своего жениха и не могла увидеть еще и потому, что муж - старик быстро вышел в коридор и прикрыл за собою дверь.

Он спросил у военного:

— Что вам нужно, молодой человек?

— Здесь живет Светлана Чепникова?

— Да, здесь.

— Но почему... Вы здесь?..

— Ну, молодой человек, — ехидно улыбаясь, произнес неказистый маленький старикашка, — я здесь по той причине, что являюсь ее мужем.

Дальнейшую сцену передать не могу... Бывают же в жизни такие моменты, которые не могут описать даже изысканные таланты писателей...

Какому-нибудь читателю покажется странным окончание моей начатой темы. Скажет: «Какая же связь между базаром и этой снегурочкой?»

Отвечу. Самая прямая. Одни люди продавали в войну продукты, другие — свою честь...

Ну а каши ячменной нам в этот день поесть не удалось... О чем мы сильно сожалели. Цена была сходной, но купить было совсем невозможно...

ГЛАВА 54

АВАНТЮРИСТ

На этом базаре летом 1945 года я неожиданно увидела еще одного проходимца. Это был наш поселковый авантюрист — Филипп Иванович Дьяконов.

Везет же в жизни авантюристам! Давно погибли на фронте мои родные и двоюродные братья. Братья, которым было, и не было, по двадцать лет, которые не наелись даже хлеба за всю свою короткую жизнь, еще не целовали девушек и не заимели своих детей. А со своей жизнью им пришлось расстаться...

Не стало моих милых братьев: Вани Минаева. Вани Лавренова, Вани Попова, Вани Соловьева. Васи Минаева... Погибли и их друзья-товарищи в таком же возрасте. Уж никогда не вернуться с фронта Леня Коновалов, Петр Куркин, Анатолий Тугарев.

Не остались в живых и сыны проходимца. А сам проходимец, предатель и авантюрист Филипп Иванович целехонек и почти невредим. Вот он для видимости чуть-чуть прихрамывает, опираясь на тросточку, и идет под руку по базару с новой молодой женой. На поселок, разумеется, не вернулся и старуху, тетю Мотю, конечно, бросил, оставив на руках ее двух малолетних девочек. Зачем она ему? Когда баб кругом навалом, выбирай какую хочешь.

А уж наш поселковый авантюрист не промахнется. Не в такие переплеты он ввязывался и всегда выходил сухим из воды. И победителем. А тут на пути какая-то тетя Мотя. Да ему это просто плюнуть, чтобы от нее отвязаться.

Раньше, может, жил с ней лишь потому, что любил сыновей, а их теперь не стало... А девчушки не в счет, малые. Предательства его не поймут и помнить не будут. Что и требовалось доказать, то есть отрубить.

И отрубил. А почему бы ему, такому негодяю, не рубить эту тоненькую ниточку, связывающую его с семьей? Не такие канаты рубил в жизни и на фронте. Умудрился же вот остаться живым в таком переплете войны. И как остаться — легко раненым. А тут войне конец. Все как по маслу...

Воин. Победитель. Хотя, уверена: всю войну прошел где-нибудь заведующим продовольствием, финансовой частью. Все время был то зав. складом, то зав. столовой, то еще каким-нибудь завом. Только не простым колхозником или лесорубом. Все время на кого-то писал, доносил, капал. Все время кого-то предавал. Предавал за сказанное не вовремя слово, за взятую на складе картофелину, чтобы сварить детям суп, за украденную с огорода брюкву. Сколько добрых людей посадил в тюрьму! Сотни... Донося на других, тем самым отводил от себя подозрение. Он досконально изучил тактику царствующего тогда террора и хаоса. И выбрал исключительно неуязвимый для себя путь доноса: губи жизни других людей, и тем будешь спасен сам.

И более того, за ширмой доноса сам можешь воровать, сколько душа твоя пожелает, и тебе ничего не будет. Тебя всегда защитят. Просто ты должен тогда еще больше доносить и сажать людей в тюрьмы. А тебе все простится.

Ну а это было его любимым занятием — доносить на других. Не только доносить, но и сочинять самому «прегрешения» на людей, которые сном и видом не знали о своих «лиходействах». Их сочинял неуязвимый вор, и матерый негодяй Филипп Иванович Дьяконов.

Молния зажигала лес. А Филипп Иванович сочинял донос, что лес поджег от незатушенного костра Николай Антонович Минаев, когда ходил на охоту. В ту пору у отца было ружье, и они с ветеринаром Зайцевым были на охоте. Хорошо, что ветеринар был из вольных и находился вместе с отцом, о чем доносчик не знал. А Зайцев доказал, что они были совсем в другом месте на охоте, и никакого

костра не зажигали то еще раньше отцу пришлось бы сидеть в тюрьме.

Унесла за пазухой какая-то тетя Маша с колхозного огорода турнепс, только ступила на деревянный мостик, переброшенный через болото к поселку, а сопляк Мишка, старший сын Дьяконова, тут как тут:

- Чего несешь за пазухой, тетка: А ну, покажь!
- Пошел к черту, сопляк!
- Ага, поглядим, кто пойдет к черту! Вот пойду к коменданту и скажу.
- А я тебе пока уши нарву.

Мишка, дал стрекоча, но вечером докладывал отцу, что видел тетю Машу, которая шла с колхозного огорода, с оттопыренной пазухой. У тети Маши делали обыск и находили несколько брюкв или турнепса, которые она взяла с огорода, чтобы спасти детей от голода. Но это не брали во внимание и отправляли тетю Машу в тюрьму, а детей в детдом.

Такая участь ждала и многих следующих людей.

Зато сам Филипп Иванович, будучи зав. складом магазина, ел со своей семьей все от пуза. Если другие люди пухли от голода и хлеба совсем не видели — у Филиппа Ивановича пеклись не только хлеб, но и сдобные пышки и пряники. Тетя Мотя его была на то мастерица. Дети ее носили полные карманы леденцов и карамелек, кушали белый хлеб и пирожки всех сортов, пили чай с маслом. Будет тебе Филипп Иванович связываться с мелочью. Он тащил центнерами. Ел досыта и сорил деньгами. У него имелись, кроме жены, еще две проститутки, которые ухитрились за один год вместе с женой родить ему по ребенку, то есть за год три ребенка у него появилось. И все сыты, обуты и одеты.

Комендант поселка этого не потерпел и решил его снять с зав. складом. Но проходимец не растерялся и подговорил бригаду мужиков, которые будут таскать весь товар на весы при сдаче, и приказал, чтобы они определенное количество мешков муки, крупы, сахара взвешивали по два раза. Он им до сдачи уплатил каждому определенную сумму денег. И они выполнили его задание.

Авантюрист «блестяще» сдал склад. Оказалось даже некоторое количество

продуктов

«Лишку». И жулик ехидно изрек:

— Надо было, больше есть конфеток.

Отменному вору все сошло с рук.

Семен Макаров, спустя некоторое время, рассказал нашим мужчинам: отцу, брату Феде и дяде Лавренову, как прошла процедура сдачи склада. Он был в числе тамошних грузчиков. Мужчины наши удивились и спросили:

— Почему же вы согласились на этот обман?

Семен Макаров ответил:

— А он пригрозил, что если кто не согласится или проговорится, то он всех пересажает в тюрьму. Сочинит на них фальшивые доносы, и им всем будет крышка. Ему обязательно поверят, как многолетнему предателю народа. Это уж ясно. А с ними чикаться не будут.

Вот так-то действовал авантюрист.

А теперь, вишь, шагает с тросточкой, слегка прихрамывая, попирая землю все тем же победоносным блестящим хромовым сапогом, как некогда до войны попирал всех людей на поселке. А ему, вору-душегубу, все с рук сходит, как с гуся вода. И вот жив и невредим. Где же Бог? Почему не наказал хриstopродавца? Почему в землю уложил столько неповинных, а этому гаду не дал умереть? Хотя бы на поле боя.

А Бог ответил:

— Не был этот мерзавец на поле боя, а был опять около солдатского котла, и только. Вот какая-то нечаянная пуля и поцарапала ногу.

— А может, он ее сам поцарапал? -

— Возможно.

ГЛАВА 55

ВОЙНА КОНЧИЛАСЬ

Идет зима: суровая, морозная, снежная. У нас в общежитии зверский холод. Мы мерзнем до костей. Почти не топят. Редко подтапливают. И в институте, и в общежитии ходим и спим одетые, то есть в одежде день и ночь). Ночью стелем под себя на кровать два матраса и на себя кладем два. чтобы не замерзнуть.

Я уже болела малярией два раза. Теперь вот пухнут ноги и поднимается температура до 40 градусов. Ревматизм одолел.

Пришла весна. Нас погнали к реке, из ледяной воды доставать толстенные бревна, на дрова. Сказали — мерзли зиму, вот чтобы не мерзнуть вторую зиму, вытаскивайте из воды бревна на дрова, которые не успели вытащить осенью.

Мы обхватываем концы бревен с двух сторон толстыми канатами, концы взваливаем на плечи и тянем эти бревна по наклонной вверх на берег. Бревна вытаскиваем из ледяной воды, стоя по пояс в ней. Что будет в дальнейшем с нами? Одному Богу известно, какие могут быть последствия.

Так мы проработали почти неделю, и я свалилась. До того распухли ноги, стали, как колодки. И температура поднялась почти до 41 градуса.

Вызвали «скорую». Приехала «скорая», и меня отвезли в городской больничный городок, что за Сыктывкаром.

Пролежала я там три недели или больше. Лекарствами, особенно аспирином, сбивали температуру. И пухлота с ног стала постепенно спадать. Мне стало легче, и я хоть там отоспалась. Никаких тебе лекций, хотя есть почти нечего, кормили два раза в сутки овсяным супом и кусочек хлеба. Зато спи, сколько тебе влезет. А молодому организму это очень помогало. Я чуть-чуть поднялась.

После болезни я настояла, чтобы обязанности секретаря курсов с меня сняли. В таком болезненном состоянии я не могла вести дальше дело, да еще самой учиться, посещать лекции.

Переговорила с директором курсов Борисом Михайловичем Киреевым. Он сказал: Очень жаль, Люся, не хочу тебя отпускать. Мы так хорошо с тобой сработались. Но раз ты желаешь расстаться с этой должностью, то воля твоя.

На должность секретаря курсов я рекомендовала Тамару Стрельцову. Она не хотела, отнекивалась, но я ее уговорила.

Так мне стало немного легче жить, меньше забот стало, и я потихоньку стала поправляться.

Однажды ночью в начале мая нас подняли по какой-то тревоге, как военных, в 5 часов утра и приказали всем собраться в актовом зале общежития. Собрались. Ждем начальство. Разговариваем и не можем понять, что же случилось. Никто ничего не знает. Но вот в дверь входит директор института со свитой преподавателей и открывает собрание-митинг. **ОКАЗЫВАЕТСЯ КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА!** О, счастье! О, жизнь! О, радость! Ура-а!

Выступали один за другим, А мы уже не так их слушали, даже порой не слышали, что они там говорили. В душе было только одно великое, радостное ликование: **КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА!**

Кончилась! Страшная, бесчеловечная, но кончилась! Теперь надолго будет **МИР И ЖИЗНЬ! СЛАВА БОГУ! МИР И РАДОСТЬ! МИР И ХЛЕБ! МИР И ЖИЗНЬ!** Земной поклон солдатам-освободителям! Живым и погибшим! Всем людям на земле, боровшимся с фашистами.

Целый день гремела музыка по городу из репродукторов. Люди при встречах бросались друг к другу в объятия, смеялись, танцевали, плакали.

Нам в институте кормили супом досыта. Садись и хлебай, сколько влезет. Правда. суп жиденький, одна капуста, но хлебай вдоволь. Животы раздулись, а есть все равно хочется.

Весь день ходили, гуляли, никаких занятий. Даже кино показывали в театрах бесплатно. В общежитии начале не разобрались, кто говорил по радио. И Аня Протопопова заявила: Вишь, как старается — пайку зарабатывает.

Мы так и грохнули смехом:

- Да это же Сталин!

Она не поверила. А потом тоже смеялась. Голос у Сталина глухой, с акцентом. Речь тяжелая не выразительная. Слова подбирает с трудом. В общем, оратор он никудышный.

Этот день, 9 мая 1945 юла, мы запомнили на всю жизнь.

ГЛАВА 56

ШКОЛА

Ну вот, мы и закончили курсы. Сдали последние экзамены и получили документы. Теперь мы законные учительницы. Только будем продолжать учиться в институте заочно, чтобы получить уже настоящие дипломы.

Выдали па руки направления на работу.

Нас с Улей Неськиной посылают работать в наш Княжепогостский район Коми АССР. А куда конкретно — скажут в районо.

Перед отъездом институт обязал нас заготовить дрова в лесу. Каждому надо напилить и наколоть по пять кубов дров. Только после этого нам выдали направление на работу.

И так, мы с Улей напилили и накололи в лесу вдвоем 10 кубов дров положили в карманы направления на работу, и только после этого сели с ней на огромный пароход и поплыли в далекий Княжепогост.

Здесь в районо нам выдали документы, по которым мы теперь значились учительницами математики Княжепогостской семилетней школы, что стоит за рекой Вымь в деревне. Благо в этой деревне в больнице работала моя сестренка Аня медсестрой, куда мы и прибыли с Улей. Стали на ту же квартиру, где поселилась Аня. Дом разделялся коридором на две половины. В одном жили хозяева с четырьмя незамужними дочерьми. В другой половине жила старшая дочь Нина с тремя детьми. Муж погиб на фронте. Нина занимала две комнаты, в одной из которых (дальней) жили мы. Свою комнату мы обклеили книжной

бумагой, вымыли пол. затопили печь, и стало уютно.

В школе поплыли дни своим чередом. Первые уроки, первые пятерки и двойки. Первые ученики и наши коллеги-учителя. Большинство коми.

Все ново. Все любопытно, интересно и тяжело. Но мы не падаем духом. Стараемся, и кажется, что-то получается, а кое-что пока еще нет.

Приходим из школы уставшими, разбитыми, а впереди до завтрашнего утра еще столько работы! Готовиться к урокам, писать планы, проверять уйму тетрадок!

Ужас! Сидим до 2 — 3 часов ночи, а в 6 утра уже на ногах!

Однажды сидим вечерком после прихода из школы за планами. Вдвоем с Улей, Аня на дежурстве в больнице. И вдруг перед моим носом появляется пачка сигарет!.. Какая-то рука протянула ее мне. Я оторвала взгляд от тетради и вижу — Уля держит в руках зажженную папироску, затаилась ею, пустила клуб дыма мне в лицо и, улыбаясь, предлагает:

— Закури, Люся, легче станет, успокоятся нервы; и все будет в ажуре!

Я ахнула в душе, но воспротивилась:

— Нет, я курить не буду!

— Ну ты хоть попробуй! Увидишь сама, как приятно.

— Ну ладно, — согласилась я, — один раз попробую, чтобы не обидеть тебя.

Закурила. Действительно, запах приятный, видно, хорошие сигареты. «Наверно, — подумала я, — Уля постаралась, чтобы не вызвать у меня отвращения на первый случай».

— Да, — сказала я, — сигареты приятные, ничего не скажешь. Так и втянуться недолго в это занятие. Но это все равно ни к чему хорошему не приведет. Посмотри, какое у тебя, Уля, нежное личико. Несмотря на то, что кругом еще голод и мы не доедаем и не питаемся нормально, ты все-таки такая беленькая, полненькая, лицо кровь с молоком. А будешь курить — оно станет коричневым и худым. Брось! Я, заявляю тебе, курить никогда не буду, и ничто

меня это делать не заставит, так как здоровье у меня и без того неважное. И потом, мы — учительницы и женщины! А женщинам по всем человеческим законам курить очень опасно. Не обижайся, — и вернула ей пачку сигарет.

Больше никогда в жизни не брала в руки папиросы и сигареты. И не жалею об этом. А вот Уля. как мне кажется, не смогла перебороть этот недостаток. Мне не довелось ее после этой школы видеть в жизни, но на фотографии, что она мне прислала спустя много десятков лет, стоит худая, с темным цветом лица женщина. У меня возникают ощущения, что курить она не бросила.

Итак, мы трудимся, не зная ни сна, ни отдыха. «Пашем», как говорят. Сказать, что мы до безумия влюблены в свою работу, не могу. Слишком она тяжела. При всем том, мы еще страшно голодаем и одеты кое-как. Понятно, сейчас от жизни хорошего ждать еще рано! Война только закончилась.

И о женихах еще не мечтаем. Их нет нигде, не вернулись они с войны. Полегли в большинстве своем все там. Что ждет нас в будущем — совершенно неизвестно. Живем, как в тяжелом сне, ни на что хорошее не надеясь, и не представляем, когда этот кошмарный сон с голодом и разрухой, с утраченными мечтами кончится.

Вначале нас ни администрация школы, никакие там директор и завуч не беспокоили. Давали возможность осмотреться, успокоиться. Потом потихонечку стали посещать уроки.

Вот побывали на наших уроках опытная пожилая учительница этой школы Анна Ивановна Еремина, завуч Иван Семенович и директор Илья Иванович Жиганов. Все по национальности коми. Анна Ивановна Еремина похвалила нас, завуч занял позицию нейтралитета, а директор больше высказал недовольства. Анна Ивановна спорила с ним. В конце концов она рассердилась и сказала нам:

— Не слушайте его, девочки, у вас уроки хорошие, я вам откровенно говорю, а на него не обращайтесь внимания. Я его за человека-то не считаю, не то чтобы за директора.

Мы обомлели.

Да, да, — продолжала Анна Ивановна. Он в детстве был отъявленным хулиганом. И я знаю, в душе он не изменился, и весь его настоящий облик - сплошное притворство и приспособленчество. Он как был хулиганом, так и остался им.

Мы от удивления просто потеряли дар речи, не могли промолвить ни слова. Ее приговор директору считали суровым. Однако, ее слова в дальнейших событиях оправдались.

А случилось это так. Летом, уже после окончания учебного года, при начальной школе был организован пионерский лагерь. Там жили и отдыхали дети. И была у них столовая и всякие продукты при ней. И вот однажды учительница начальных классов, она же пионервожатая и заведующая этим пионерлагерем Надежда Александровна ехала, как-то раз из району домой. Переехала реку Вымь на лодке и идет по берегу в деревню, где пионерлагерь и ее дом. А на берегу везде высятся скатища леса. И вдруг Надежда Александровна замечает: вдали идет человек (мужчина) навстречу и несет ведро. Вгляделась учительница, а это наш директор Илья Иванович Жиганов. И в руках у него не что иное, как ведро со сливочным маслом, которое он стащил-украл у нее в пионерлагере, у детей, и прет его теперь к себе домой.

Надежда Александровна не растерялась, закричала, что есть мочи:

— Держите вора! Вор тащит масло, которое украл у детей!

Ну, по тем временам люди были другими. Мужчины, которые тут шли, сразу кинулись ловить вора. Вор, то есть наш «уважаемый» директор Илья Иванович, бросил ведро с маслом и, прячась за леса, удрал, улизнул. Хорошо хоть ведро бросил. Надежда Александровна подняла ведро и обрадовалась, что хоть масло осталось целым, есть чем детей кормить.

С этого дня наш «дорогой директор» исчез с лица Княжепогоста и до сей поры, морду свою в тех краях не показывает. Жена его побыла одна некоторое время и вскоре тоже мотнула. Значит, к нему драпанула: два сапога пара.

Так слова Анны Ивановны Ереминой оправдались. Директор был не только

хулиган, но и даже отменным вором. Правильно она его за человека не считала, раз этот вор мог даже красть у голодных детей.

Мы с Уляшей долго дивились этим новостям. Просто были ошеломлены.

В этот год произошло еще одно важное событие. Наша мама жила в Турье с сыном Федором и снохой Марией Некрасовой. Когда они привезли маму больную с поселка, то забрали оттуда всю картошку (двенадцать кулей), огромную бочку (на 10 ведер) соленой капусты, несколько бочонков с грибами и ягодами и привели пять коз. Две козы взрослые и три козленка.

Сами Федор с Марией в те времена картофель не садили и, разумеется, все мамины продукты поели, а козлят порезали. Вторую взрослую козу мамину отдали сватам, оставили только одну козу Снежинку. А на зиму, то есть в эту зиму, когда я приехала работать в Княжепогост, Федор с Марией укатили в Шошки. Федор на ремонт тракторов, а Мария с ним. Маму оставили в Турье без продуктов и без дров в зиму! Вот надо же быть такими безголовыми! О чем же думал брат? А ничего он не думал. Такая тупая безответственность.

Мама мерзла, мерзла без дров. Всю изгородь огорода уже сожгла, но вот приехала Аня в гости в отпуск. Немедленно пошла к председателю колхоза Волкову и попросила лошадь. Он дал, хоть и паршивая, больная какая-то была лошаденка, но они привезли с мамой на ней воз дров. И мама ожила. Но когда и эти дрова кончились и надеяться было не на что, мама взяла котомку, привязала за веревку козу Снежинку и пошла пешком к брату в Шошки, за 20 км. Мороз был крепким. Еще дорогой замерзла, прошла 20 км, еле добралась до Шошек к вечеру. Пришла, нашла квартиру Федора. Заходит в дом. Мария лежит на теплой печке, не работала. Отсыпается. И грызет какие-то семечки.

Видит: мама вся заснеженная. Замерзла. Но подлая, тупая натура Марии не соизволила слезть с печи и пригласить туда погреться нашу маму.

Вот какие ненавистные были иногда люди из рода коми. Эта подлая душонка не могла по своей бесчеловечности пригласить погреться на печку мать мужа. Как лежала, так и лежит на печи, не слезает этот «изгой» Как назвать

человеком такого урода и деспота?

Мама наша очень скромная была женщина. На ее бы месте я сказала: «Ну, тыпустишь или нет меня на печку погреться? Слезай!» А мама так не смела сказать этой палачке. Она только присела на скамейку и спросила:

— Куда мне козу поместить?

Палачиха слова не сказала, только пальцем показала вниз! Не слезла с печи. Не покормила маму с дороги. Не дала согреться. Маме самой пришлось выводить козу во двор и заводить ее в сарай.

Вот такого деспота взял мой брат в жены. Собственно, в войну никаких женитьб не было. Собирались и сожительствоваали. А собирались так: заявляла она, что беременна, и если он не возьмет ее к себе, то она заявит куда следует, а это значит — тюрьма. Ну вот и собирались, и мучились потом целую жизнь, как и мой брат, который покончил потом жизнь самоубийством. Этому способствовала и такая жизнь по тем временам, и такая вот «женитьба».

Я ее эту нашу «сноху» просто ненавижу и за человека не считаю, и права, как Анна Ивановна Еремина, насчет директора.

Мама переночевала и видит, что она совершенно теперь не нужна. Пришлось ей вновь одеть котомку и идти дальше, к нам в Княжепогост. Так зимой она пришла к нам с Аней. Мы обрадовались. А мама сказала:

— Я вас, дочки, учила, а теперь буду жить только с вами.

Вот так-то утерли ее наш брат со своей сожительницей. И с тех пор наша мама жила с нами до конца жизни.

Мы поженились с Федей Долгачевым, и ее взяли с собой в свою семью. Прожили с ней 36 лет. и слова грубого не сказали друг другу. Эти годы мамочка считала самыми лучшими в своей жизни. Переехали в Волгоград, и ее с собой взяли. После смерти похоронили ее на кладбище и насадили у ее могилы целый сад: два пирамидальных тополя, которые высятся над ее могилой, а вокруг и сирень, и вишня, и черемуха, и абрикосы. Кладбище, как парк. Все люди насадили там всякие деревья, кустарники и цветы. Хорошо там вокруг. Маму и

Фединых родителей в Борисах на кладбище мы посещаем и никогда не забываем. Поминаем. Это были наши ангелы и хранители.

ГЛАВА 57

МОЯ БОЛЕЗНЬ

Настала весна 1946 года. И у меня сильно обострился ревматизм. Сказался студенческий режим жизни в нетопленном общежитии в Сыктывкаре и весенние «прогулки» по ледяной воде в реке Сысола за «добычей» леса на дрова.

И вот ноги снова распухли, появились красные пятна над нижними суставами. Поднялась температура до 39 градусов. Меня положили в больницу. Все ломило и болело. Пролежала в лечебнице около трех месяцев. Врач Екатерина Алексеевна сказала:

— Люся, подлечим тебя немного, и тебе придется уезжать на юг. Тут тебе климат не подходит. Умрешь от ревматизма. Сердце не выдержит таких обострений.

Однажды, когда я стала немного поправляться, санитарочка зашла в палату и сказала:

— Люся, к тебе пришли посетители, аж трое парней!

Я обомлела: ко мне? Посетители? Да еще трое парней? Откуда?

— Вы шутите, Ниночка, какие парни?

— О, Люсенька, такие brave, двое военных, один штатский. Одевай быстрее халат и на выход, в приемную.

Делать было нечего. Накинула больничный халат и в приемную. Смотрю действительно двое военных в чине офицеров, которых я не могла узнать, и штатский, Иван Федосеевич Ермилов — товарищ нашего Вани — остался жив от войны и теперь работает директором средней школы п. Княжепогост — педагог.

— Ну, здравствуй, Люсенька, наш народный учитель! Что, не узнаешь, — подал первым руку представительный, чернявый, с быстрыми цыганскими

выразительными глазами офицер. — Я — Родионов Петр. Знала такого?

Тут только я признала в этом высоком офицере шустрого Петю по школе Ветью, который был из поселка Мещура.

— Вот демобилизовался, приехал за семьей в Мещуру, увезу на родину. И по пути посетил наших милых девочек по школе, которые учились в Ветью, а теперь в Турье, в десятом классе: Надю Малышко, Варю Коваленко, Нину Гурьянову и других. Боже мой! Какие красавицы стали! А тебя мы, мальчишки, тоже хорошо помним, и вот решили обязательно встретиться с тобой. А ты уже учительница! Какая молодец! Ну, поправляйся, да учи потом хорошенько наших ребятишек!

Что, брат Ваня погиб? Вечная память ему!

На этой фразе мы как-то замолкли. И у меня увлажнились глаза. Затем опять заговорили. Вспомнили школу, девочек и мальчиков, наших друзей. Все теперь кто где, рассыпались по стране.

Эта встреча была такой неожиданной и дорогой. Третьим собеседником оказался Садовников Ваня, тоже вернулся с фронта. И так же, как Ваня Ермилов, работает в Княжепогосте педагогом. Он был товарищем нашего Вани. Поговорили. Посмотрели друг на друга и... распрощались навсегда. Больше ни я их, ни они меня никогда в жизни не видели.

Через некоторое время я вышла из больницы, и районо дало мне путевку в санаторий Серегово. В селе Серегово добывают поваренную соль. Русская деревня. На окраине ее соляной завод, и на возвышенности два корпуса лечебного санатория.

После курорта медицинская комиссия дала заключение, что мне по роду моей болезни необходимо изменить климат. Так районо пришлось меня отпустить с Богом.

Мы решили семейно — мама, Аня и я, что мне необходимо уехать на родину, на юг в свою Сталинградскую область. И там я буду жить и работать. Поеду пока одна, так как Аню сейчас ни за что с работы не отпустят. И мама тоже

пока останется с ней. А там видно будет. Но чтобы окончательно рассчитаться с работы, необходимо съездить в Сыктывкар за приказом облоно. Так что мне вновь пришлось совершить путь до Сыктывкара и обратно, но на этот раз не пешком, как мы некогда шли с Уляшей, а на пароходе.

Приказ из облоно я привезла, и мне оформили расчет в районо. Таким образом, мой жизненный путь внезапно изменил свое направление.

ГЛАВА 58.

ОТЪЕЗД НА РОДИНУ

Идут последние прощальные дни. Уже собран чемодан, осталось закупить билет, и все в порядке.

Мы съездили с Аней в Княжепогост (город), сходили там в фотографию, снялись на память. Полумили карточку: стоя две девушки, две русские красавицы, юные, полные надежд на лучшее будущее...

Вот и Уля приехала проститься. Я провожала ее далеко по дороге за деревню. Расцеловались, а потом долго плакали, не могли никак расстаться. А когда все-таки Уле пришлось уходить, но она часто оглядывалась, и мы все махали и махали друг другу руками.

Кто знал, что это последняя наша встреча в жизни. Сейчас и ей, и мне седьмой десяток лет, а мы так и не увиделись с ней больше...

С Улей мы бродили перед отъездом по улицам Княжепогоста, нас захватил дождь, и мы бегом бросились к кинотеатру, спрятались за колонну, смеемся, отряхиваемся от капель дождя, и вдруг подходит к нам... Вася Сокерин.

— Откуда взялся? — спрашиваем.

— А я тоже от дождя прячусь. Вот, приехал из Ухты. Там учусь в техникуме. Еду домой в Кони.

Вася ничуть не изменился: все тот же щупленький, невзрачный юноша. Даже не подросток. Но как всегда — большой юморист. И тут не обошелся без этого.

— А вас не узнать! Смотри, какие красавицы стали! Как две лебедушки!
— произнес, улыбаясь, комплимент.

Уля при этих словах вспыхнула, как маков цвет. С чего бы это? Мы переглянулись, взглянули на его хрупкую, еще не оформившуюся в юношу фигуру, стоящую перед нами в длинном, широком, не по возрасту мужском пиджаке и что-то хотели сказать, но не сказали. Вася засмутился и перевел разговор на другую тему. Беседа наша что-то не клеилась. Уля краснела и молчала. Я переводила взгляд то на нее, то на Васю и не могла понять, что происходит. Вася тоже почему-то терялся, потом отпустил какую-то неуместную шутку в чей-то адрес из бывших наших друзей турьинских по школе и, увидев наши осуждающие взгляды, осекся. А затем неожиданно спросил:

— Ну а вы-то что здесь бродите? Как вы тут оказались?

— Мы здесь живем и работаем.

— Работаете? Это кем же?

— Учительницами.

— Учительницами? — ахнул Вася.

— Да, представь себе! — усмехнулись мы и посмотрели на выражение его лица.

Он растерялся и сник. Ему и сначала-то было неудобно за свою бедную одежду, а теперь вообще не знал, как себя вести по отношению к нам.

Мы с Улей были одеты намного приличнее, чем он: в туфельках, в черных шерстяных жакетах. У нее шелковое платье, у меня белое в складку. Жакеты и платья сидели на нас, как влитые. В общем, при нашей очень юной молодости наряд был неплох.

А Вася, наш школьный друг, был одет в мужские обноски. И ему было очень неловко перед нами.

Дождь кончился. Вскоре мы распрощались с Васей и пошли с Улей к реке по мосткам. Уля внезапно расплакалась. Я обалдела.

— Что с тобой? В чем дело?

Из сбивчивого ответа я поняла, что Уля была влюблена в Васю, и это теперь вот вылилось в такую реакцию. Ну я еще ни в кого никогда не была влюблена и пока не понимала, вернее, не могла представить, что это такое. Уля плакала, и мне было ее жаль, но до меня никак не доходило, что это такое — любовь. Мне было в душе смешно: «Это в Ваську-то можно было влюбиться? Смех. Стоит какой-то мужичок с ноготок в пиджаке с длинными рукавами и полами, с широченными плечами, а головка маленькая-маленькая! Ну как можно влюбиться в такое чучело?!» — думала я. А Уля плакала.

— Ну что ты ревешь: Чего ты увидела хорошего в этом пугале огородном? Поставь вас рядом — на кого он похож? — говорила я, с нарочитым злом, чтобы как-то вызвать у нес отвращение к нему, тем самым это даст возможность уменьшить ее страдания по этому отвратительному типу. Так думала я.

А Уля в ответ навзрыд:

— Да-а-а... Он такой умный! Такой смешной!

— Вот именно, смешной! — отрезала я.

— Я не в этом смысле! — запротестовала она. — Вспомни в 9 классе, какой он был юморист, — всхлипывая, оправдывала она его.

Да. в бывшем 9-м классе, действительно, Ваське Сокериу не откажешь в находчивости и умении смешить нас, девчонок. Помню, Тамара Александровна, наша классная руководительница, высокая, стройная, вечно улыбающаяся, с обворожительными ямочками на щеках, как-то на классном собрании в начале года журила ребят:

— А у меня есть сведения, что некоторые наши мальчики, когда работали летом в колхозе на лошадях, то допускали непристойности, которые мне теперь очень неприятно вам сообщать. Язык не поворачивается о них вспоминать.

— А что такого мы, Тамара Александровна, наделали? Говорите, — сказал Миша Канев, сын учительницы деревни Кони. Ему-то, конечно, было не

понятно, что могли творить его друзья, работая на лошадях. Но другие мальчики пригнулись к столу и почему-то примолкли.

Тамара Александровна обвела мальчишек взглядом и вымолвила:

— Тебе, Миша, конечно, не понятно, о чем я говорю, а вот другие мальчики, ругались на лошадей матом. Вот об этом и разговор. Вообще вели себя непристойно.

Вася Сокерин тут же вскинул вверх руку.

— Ты что, Вася? — спросила Тамара Александровна.

— Можно сказать?

— Ну, говори.

Вася приподнялся и, усмехнувшись, произнес:

— Тамара Александровна, Так если на лошадь не ругаться матом, она ведь не повезет!

Все так и покатались со смеху. Не удержалась и Тамара Александровна. Она не одернула нас, как обычно делают классные дамы, а от души расхохоталась и смеялась долго, долго, как и мы. А мы смеялись и любовались ее прекрасным и юным лицом.

Ну вот, а теперь Вася предстал перед нами с Улей в каком-то совсем ином виде: растерянный, стеснительный. И был уже не тот. А Уля все плакала.

Я, чтобы отвлечь ее от плача или хотя бы немного успокоить, стала расспрашивать:

— Ну, погоди, не плачь, расскажи, пожалуйста, как это тебя угораздило в него влюбиться? Когда это произошло? Ведь ты никогда об этом не говорила, и я ничего не подозревала, хотя мы и жили с тобой в Турье вместе.

— А он еще в 8-м классе попросил меня помочь ему с немецким. Я стала с ним после уроков заниматься. Объясняю ему склонение немецких глаголов, а он смотрит на меня, и я вижу, что думает о чем-то о другом, а не о немецком. Я начинаю злиться и говорю: «Ну чего ты? Я объясняю, а ты не слушаешь?» А он улыбается и отвечает:

— Не обижайся, Уляша. Я смотрю, какие у тебя красивые губы!

И опять плач. Вот такие пироги. Что тут попишешь. Я успокаиваю ее опять, как могу, но все напрасно.

Вечером мы отправляемся с ней на вокзал купить мне билет на дорогу. И здесь опять неожиданная встреча с нашей учительницей Валентиной Ивановной Зелениной. Это наша преподавательница математики в том памятном турьинском 9 классе.

Валентина Ивановна такая же высланная, как и мы, то есть из семьи несчастных украинских «кулаков». Теперь едет на родину, на Украину, и прощается с Севером, как и я, навсегда. Муж ее, Петр Иванович Зеленин, который вел у нас литературу в 6 и 7 классах, погиб на фронте. И вот теперь Валентина Ивановна имеет право вернуться на давно покинутую родину. Что ждет ее там теперь, после стольких лет разлуки с родными?

Неизвестно.

Так же неизвестно, как и мне. Мы долго сидим возле вороха ее багажа и беседуем. Вспомнили опять нашу турьинскую среднюю школу, друзей и учителей.

Валентину Ивановну мы всегда любили и уважали. Она вела математику еще в Ветьинской семилетней школе. Была она, как человек, всегда добра и очень красива. Густые, черные, волнистые, блестящие волосы оттеняли белое, с нежным румянцем лицо. Там она познакомилась со своим Петром Ивановичем Зелениным (раньше ее фамилия была Иванова), оттуда он ушел на фронт и вскоре погиб. Недолго длилось счастье Валентины Ивановны — всего два года.

Вспомнили мы и еще одну учительницу — Любовь Александровну. Тоже очень красивую еврейку: соболиные брови, карие глаза, распахнутые. Взгляд прямой, требовательный. Валентина Ивановна поведала нам один секрет, что с Любовью Александровной они не ладили. Что нас несказанно удивило. Та ее ревновала к нам за то, что были ближе к Валентине Ивановне. А мы были ближе к ней потому, что еще в Ветью Валентина Ивановна была нашей классной

руководительницей и вела всевозможные драматические и танцевальные кружки, в которых мы участвовали.

Помню, однажды в 9-м классе мы решили поставить какую-то пьесу, то за советом мы обратились не к Любове Александровне, учительнице литературы, а к Валентине Ивановне, помня ее былую славу драматического кружка.

— Это взорвало Любовь Александровну! — сказала Валентина Ивановна. — Она меня после этого просто изводила. Ходила жаловаться к директору Зинаиде Николаевне: дескать, я подрываю ее авторитет и провоцирую, и так далее. После этого не стала здороваться. Однажды, — продолжает Валентина Ивановна, — как-то стою в учительской одна, раннее утро, читаю журнал или газету, никого нет. Входит Любовь Александровна. Проходит мимо и не здоровается. Я говорю: «Что это вы, Любовь Александровна, не здороваетесь?» А она в ответ: «Это вам надо со мной ПЕРВОЙ здороваться. А не мне». «Почему? Ведь вошли вы!» А она, подняв надменно брови, ответствовала:

— Потому, что мой муж офицер, а ваш — солдат!

— Так это мужья, уважаемая Любовь Александровна! А я вам не солдат!
— ответила Валентина Ивановна.

Мы с Улей просто были в шоке после такого открытия. Мы так же безмерно любили Любовь Александровну и не помышляли о том, что у нее столько высокомерия.

— Это еще что! — продолжала Валентина Ивановна. — Помнишь, Люся, летом после 9 класса, на каникулах, вы с Надей Малышко и мы с этой Любовью Александровной гребли сено на лугу в Турье? — обратилась она ко мне.

— Помню.

— Ну так вот, приезжает к нам однажды председатель колхоза Волков — это ты тоже, наверное, помнишь.

— Да. Конечно.

— Так вот, он зашел к нам в шалаш, где мы с ней обитали. Мы решили

угостить его чаем. Вскипятили воду, достали несколько кусочков сахара и порезали оставшийся от панки хлеба несколько ломтиков. Когда он после чая ушел, то Любовь Александровна, убирая с газеты остатки хлеба, сказала: «Здесь остались ТОЛЬКО МОИ КУСОЧКИ ХЛЕБА. А ВАШИ ОН СЪЕЛ. Я заметила. И я их беру».

Таким образом она меня оставила весь следующий день без хлеба.

Было поздно, мы распрощались с Валентиной Ивановной, как очень близкие люди: обнялись, поцеловались, расплакались. Я оставила Валентине Ивановне на память футляр от очков. В то время и это был подарок. Она была рада.

— Как раз, — говорит, — кстати, очки у меня есть, а футляра нет.

Мы еще раз, ученицы и учительница, взглянули друг другу в глаза и поняли, что уже и этом мире не увидимся никогда. Расстаемся очень юными, молодыми, еще вся жизнь впереди, нам только по 18 лет, и учительница наша молодая, не больше 35, а понимаем, что это последняя встреча в этом мире. Другой не будет никогда!

Где конкретно будет Валентина Ивановна, она и сама не знала. Не знали и мы, куда забросит нас с Улей судьба и что нас ожидает в это трудное послевоенное время. Так я, как и Валентина Ивановна, рассталась с ненавистным мне, проклятым Севером.

ГЛАВА 59.

ПУТЬ К РОДИНЕ

Стучат колеса. Брезжит рассвет. Я еду. За окном все та же тайга. Скоро будет Киров.

В Кирове на вокзале я оказалась по соседству с молодой семьей: муж, жена и грудной ребенок (девочка). Муж идет за билетами. Взял и мои документы: паспорт, курортную книжку. Жена его идет за молоком для девочки на

привокзальный базар. А я осталась с малюткой.

Так и приютили они меня к себе за все время дороги до Москвы: они мне помогают, я им.

А до Москвы ехали долго. В Кирове не могли сразу купить билеты на Москву. Народ после войны валил во все стороны. Вся страна была на колесах. И нам посоветовали ехать в начале на Горький, а оттуда-де, мол, способнее сесть на Москву. Взяли билет на Горький. Доехали в товарном вагоне, в котором никаких полок не было, а были расставлены скамейки, как в клубе в те времена. Так и ехали на скамейках.

В Горьком наш дядечка кое-как выбил билеты на Москву на настоящий пассажирский поезд. Но что это была за посадка! Ужас!

Кондуктора просто смяли, и все лезли с чемоданами, мешками: и в двери, и в окна, и на крыши. Поезд превратился в убитую гусеницу, которую всю облепили, как муравьи, люди. Даже вагона не видать было, когда лезли в них и на них люди.

Если бы не наш молодой дядечка, во век не сесть бы нам в поезд с тетечкой и маленькой девочкой. Дядечка влез в окно и потом мы ему подали вещи и дитя. А затем через окно он втащил и нас с тетечкой. Ну, слава Аллаху! Кажется, едем! Едем в нашу белокаменную столицу. Вагон набит битком и не повернутся, ни дыхнуть. Пока доехали — замучились

Вот и Москва! Какая Москва? Неуютная, неприветливая. Одни только несметные толпы народа. Снуют туда-сюда. Больше из-за них ничего не вижу.

Расстаюсь с хорошей семьей, с которой подружилась за дорогу. Здесь наши пути расходятся. Им на Украину, мне на Дон. Перехожу на другой вокзал. Дядечка, пожилой носильщик, переносит наши чемоданы: мой и еще одной девушки, перевязав их полотенцем и перекинув туда-сюда через плечо, за две десятки доставил их на нужный нам вокзал.

Входим в зал — негде приткнуться. А усталость смертельная. Замечаю в одной точке, но полу, небольшое пространство, как раз положить чемодан.

Пробираюсь в эту точку, кладу плашмя чемодан и, оглянувшись по сторонам, брякаюсь на него. Принимаю лежачую позу. Так как кругом на полу все так расположились Ну, и мне нечего стесняться: собираюсь и комочек, подбираю ноги, и как раз умещаюсь на своем чемодане. Вот тебе и плацкарт! И спи себе на здоровье до следующего дня — твой поезд не уйдет, и чемодан из-под тебя не выдернут. И я расслабилась, и сразу задремала. В голову на ум пришла только одна мысль: «Вот и в Москву прибыла впервые. А увидеть хорошего ничего не пришлось». В памяти

Остались толпы людей да маленькие послевоенные обшарпанные киоски, где продавались только шнурки от ботинок, хотя самих ботинок днем с огнем не сыскать, да неизвестной расцветки галстуки, хотя костюмов и рубашек тоже не видать. Продавались только никому не нужная мелочь: пояски, ремни, пуговицы. И прочая чепуха. И я подумала, зачем же человеку шнурки и галстуки, если нет ботинок и костюмов с рубашками? И представив человека без одежды, но в галстук и с подвязанными шнурками на ногах, — я долго лежа тихо смеялась.

Вот чем удивила меня Москва!

На другой день я никуда не ходила. Поела, что было у меня в чемодане, и вышла только к поезду. Билет уже у меня был. Наш дядечка закомпостирировал еще в дороге в поезде, по льготе. У меня была курортная книжка.

И вот еду на далекую родину. В ночь. Утром проснулась — сразу к окну. Боже мой! Степь неоглядная. И деревни, и села, и города, как оазисы в пустыне. Сильная засуха и неурожай? Ни травинки, ни былинки. Степь коричневая или буро-черная. Кругом одна пыль. Почему-то я не могла ее представить такой неуютной, голой.

На Севере — хоть поле, хоть луг после уборки урожая или покоса трав, зарастают сочной, жирной травой. Я думала, что и здесь так же. А тут, оказывается, голая коричневая земля, и нет нигде ни травинки. Некрасиво и неуютно.

В небе, не мигая, палит горячее южное солнце. Душно. Жарко. У меня уже

к одиннадцати часам сильно разболелась голова. Меня тошнит от жары, а затем и рвет. Я просто изнемогаю от духоты. Мне так плохо, что я уж подумываю: не помираю ли я? Обессиленная, я ложусь на полку, благо что нижняя: на верхотуре я бы совсем пропала. Есть ничего не хочется. А за окном уже город Грязи. И торговки на остановках наперебой предлагают свой товар: овощи и фрукты. Денег мало. И мне плохо. Но ради интереса покупаю огромную грушу. Хозяйка сказала:

— Ешь, дочка, груша медовая.

Действительно, сладкая, как мед. Съедаю половину, но затошнило опять, и все вырвало.

Так измучившись вконец, еле живая я прибываю на станцию Филоново поздно вечером. Вокзал совершенно разбит. Спускаюсь в подвал, там в настоящее время ютятся пассажиры. Надо отдохнуть ночь, а утром пойду на поиски родственников.

Телеграммы никому не давала. О моем приезде никто не знает. Да и то сказать — послевоенное время, кто меня тут знает и ждет? Не министр ведь просвещения едет, а какая-то Люся Минаева, девочка, о существовании которой всего-то только и знает одна сестра. Другие даже забыли, сколько у мамы было детей, когда ее выселяли с нами.

Лежу в подвале и слышу: на улице поют казачьи песни. Что это? Оказывается, дает концерт заезжий ансамбль. После войны их развелось масса, этих ансамблей и заезжих артистов. Некоторые были действительно артистами, а иные, мотавшиеся по провинциям в погоне за большими деньгами, были просто халтурщиками. Но все сходило с рук. Приедет дядя с тетей, даст халтуру, так как деньги, как правило, берутся вперед за билет, то после хоть ругай его на чем свет стоит, хоть проклинай — бесполезно: дядя с тетей набили карман и укатили дальше.

Утром сдала чемодан в камеру хранения, оделась по-летнему в одно красное платье «в горошек», в сандалиях на босу ногу и отправилась вдоль по

станции на самый ее конец, там переулок Розы Люксембург, где живет моя крестная Анна Михайловна Королиха (Королева) на квартире у Пегановых.

Иду. И смотрю впервые на свою незнакомую тихую Родину. Дрогнуло ли мое сердце? Нет. Не дрогнуло. Почему? И сама не знаю. Наверное, потому, что почти ее не помню. И еще потому, что выгнали нас с этой родины самым бессовестным образом. А потому, видно, какую-то долю вины кладу и на нее, что не защитила тогда нас, не вырвала из рук палачей.

Смотрю на сады, необыкновенные дома, совсем не такие, как на Севере. А сердце не болит. Просто смотрю, как на что-то чужое, незнакомое. Дома одноэтажные, белые, оштукатуренные и снаружи и беленные. На Севере дома не беленные и не оштукатуренные, у коми — черные, как вороны.

Вот и нужный переулок, вот и дом.

Захожу в подворье. Меня встречает во дворе женщина лет 35-ти. Одета в белую блузку и черную узкую юбку. Кто такая? Крестная? Нет, наверное. Женщина смотрит на меня с удивлением.

Я спрашиваю:

— Здесь живет Анна Михайловна Сытилина (имеется в виду по мужу)?

— Нет, — отвечает она. — А вы кто будете? Что-то я вас не знаю.

Я отвечаю, кто я и откуда прибыла. Женщина еще больше удивляется и разглядывает меня с интересом, а что разглядывать-то? Девчужке на вид лет пятнадцать - шестнадцать.

Раз здесь не живет моя крестная, мне совершенно безразлично, как на меня смотрят. Я повернулась и собралась уходить.

— Пойдите, — остановила меня незнакомка. — Я провожу вас до нового места жительства вашей крестной. Я знаю, где она теперь живет.

Оказывается, крестная жила у них во время войны на квартире. Но вот война кончилась, и отец Макар (мой крестный) вернулся с фронта. И они построили свой маленький домик у реки Бузулук. Теперь демобилизовался и сын Петр Макарович и прибыл до дому. Мать несказанно рада. Еще бы! И сын, и муж

вернулись живы и относительно здоровы. Руки, ноги целы, голова тоже. Чего же еще надо матери? Полное счастье. Не то, что выпало на долю нашей маме: четверо девочек умерло маленькими, на фронте погиб милый сынок Ваня, не видевший в жизни ни минуты счастья. И у нашей мамы от девяти детей осталось всего четверо, и те попали в ссылку ни за что. И отца посадили. И она там в ссылке уже полтора десятка лет. И конца не видно, чем все это закончится.

Так шла я по дороге к дому крестной и размышляла про себя о горькой нашей судьбине. Мы идем теперь уже вдвоем по той же улице, только в обратном направлении.

Мария Никитична — так зовут мою новую знакомую — учительница, внимательно вглядывается в мое лицо и все спрашивает, спрашивает про наше северное житье.

Я отвечаю как-то однозначно. Неохотно, да и кому, какому человеку будет весело рассказывать про трудное, постылое наше житье-бытье там, на далеком севере? На нашей проклятой выселке, которую устроили для наших родителей и нас, младенцев, палачи? Эта умная женщина начинает понимать мое состояние и вскоре прекращает расспросы.

Мы идем дальше молча. Она изредка вглядывается в меня. Ее удивляет и то, что я почти безразлично отношусь к окружающей меня родине, ей кажется, что человек в такой ситуации должен вести себя как-то иначе. Ну если не восхищаться, то смотреть на окружающее, по крайней мере как-то с интересом. А я ни на что не реагирую.

Переулок Интернациональный. Здесь пошли новые, только что выстроенные домишки. Именно домишки, иначе не назовешь. Послевоенные — в одну или две комнатки.

Такой оказался и у Сытилиных. Приземистый домик с двумя маленькими комнатками и совсем крошечным чуланчиком впустил нас к себе в подворье. Открываем дверь в первую комнатку. Мария Никитична нагибается, проходя в дверь и нарочито громко спрашивает:

— Можно, что ли, войти?

Из-за стола, за которым сидят два дюжих мужичка, встает маленькая полная женщина в белом платочке, повязанном по-бабьи, в белой блузе и темном со сборочками юбке. Она внимательно смотрит своими удивительно голубыми глазами на меня и отвечает Марии Никитичне:

— Милости просим.

Мария Никитична притворно сочиняет:

— Вот хожу здесь со знакомой, ребятишек переписываем к школе. Дай, думаю, зайду к знакомым, водички попить.

Михайловна подает ей кружку с водой, уже теперь не обращая внимания на меня

Мария Никитична пьет и исподлобья с интересом наблюдает за сценой. Мужички обедают. Но уже потеряли интерес к происходящему. Ну, раз человек зашел мимоходом значит, ничего интересного. А Мария Никитина, посмотрев на них из-за кружки, помолчав, отдает ее потом Михайловне и так тихо говорит:

— Ну, что же вы родню не признаете?

— Какую родню? — удивилась крестная.

— А вот узнайте, кого вам я привела.

Крестная вскинула на меня свои васильковые глаза и качает головой:

— Никак не угадаю.

Тут мужчины бросили обедать и посмотрели на меня.

— Да это Люся! — воскликнул отец Макар.

Вот ведь. Узнал меня.

Я осталась у своих крестных. Они накормили меня отменными казачьими щами и моченым терном..

Мама Королиха повела меня после обеда в свой сад. В саду вижу какую-то необыкновенную ягоду, которая конским хвостом свисает с ветвей.

Я спрашиваю у крестной:

— Мама, это виноград?

— Что ты, дочка, это терн. Ешь, — смеется она.

Попробовала. Вкуснятина. Кисло-сладкое. Ела от пуза. Яблоки, груши — теперь воочию увидела, как они растут на деревьях.

На завтра приехала за мной сестра Дуся на телеге из Борисов. Ей 35 лет уже, на руках маленькая белоголовая дочку. Зовут тоже, как и меня, Люсей, которой всего полгода. Значит, моя племянница! Вот чудо! Я уже тетя!

Едем в Борисы, на свою улицу Тубочную.

Но вот и свернули на нее, родимую... Тубочная! Тубочная! Какая же ты улица? Если вместо сорока дворов на тебе всего теперь стоит только четыре двора? Где же тот заветный коммунизм, который так усердно строили Сталин и Арсенич?

Кругом запустение и нищета! И эти несчастные четыре двора так выросли в землю, что окошки уперлись в пыль, а соломенные крыши нахлобучились и все прогнили. Страшно смотреть на такие «дворцы» сталинских пятилеток.

А озеро! Некогда красивое озеро — гордость Тубочки — теперь превратилось в грязное болото, заросшее камышом. О белом песочке уже позабыли — дно стало черное, как сажа, от ила. Вода мутная, грязная. Улица утонула в пыли. Некогда шумная, теперь не видать на ней ни одного человека. Как будто она вымерла. Да и сколько тут людей в четырех домах? Горе!

Вот такой неуютной и нищей предстала моя родная улица перед моими очами... Моя малая Родина. Оказывается, не только я, несчастная, встречаю тебя, и ты стала такой же сиротой, как и мы на далекой выселке. Никому ты стала не нужна. Разбежались все строители коммунизма, как крысы с тонущего корабля.

Да нет. Вон он, главный строитель коммунизма, лодырь Арсенич, вылезает у околицы из землянки, как суслик из норы. Вот и все, что осталось от его коллективизации и коммунизма. Все кулацкие подворья жег на дрова, думал богатства кулачьего хватит на всю жизнь, ан, все прожег и просрал, и пришлось вырыть землянку. Вылез грязный, как бродячий пес, в оборванной шинели, во вшивой рубахе и зачуханных штанах.

Дуся смеялась и показывала на него пальцем:

— Вон, полюбуйся на нашего кровопийца! Сколько крови людской не пил, а так бродячим псом и остался великий организатор колхозов. Все разгромил. Все разграбил. И сам подыхает с голоду.

Бедная моя родная улица. Сколько тебя ни косить! Германская война, революция, гражданская, коллективизация, раскулачивание, репрессии, Великая Отечественная война.

Говори, всех почти последних мужиков унесла. Да что там, домов сосем не осталось, хотя сюда война и не доходила. Такие доконали ее, как Арсенич.

Где же ты обещанная свободная вольная колхозная жизнь?

Такой меня встретила РОДИНА.

И радости, как и в прежние годы выселки при встрече с ней никакой не было: только печаль и недоумение стояли у меня в глазах.

Вечером приехал зять Федор Артемович с работы. Поставил телегу с конем во дворе. Собственно двора, как такового, не было. Стоял дом. Слева от дома — сарай, рядом с сараем - погреб. Вот и все. Никакой изгороди, обозначающего двор, не было. Вот и все, что осталось от нашего некогда обширного подворья.

Родительский дом постарел. Сестра с зятем занимали одну комнату с коридором. Вторую - горницу с малой комнатой — занимал его брат Петр с женой, злой красно-конопатою Красулей. Так именовали ее хуторяне, особенно бабы. Она работала на колхозной молочной ферме.

На ночлег я устроилась на сене на телеге. Хорошо! Пахнет ароматом трав к ночи. Воздух стал не жарким, а прохладным, вкусным. Дышалось на воле легко.

Светились слепые огоньки хат и слышался отдаленный лай собак. Я заснула сном умиротворенного младенца: все тревоги дорог позади. Теперь будь что будет. Утром меня разбудил племянник Женя:

Тетя Люся, вставай пить парное молоко. Я поднялась. Передо мной стоял десятилетний мальчуган, смотрел на меня немигающими зелеными большими глазами и тянул за руку. Пришлось подчиниться.

ЭПИЛОГ

И вот я уже работаю здесь в школе, на юге.

Январь 1947 года.

Совхоз «АМО» Новоанинского района, семилетняя школа. Веду математику. Директор пожилой человек, Исаев Георгий Осипович, относится ко мне по-отцовски: поместил меня квартиру к техничке школы Наташе Переваловой, которой всего-то только 29 лет, а уже вдова, муж погиб на фронте. У нее две девочки: Нине 11 лет, Вале — 7. Старик знал, что делал. Наташа берет в школе угля, сколько нам нужно, и топит как школьные, так и домашнюю нашу печь. У нас всегда тепло. И это не моя забота. Предмет у меня трудный, часов много математики, вот старик-директор и освободил меня от лишних домашних работ.

С Наташей мы живем дружно. Никогда слова грубого друг другу не сказали. Любят меня и ее девочки. Нине я помогаю в учебе, когда это потребуется.

Голодуем вместе. Карточки еще не отменили, сидим на пайках. Иногда ко мне приезжает на поезде до Панфилово и идет 3 километра до совхоза пешком мама Королиха. Привозит мне продукты: хлеб, крупу какую-нибудь или вермишель. Для меня это большая помощь. Но потом опять приходится голодать.

Пришла весна, и девочки Наташи отправились в поле выливать сусликов. Дело это добычное. Шкурки сдают, а из мяса делают жаркое. На таких больших сковородках жарят суслиные окорочка в их жире, что пальчики оближешь. Вначале я не могла притронуться к такой еде, но Наташа меня убедила:

- Людмила Николаевна, Присаживайтесь, угощение отменное. Чего вы боитесь? Ведь суслики едят только хлеб и ничего более. И мясо у них настоящее куриное. Ведь курочки же клюют зернышки, а мы ведь их раньше едали. Попробуйте.

И протягивает мне самую лучшую лапочку. Скрепя сердце (ведь есть хочется!) попробовала. И о, удивление! Лапочка настолько была вкусна, что я ее

с удовольствием съела.

Так мы коротали дни в нашем бедном послевоенном совхозе.

Прошел год. Как не голодала, но за год купила себе новое осеннее пальто, туфли синие, модные, шелковое платье и отрез на два костюма, материала на два сарафана.

Пришел март 1948 года. И вдруг однажды утром открывается дверь и в комнату... вваливаются моя сестра Аня и мама с чемоданами.

Что это? Сон? Нет, я проснулась и ясно вижу их перед собой.

Оказывается, они решили приехать ко мне неожиданно — преподнести вот такой сюрприз. Наконец-то и они расстались с проклятым ненавистным Севером.

Все хорошо. Но надо идти в школу к директору и к совхозному директору насчет жилья.

Отправилась в школу. Зашла к Георгию Осиповичу. Выложила все как есть. Что прибыли ко мне мамам и сестра.

— Откуда? — спросил директор.

— С выселки, — откровенно ответила я и рассказала основные события нашей жизни.

Георгий Осипович не высказал никакого удивления, напротив, успокоил меня.

— Не расстраивайся, Людмила Николаевна. Здесь в совхозе почти все такие же, как ваша семья. И не чувствуйте себя какой-то ущемленной или обделенной судьбой. Будьте, как все нормальные люди.

Я на всю жизнь благодарна ему за эти слова.

— Сейчас мы пойдем к директору совхоза Яворскому насчет жилья. Думаю, что все будет в порядке. Он — человек весьма положительный и поймет нас.

И мы отправились. Действительно, комнату мне немедленно выделили недалеко от школы, и Георгий Осипович Исаев обеспечил нас топливом: углем и дровами.

Хлебные карточки были уже отменены. И мама каждое утро ходила в магазин, где учителям (и их родителям) продавали хлеб по 2 кг на день без очереди. Вот какое было уважение к работникам просвещения в те далекие нелегкие времена.

И мы зажили люли-малина...

Два килограмма хлеба нам вполне хватало на троих на день. Покупали еще картошку и молоко. А потом нам совхоз выделил участки земли. Мы на них посадили кукурузу, подсолнечник, тыкву и немного картофеля.

К осени все это хорошо уродилось, и жизнь пошла значительно легче.

Аня поступила на работу в санэпидстанцию инспектором в Панфилово. Две зарплаты стали с ней получать. Кое-что откладывать и покупать. Так за два года мы приобрели с Аней и кровати с постельными принадлежностями, сшили по костюму, купили по несколько платьев и швейную машинку.

Маме очень нравились соседские женщины: Михеевна, Алексеевна, которые были почти ее возраста, и особенно Лидия Павловна Мордвинцева — учительница начальных классов. Она часто приходила к нам в гости (комнаты наши были рядом), постоянно рассказывала что-либо смешное. Золотой человек. Ни в каких жизненных ситуациях не теряла чувства юмора.

Как-то совхоз выделил нам по возу соломы на все учительские семьи. Так вот, мы втроем: Аня, я и Лидия Павловна, ездили на быках за этой соломой на арбе. Всю дорогу, весь день Лидия Павловна нас забавляла во время работы, рассказывала анекдоты, пела веселые песни и даже сплясала, когда мы наложили воз соломы. Незаметно и день прошел. И, кажется, мы и не устали. Домой ехал с песнями. Радовались, что зимой теперь не замерзнем. Школа еще выделила каждой учительской семье по 300 кизяков. А совхоз дал бесплатно каждому учителю по 40 килограммов зерна пшеницы. Так что вступаем в зиму и с хлебом, и с топливом.

Ну и зажили мы с этих пор нормально.

До этой зимы Лидия Павловна Мордвинцева мерзла однажды целую зиму.

Были недели, когда комната не топилась. Ох, и горько ей было с дочкой Мартой. Я в то время жила еще с Наташей и холода не знала.

Как-то в апреле 1948 года, когда мы поселились уже втроем с мамой и Аней в новую комнату барака, который стоял прямо у школы, я взяла пустое ведро и пошла в колодец за водой. Колодец был в десятках метров от барака и школы. Достая ведро воды из колодца, ставлю его на площадку, вдруг меня кто-то окликает. Оглядываюсь, позади, на дороге, стоит наш учитель литературы Владимир Семенович Спиваков и говорит:

— А я Вам новость, Людмила Николаевна, привез. Вас разыскивают...

У меня сердце так и оторвалось.

- Как разыскивают? Разве я потерялась?

- Да вот в районо пришло письмо из Москвы от какого-то мужчины, и он Вас разыскивает и просит прислать ваш адрес.

Я опять обомлела. Думаю: «Из Москвы? Но в Москве я абсолютно никого не знаю, тем более из мужчин, и подруг там нет, и родственников».

— Ну так вот, — продолжал Спиваков, — просили передать вам это из районо. я сейчас оттуда и, по возможности, явитесь в районо. Вам там вручат это письмо.

Ну и дела! У меня ноги подкосились. Еле домой добрела и всю ночь не спала, ничего хорошего я в этом не видела. Переселенцы мы, ведь высланные были, мало ли что с нами еще могут сделать. Вот какие-то розыски... Кому и зачем я понадобилась? Мама и Аня всю ночь тоже не спали и были в тревоге.

Сюрприз недолго заставил себя ждать. Вскоре через несколько этих беспокойных, тревожных дней я отправилась на семинар в район и зашла в районо. Действительно, мне вручили там письмо. Оно было из Москвы от какого-то Сычева. Он просил районо сообщить ему, где я работаю и мой домашний адрес.

Ноги у меня опять подкосились. И я уехала домой в растерянных чувствах. Поделилась горем с мамой и Аней, они только пожимали плечами и переживали

за меня.

Со злости я села и тут же настрочила всего несколько строк незнакомцу: «Я Вас совершенно не знаю (хотела добавить «и знать не хочу», но удержалась), и Вы меня не знаете. Так зачем Вы требуете сообщить, где я работаю и мой домашний адрес?» (еще хотела тут приписать «Какая наглость!», но чувство страха перед неизвестностью удержало меня от этого шага.) Добавила только: «Вы кто такой? Что Вам от меня надо?»

Запечатала письмо. Написала адрес и отправила. С замиранием сердца жду ответ.

И вот получаю новое письмо в красивом конверте, адрес написан отличным почерком. Распечатываю. Небольшой листок. А в нем написано: «Здравствуй, Люда! Это письмо пишет тебе Федор Долгачев. Тот самый Федя, который был вашим соседом. И в детстве мы с тобой нередко играли вместе в нашем доме. И ты иногда обижалась на меня, собирала свои лоскутки и куклы и уходила домой. Но настолько была мала, что не могла сама открыть дверь и просила меня помочь. Я отпускал тебя с сожалением.

Потом судьба нас разлучила. Но все время я лелеял мечту, что если я останусь жив после войны, то обязательно тебя отыщу.

Я раньше писал несколько писем твоей сестре Дусе, но ответа не получил.

И вот теперь у меня такая радость. Я получил твой адрес. Ты не обижайся, что первое письмо я по некоторым причинам попросил написать товарища. При встрече я объясню.

Напиши мне, Люсенька, ответ. Я жду его с нетерпением. Опиши свою жизнь, что и как...

До свидания — Федя».

Это было его первое письмо. Ну, естественно, я написала ответ. И немного о нашей жизни на родине.

С этого момента переписка наша не прекращалась.

Я совершенно не помнила и не представляла Федю. Спросила у мамы и у

крестной, они тоже хорошо не помнили, так как детей тогда у всех хуторян было много. И кто был кто, в те времена, они тоже представить не могли.

Только тогда, когда мы обменялись фотографиями, стало немного ясно, кого мы видим друг в друге. На фотографии стояли два парня, но я сразу указала на Федю и сказала: «Это он». Второй парень был моложе, и было видно, что он еще новичок в армии. А Федя уже, как говорят, тертый калач, прошел войну и другие армейские невзгоды. На фотографии стоял подтянутый, в офицерской шинели, стройный, очень красивый парень с умными, пронизательными глазами и серьезным взглядом. Второй — оказался его братом Петром, которого он забрал к себе служить добровольцем еще в 1946 году. Теперь он настоящий солдат, но пока еще молодой.

Переписка наша продолжалась. Так прошел год.

Апрель 1949 года. Я после школы поехала в поле в бригады земледельцев-колхозников с другими учительницами на полевые станы. Там мы выпускали боевые листки и проводили беседы 2-3 раза в неделю. Приезжали домой поздно, в непроглядную темень, уставшими, голодными, запыленными.

Прихожу домой, а дома гость — Феденька! Демобилизовался и приехал на родину. И вот в гостях у нас. Точь-в-точь, как на фотографии. Беседует с мамой, Аней и Шурой Макаровой (моя подружка-учительница начальных классов).

Александра Степановна мастерица рассказывать смешные истории, вот и развлекает Феденьку в мое отсутствие.

Ну а я кинулась к Лидии Павловне Мордвинцевой умыться и переодеться — с дороги вся в пыли.

Феденька прибыл со станции Филоново на велосипеде. Проехал 25 км до Панфилово и еще 3 км до совхоза. Около знакомого нам колодца повстречал Кузнецова Михаила Степановича — учителя истории. Тот провел его до нашей «хаты», указав на наше окно.

Но когда Феденька вступил в коридор, то увидел: навстречу ему, улыбаясь, шла наша мама, которую он сразу узнал.

— Здравствуй, мама! — сказал Федя (она ему доводилась крестной).

— Здравствуй, Федя! — ответила мама. — Проходи к нам.

И повела его в комнату. Так мой ненаглядный Феденька, которого я полюбила с первого взгляда (а может еще в детстве) оказался в родном краю и со мной.

Я поняла, расстаться с ним мне будет невозможно. Это сверх моих сил. Такого красивого, умного, ласкового парня я еще не встречала в жизни. Судьба моя была решена!

Федик приезжал на велосипеде каждое воскресенье ко мне в гости, и мы гуляли с ним по окрестностям совхоза, по паркам, ходили к пруду. По утрам Феденька ловил там даже рыбку небольшой сеткой и удочкой.

Счастью моему не было конца.

Через год мы с ним поженились и уехали работать в хутор Деминский Новоаннинского района Волгоградской области. Забрали с собой и маму. Здесь, в х. Деминском, за четыре года мы окончили с ним заочно: я — педагогический институт, а Феденька — Новоаннинскую среднюю школу. Потом он поступил в Балашовское специальное заведение, которое и окончил.

После этого мы решили построить себе дом в Новоаннинске.

Федю в 1955 году избрали председателем поселкового, а затем городского Новоаннинского Совета.

К этому времени дом Феденька уже построил, и мы переехали на новое местожительство.

Меня перевели инспектором районо. Мы были рады новой перемене в жизни, а мама — особенно. Здесь было много родных: Николаевых, Сытилиных, Кузнецовых и других.

Феденька мой поправился. Стал солидным мужчиной. Я, наоборот, что-то стал ерундить желудок, и я похудела. А потом стал мучить аппендицит, и пришлось делать операцию. После нее я пошла на поправку.

Все было у нас отлично.

Были и у нас иногда размолвки, у кого они не бывают?! всегда шли навстречу друг другу, и тот, кто был виноват, всегда просил у другого прощения. И решили: будем жить той жизнью, которая нам дана судьбой, и не надо ссориться. Размолвки наши прекратились.

В 1962 году мы переехали в Сталинград, и жизнь наша опять встала на новую колею. С этого момента мы никогда не ссорились. Все спорные вопросы разбирали мирным путем, и всегда шли на уступки друг другу.

Федя занимал здесь высокие посты, а так как он был интересным мужчиной, то немало женщин имело на него виды. Но мой ангел отделялся от них такой шуткой: «Хороши вы, девочки, но моя жена и теща лучшие женщины во всей Европе, а возможно даже во вселенной».

Дамочки смущались, им становилось неловко за свою назойливость, и они уходили с чужой дороги, по которой в мечтах желали бы шествовать рука об руку с моим Федором Ивановичем. Таких было очень много, но мой Феденька тактичными приемами легко от них отделялся и следовал своим путем, без этой назойливой артели. Каждая думала, а вдруг он обратит внимание, ей казалось, что она лучше всех, но их, таких «хороших», было очень много, и мой Федор Иванович не собирался солить их, как огурцы в бочках. Пусть идут своей дорогой и ищут свою судьбу в другом месте, у него и без них дел по горло.

А дома его ждет всегда любимая Мила, «дорогой мой Антошка», как иногда называл он меня. И он торопился домой.

При возможности всегда в обед звонил домой или мне на работу и говорил: «Мила, у тебя есть что-либо дома положить на зуб?» Я всегда отвечала: «Ну, конечно, найдем что-нибудь!» Он радостно заключал: «Ну, тогда жди меня, сейчас буду». Однажды я его предупредила: «Буду сегодня белить квартиру. Обедать приготовить не успею. Так что, сходи там в столовую». Смотрю, а он в два часа приехал обедать.

Я говорю:

— Я же, Феденька, тебя просила. Я белю. Когда же готовить обед?

— Не обижайся, Мила, все равно чего-нибудь найдем покушать, а я уже соскучился по тебе, вот и приехал.

Действительно, пообедать мы нашли кое-что и долго шутили и смеялись.

Стали давать путевки в санатории и Дома отдыха. И если из нас кто уезжал, то мы писали друг другу письма, которых, мне кажется, никто никогда никому не писал.

«Здравствуй, мой любимый Феденька!

Мой родной, сегодня я получила от тебя первое письмо. Как я рада. Спасибо, мой зайнышка.

Читали мы с мамкой и порадовались, что все у тебя сейчас нормально.

Мама передает тебе большой привет и говорит— пусть лечится и о нас не беспокоится.

Мы тебяждемся, и у нас все хорошо.

Феденька, любовь ты моя единственная, спасибо тебе за ласковое письмо и за все хорошее! Я по тебе соскучилась, и слов нет! Но терпеть надо, так как тебе необходимо хорошо полечиться. Поэтому не забывай меня и лечись, а я тебя с мамой буду ждать, и делать тут домашние дела. А дел тут уйма. Их делаешь, а они опять откуда-то берутся Вот прошла всего неделя, а мы с мамкой сколько дел переделали! И еще сколько надо делать.

В течении недели убрали все с балкона: и картошку в ванную перенесли, банки и арбузы. Потом я ходила в гараж и заткнула отдушины. Вечером вязала кофту.

В выходные — в воскресенье заклеила окно в кухне и повесила одеяло на двери балкона, вымыла полы. А сегодня, в понедельник, 5-го ноября стирала постельные принадлежности. Целый ворох простыней, пододеяльников и наволочек.

А потом в следующую неделю все платья, костюмы, вязанки надо перестирать. Вот такие дела.

А вечером села опять писать тебе письмо. Хоть отдохнуть немного. К

твоему приезду свяжу себе вязанку. Уже полку связала, вяжу спинку. Вот за праздники немного работа продвинется.

Феденька, ты там не мерзнешь? Одевайся теплее. Особенно после процедур.

Ну, как у тебя дела подвигаются? Как лечение? Помогает? Как ты себя чувствуешь? А чем вас кормят? А что есть на базаре съестного?

Феденька, напиши, где этот «Каштан» помещается, там, где тот санаторий, что ты был в мужском «Весна» что-ли. или дальше?

Феденька, как спина, не болит? И рука? Пиши все.

Феденька, будет время, сходи посмотри, есть ли там те босоножки, такие, как у меня, если есть, то купи.

Будем живы, когда-нибудь еще с тобой вдвоем съездим летом в Трускавец, полечимся. Хочется мне посмотреть, его Трускавец еще раз, и сходить в керамический магазин посмотреть на их красивую керамику. Хоть нам уже ничего не надо. А посмотреть интересно. Федя, будет время, для интереса сходи посмотри — все также они выпускают такие красивые керамические сервизики или уже нет?

Конечно, если будет время. А так это не обязательно. Смотри, ничего не бери, тебе везти тяжелое нельзя. Да и нам не нужно. Просто так, посмотри.

Феденька, бери заранее билет на обратный путь. Как, тебе денег хватит? Если надо, пиши, вышлю.

Ну, на этом, мой родной, кончаю писать. Целую тебя крепко, крепко, своего любимого олененочка. Лечись и поправляйся. А я тебя жду. Будь здоров и счастлив. И бодрого, хорошего тебе настроения и радости!

До свидания, мой родной Феденька!

Целую тебя еще раз.

Твоя Люда и наша мама.

5. 11.79».

«Здравствуй, моя радость!

Получил твое второе письмо, которое ты писала 9. 11., а я получил 13. 11.

— это авиапочтой. Спасибо тебе, что описала все о себе. Я рад, потому что вы живы и здоровы. Хотя ты пишешь, что немного приболела. Ты уж меньше ходи по слякоти, больше отдыхай, помни, как тот матрос сказал: «Еще человечество не знает случая, что б люди умирали ото сна». Вот я, как хорошо посплю, так думаю еще прожить по меньшей мере 50 лет. Во! Только вот вчера думал: не доживу до этого. В течение почти четырех дней я «родил» камень. Но все-таки я его выгнал. Такой треугольник вышел, сразу стало легче. Да вот немного гриппую. Вообще-то здесь большинство сопит. Погода меняется в течение дня несколько раз: то дождь, то ветер, то солнце и потом снег. Но как бы не было — лечение хорошее. Все идет хорошо.

Врач молодая, но внимательная и старается помочь. Их тут, старых, почти всех поразогнали, а молодежь набрали из институтов. Вот поэтому они и активные.

Миленок, как вы-то там живете? Ты, наверное, на это письмо ответ напиши и больше уж не пиши, ибо, как ты мне по телефону сказала, послала 4 письма, а я получил только два. Билет я взял на 23. 11. 79.

Далеко никуда не хожу. То слякоть, то дождь. Играем в карты и смотрим телек.

Вот. кажется, все.

До свидания, моя Оленушка, сестренушка, целую тебя, родненка своего.

Твой Феденька.

P. S. Не забывай своего дедульку!..

Жду, когда доберусь до своего дома — это, наверное, главное, что осталось в жизни нашей.

Федя»

Для примера привожу два письма в подлиннике.

В дальнейшем я мечтаю собрать сборник наших писем. Они у меня хранятся.

Потом мы стали ездить на курорты вместе: Федя по путевке, а я — на

квартире. Таким образом, мы в один только Трускавец съездили вместе пять раз. А всего мы были на курортах и санаториях: Федя — 12 раз, а я 11.

А когда купили машину в 1973 году, то совершили вояж в 1975 году на Черное море, а второй раз в 1976 году объездили всю Грузию.

Грузия меня поразила сноси экзотикой и разнообразием. Вначале из поселка Джугба мы отправились на своей машине вдоль побережья Колхиды.

Колхида - царственный райский уголок. Вся долина утопала в зелени, среди которой по горам разбросаны двухэтажные коттеджи, белые, розовые, голубые. Первую ночь мы ночевали в Гудауте. Уютное побережье. Поели блинчиков, начиненных фаршем, шашлыков, выпили фруктового сока и улеглись спать прямо в своей машине у морской волны на свежем воздухе. Сон был прекрасный.

Наутро проехали еще некоторое время по побережью, а потом свернули вглубь на Самтредиа, Кутаиси и Чиатуру.

В Кутаиси пообедали в столовой, где был повар мужчина в единственном числе. Никаких официантов и уборщиц. Обед подавался в окошко, прямо из кухни.

Посетители — дети из школы и мы. Мальчишки, как хозяева, заказывали целые обеды: и борщ, и второе мясное, и бутылку лимонада. Все это брали из окошка у повара и рассаживались в ряд за длинными столами, и пировали, как князья.

А девчонки скромной группочкой стояли у двери, советовались. И вот из них выделялась одна или две, шли к открытому окошку стойки, брали несколько бутербродов и бутылки две сока.

Тут же, стоя у двери, если по бутерброду, запивая по несколько глотков соком.

За столы они почему-то не осмеливались садиться. Почему?

Мы наблюдали эту картину и думали — вот оно, мусульманское неравноправие, с детства закладывается, хоть грузины и христиане, однако христианского в них мало чего.

К ночи добрались до г. Гори и поехали ночевать в гостиницу. Решили с Федей пойти поужинать в ресторан.

Только дошли мы до дверей ресторана, заглянули внутрь, а там одни мужчины, битком набиты ни одной женщины.

Все в черных костюмах, белых капроновых рубашках с галстуками и лакированных ботинках.

Теперь они, отделившись, не щеголяют так в Грузии, как бывало в Союзе ССР.

Последний раз постукивали они лакированными ботинками на съезде, когда отделялись и посмеивались.

Но вот прошло несколько лет, и им стало не до смеха, и не до лакированных ботинок: дети с голода у них умирают.

А тогда, видите ли, им было «плохо»: русские их «оккупировали». Сейчас они самостоятельные есть нечего. В Грузии не растет ни колоска. Едят то, что из России увезут всякими способами, больше спекулятивным, и перепродажей той продукции, которая производится в России.

Да еще наши «отцы» сердобольные, не спросясь народа, подбрасывают им сотни миллиардов рублей в год. А так ведь им там, в Грузии, есть своего совершенно нечего.

За счет России живет вся Армения, Грузия и другие народы. А все ругают русских. Без России, без русских давно бы и народы умерли с голода. Так что не задирайте головы, уважаемые. В том числе и Чечня. Еще задолго до войны по телевидению (сама я лично слышала и видела) генерал Дудаев заявил: «Россию надо уничтожить». А за что, спрашивается? Россия не причем, что вас выселял Сталин. Он еще до вас десятки миллионов русских уничтожил вовремя раскулачивания, коллективизации: расстреливал, выселял и уморил гам почти всех голодом, уничтожил в лагерях. Остались единицы.

А вас ни одного не убил, а просто выселил в обжитые места Казахстана, где вы и жили нормально, ели казахский хлеб и скот. Не будет России, умрете все с

голода.

Итак, возвращаюсь к повести.

Посмотрели мы с Федором Ивановичем, что в ресторане патриархат и не стали туда заходить, а заказали себе ужин в номер.

Номер отвели нам «люкс» двухкомнатный.

Утром мы выехали на своей машине и вскоре свернули на Военно-Грузинскую дорогу, которая протянулась на 200 километров. Вот где было страшно ехать! Так что Грузия — это и экзотический рай и ад.

Рай мы видели в Колхиде, ад — в Чиатуре и на Военно-Грузинской дороге.

В Чиатуре жуткие ущелья, в них выбиты из камня стоянки, а над головой с одной горы на другую по канатам перемещаются вагонетки с какой-то рудой. Скрежет, гул и пыль. И больше ничего.

Сейчас перед нами лежит эта Военно-Грузинская дорога. Очень узкая, да и неухоженная, кое-где выдолбленная. Внизу глубокое ущелье, по которому бежит Терек. Рычит, как зверь.

Тоже мне река! Ручеек, да и только! Как Божьюдор, так же узок, мелкий и каменистый, дно из мелких камешков, точь-в-точь как, опять повторяю, — ручей Божь-ю-дор, который впадал в реку Вымь.

Отвесное ущелье к Тереку и отвесные горы над головой с громадными нависающими камнями.

Если с кем-либо здесь произойдет авария (не дай Бог!), а это может быть, потому что встречные грузовые кавказские машины летят, как сумасшедшие, не снижая скорости при встречах и поворотах, то, разумеется, от таких аварий на дорогах не останется никаких следов: обе машины полетят в пропасть, и ничего от них не останется, одни щепки. «Скорой» и ремонта не потребуется.

Вот по такой дороге мы проехали 200 км до Орджоникидзе, Страху я натерпелась вдоволь, хотя виду не показывала.

Федя дома потом смеялся, когда я заявила, что теперь, если бы мне даже дали целые миллионы денег, я вновь не согласилась бы проехать этот путь. Ты,

говорит, как жена одного моего знакомого, настолько напугалась, что когда ее мама спросила: «Ну как, дочка, съездила, отдохнула?» — та в ответ зарыдала в голос и ничего не могла больше объяснить, чем неимоверно напугала свою мать.

Да, фактически после такой дороги, действительно, приходится только рыдать, а не радоваться, да усердно благодарить Бога, что все обошлось благополучно.

Немного вернусь назад.

При приезде в Волгоград, мы год жили на частной квартире, затем нам дали комнату на подселении, а потом в 1965 году двухкомнатную, квартиру.

С нами жили племянники Валерий и Петр. Они учились в училищах. А мама пока пожелала остаться в Новоаннинском и пожить одна в доме.

Затем Федора Ивановича перевели в Центральный район города. Теперь у нас трехкомнатная квартира. Ребята выучились и ушли в армию. Наша семья опять пополнилась — приехали учиться племянницы Маша Долгачева и Валя Минаева. Забот мне было полон рот.

А тут еще, начиная с 1965 года, поехали гости с Севера — племянники и племянницы - дети брата Федора Минаева. Затем приезжал товарищ моего Феде — Юрий Назаров сыном Сергеем. Так что собиралось порой до 9 человек. Всех надо было принять накормить, за всеми ухаживать и развлекать: то в город свозить, то в кино, да еще нал было мне и Феде, кроме основной работы, работать на даче.

Еще провожали и встречали всех детей, племянников в армию и из армии.

К 1973 году контингент племянников немного развеялся, и мы забрали маму из Новоаннинского к себе в Волгоград.

В квартире отвели ей комнату, немного стало легче. Племянники стали жениться, а племянницы выходить замуж.

В 1974-75 годах у них стали появляться свои дети и квартиры. А мы, освободившись от лишних обязанностей, стали ездить лечиться на курорты и в санатории. В 1981 году от сердечных болезней умерла мама. Похоронив ее, мы

продали дачу и занялись ремонтом квартиры. Ремонт нам знакомые люди сделали отлично. В 1982 году Феде дали две семейные путевки, и мы отправились по ним в Астрахань лечиться и отдыхать в санаторий.

Город Астрахань в центре благоустроен, а окраины, особенно частный сектор, — не очень. Встречаются болота со всевозможной мошкаррой.

Санаторий находился на окраине города, и вечером форточки и окна, если на них не было сетки, открывать было нельзя — мошкара и разные букашки сплошной пеленой накрывали их.

Но несмотря ни на что, мы с Феденькой не унывали. Дали себе слово не обращать ни на кого внимания, отдыхать больше, гулять по берегу Волги, ходить в кино и на танцы. Так мы и сделали.

У меня было три вечерних платья. Одно темно-синее бархатное до пят. Все туалеты я шью себе сама. И вот когда я выходила в этом платье, на мне были еще некоторые золотые украшения и индийские туфли с позолотой, то рядом с Федей мы выглядели еще очень симпатичной парой.

Меня называли королевой, а Федора Ивановича идеальным спутником. Я в этом же 1982 году осенью, а Федор Иванович в 1984 году весной, ушли на служенный отдых, где встретили перестроечный период государства, а затем демократию всевозможные «милые сердцу» реформы. Так и живем.

И так, наша жизнь прошла во всевозможных потрясениях российского государственного устройства.

И мы познали ВСЕ, как сказал наш один знакомый, с лихвой: и большевизм, и социализм, демократию, и капитализм

И оказавшись на самой главной вершине России — Мамаевом кургане.

(рукописный текст)

Курган Победы! Так называем мы его. Мы с Федором Ивановичем считаем, что его надо переименовать именно в Курган Победы! А зачем нам название Мамаев?

Это вражеское имя – татарское, как Гитлер, не русское. Его, это имя,

надо изжить с русской земли, а не величать.

На этом кургане победили русские в борьбе с татарами и фашистами. Значит и название должно быть великим русским! Мы писали об этом с Федором Ивановичем в областную администрацию.

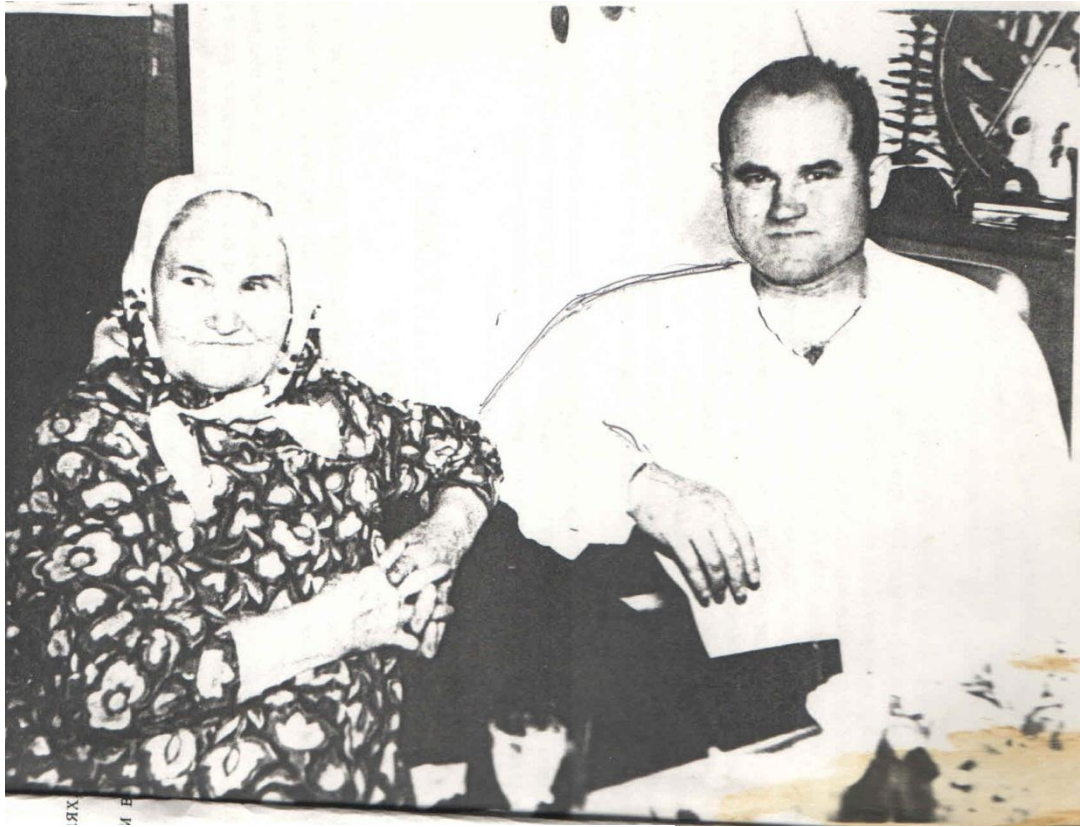
Но нам ответили карьеристы, что нам это все до лампочки.

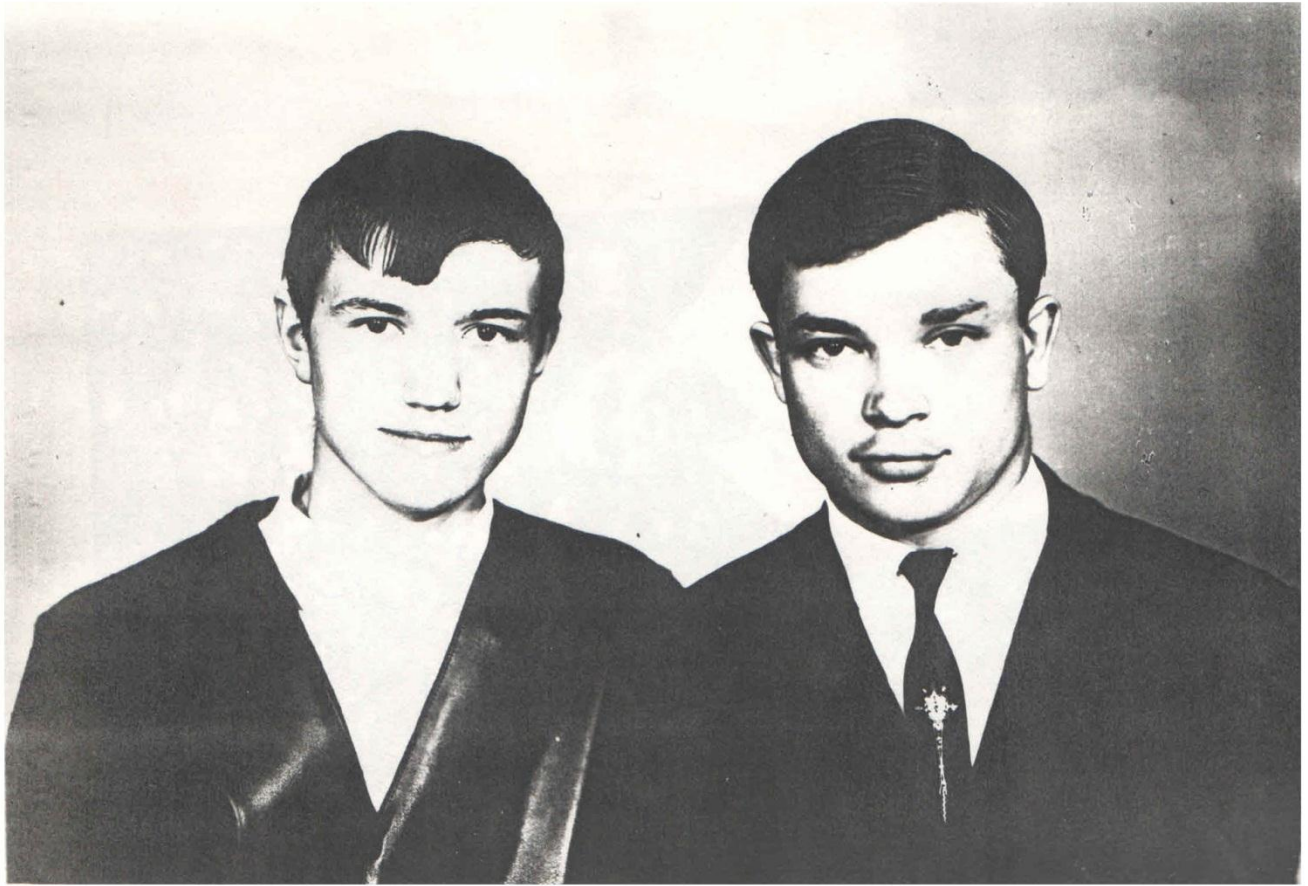
СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ или пирожок с калиной.....	8
Глава 1 ТРАГЕДИЯ ПОКОЛЕНИЯ НАШИХ ОТЦОВ.....	17
Глава 2 ВОСПРИЯТИЕ МИРА.....	26
Глава 3 ЛЕТО.....	31
Глава 4 ЗИМА.....	35
Глава 5 ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕРРОРА.....	41
Глава 6 НОВЫЙ ПОСЕЛОК.....	58
Глава 7 СМЕРТЬ ДЕДУШКИ ВАНИ.....	61
Глава 8 АНЯ В ДЕРЕВНЕ КОМИ.....	62
Глава 9 ЗАБЛУДИЛИСЬ.....	65
Глава 10 ОСЕНЬ 1932 года.....	67
Глава 11 ... И ПРИШЛА СТРАШНАЯ ЗИМА 1932-1933 года.....	68
Глава 12 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ, НЕОБДУМАННОЕ, ЛЕГКОМЫСЛЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, ПРИДУМАННОЕ НАШИМ НЕЗАДАЧЛИВЫМ ОТЦОМ.....	72
Глава 13 ВАНЯ — МОЙ БРАТИК И СЕСТРЕНКА АНЯ.....	79
Глава 14 БОЛЕЗНЬ ВАНИ.....	83
Глава 15 БОЛЕЗНЬ СЕСТРЕНКИ АНИ.....	87
Глава 16 СООБЩЕНИЯ С РОДИНЫ.....	87
Глава 17 ЗАЯВЛЕНИЕ ЛОДЫРЯ АРСЕНИЧА.....	90
Глава 18 БОГ НАШ ЕДИНЫЙ, СПАСИ НАС! – НЕ СЛЫШИТ.....	91
Глава 19 РЕПРЕССИИ.....	94
Глава 20 МАЛЕНЬКОЕ, БЕЗЗАЩИТНОЕ, НЕСЧАСТНОЕ СУЩЕСТВО.....	96
Глава 21 КАК ВСТАЕТ СОЛНЦЕ.....	99
Глава 22 МОЙ ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ.....	102
Глава 23 НОВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ В ЖИЗНИ – КИНО.....	108

Глава 24 ПОСЕЛОК УСТЬ-КОИН И ДРУГИЕ ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЛАННЫХ.....	117
Глава 25 НАШИ ДОМАШНИЕ ЗАБОТЫ.....	120
Глава 26 МАЛЕНЬКАЯ ХУДОЖНИЦА И ЮНЫЙ КОНСТРУКТОР.....	123
Глава 27 НОВЫЙ ДОМ.....	125
Глава 28 МАЛЕНЬКИЙ АНДРЕЙКА.....	133
Глава 29 НОВЫЕ ПОСЕЛЕНЦЫ – БЕЛОРУСЫ.....	138
Глава 30 ДЮНЫ У КЛАДБИЩА.....	141
Глава 31 НОВАЯ ШКОЛА. ПОСЕЛОК ВЕТЬЮ.....	144
Глава 32 В КОГОРТЕ СЛАВНЫХ, МИЛЫХ МАЛЬЧИШЕК.....	149
Глава 33 ОСОБЫЙ РАЗГОВОР.....	160
Глава 34 ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ ГОД.....	161
Глава 35 НОВАЯ ЖИЗНЬ.....	163
Глава 36 НАШ КЛАСС.....	165
Глава 37 ПОЕЗДКА НА РОДИНУ БРАТА ВАНИ.....	168
Глава 38 НАШ ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР.....	171
Глава 39 ВАНЯ ЛАВРЕНОВ.....	174
Глава 40 ПАЛАЧ.....	178
Глава 41 7-Й КЛАСС.....	181
Глава 42 О НЕГОДЯЕ ПАЛАЗНИКЕ.....	186
Глава 43 ДЕТСКАЯ ОЛИМПИАДА.....	189
Глава 44 ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ.....	190
Глава 45 ГНИДА, ВОНЮЧАЯ ЖАБА — ПОДЛЫЙ, БЕСЧЕЛОВЕЧНЫЙ ГАД БЕКИШ.....	191
Глава 46 ПУТЕШЕСТВИЕ В ДАЛЕКИЙ ТРЕВОЖНЫЙ ПУТЬ.....	207
Глава 47 ЧЕРНАЯ И БЕЛАЯ ВОЙНА.....	213
Глава 48 ЖИЗНЬ В СЕЛЕ ТУРЬЯ.....	224

Глава 49 СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ ГОСТЬЯ.....	227
Глава 50 НЕЗНАКОМЫЙ ГОРОД.....	231
Глава 51 СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ НАШ ДЕВИЧИЙ ИНСТИТУТ.....	236
Глава 52 БАЛИН	246
Глава 53 СЕВЕРНЫЙ БАЗАР В ВОЕННУЮ ПОРУ.....	250
Глава 54 АВАНТЮРИСТ.....	253
Глава 55 ВОЙНА КОНЧИЛАСЬ.....	257
Глава 56 ШКОЛА.....	259
Глава 57 МОЯ БОЛЕЗНЬ.....	265
Глава 58 ОТЪЕЗД НА РОДИНУ.....	267
Глава 59 ПУТЬ К РОДИНЕ.....	273
ЭПИЛОГ	282



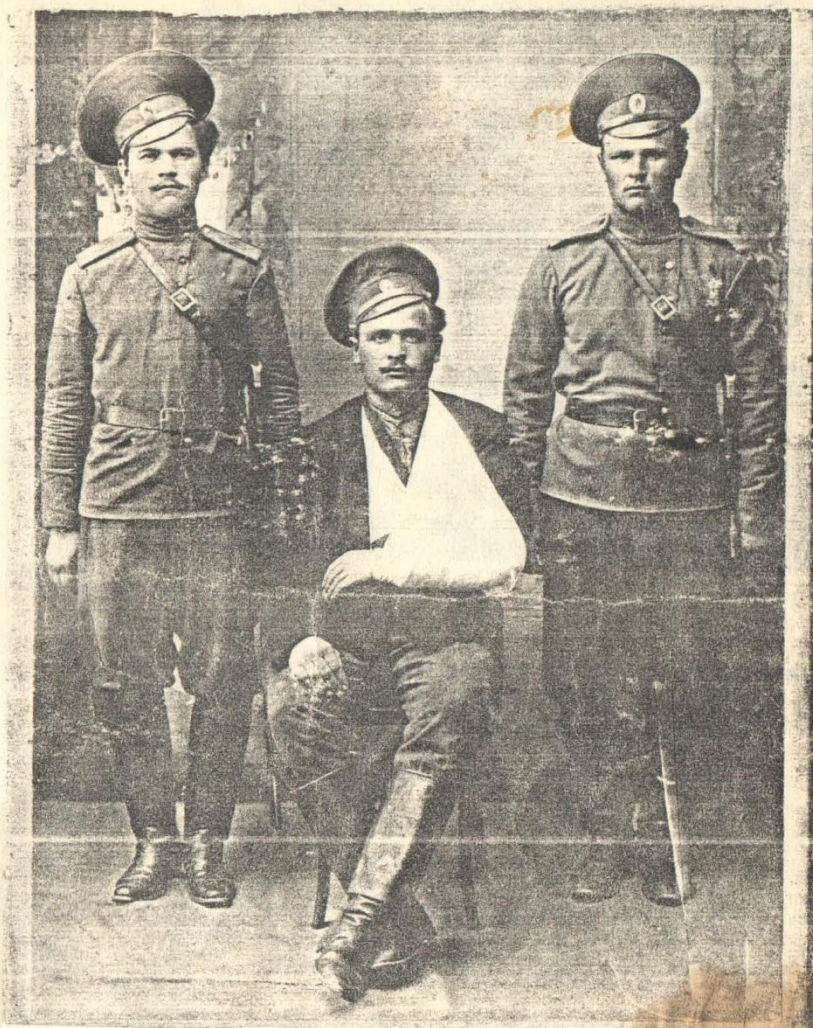








МИНАЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ.
Погиб в Великую Отечественную войну в 1943 год



Отец и дяди автора:
Минаев Николай Антонович;
Минаев Егор Антонович;
Минаев Иван Антонович.
1915г. Новочеркасск.



 Курорт
Трускавец
1977 